

- **МАРКСИЗМ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ** —  
*Майя Каганская о языке перестройки и перестройке языка*
- **МУКИ ЕВРЕЙСКОГО БЕЗВЕРИЯ** —  
*споро секулярном иудаизме*
- **БРОДСКИЙ... БРОДСКИЙ... БРОДСКИЙ...** —  
*три мнения об одном поэте*
- **МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИЯХ, ВЕКА В ХАОСЕ** —  
*загадки Библии и теория планетарных катастроф*
- **ВЕЧНЫЙ КРЕСТ СОИТИЯ** —  
*выставка скульптора Гендельман*

МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ

22

59

№ 59

МИ

# ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле  
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

## 59

*апрель-май 1988*



*издание общественного культурного фонда  
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством израильского комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- 3 *НАУМ ВАЙМАН*. Экскурсия (поэма)  
8 *АЛЕКСЕЙ ТАТАРИНОВ*. Русские приключения (роман, начало см. № 58)

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 89 *СЕРГЕЙ РУЗЕР*. В поисках утраченной гармонии

### РУССКИЙ ВОПРОС

- 117 *МАЙЯ КАГАНСКАЯ*. Марксизм и вопросы языкознания

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 156 *ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА*. Поэзия и правда  
167 *МИХАИЛ ГРОБМАН*. Откроется дверь...  
169 *ДАВИД ЮСТ*. Сонет

### ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

- 182 *МИХАИЛ ВАРТБУРГ*. *Миры* в столкновениях, века в хаосе

### МАСТЕРСКАЯ

- 205 *НЕЛЛИ ГУТИНА*. Выставка Гени Гендельман (фотоиллюстрации — Григория Виницкого)

### ЛЮДИ И КНИГИ

- 212 *ИВАН МАРТЫНОВ*. Набат совести

### ОЧЕРКИ-ВОСПОМИНАНИЯ

- 215 *ГЕРШОН МЕГРЕПЕШВИЛИ*. Отрывок из воспоминаний

### ПО ПОВОДУ...

- 222 ... рецензии О. Заславского на книгу В. Суворова "Аквариум"

*На последней странице обложки — скульптор Г. Гендельман на выставке своих работ.*

# ЛИТЕРАТУРА

*Наум Вайман*

## ЭКСКУРСИЯ

Мелькнули церковь и погостик,  
И покосившийся сарай,  
Через канаву сгнивший мостик —  
Отчизна в общем. Чем не рай.  
Круги крикливых черных стай  
Считают сельские авгуры,  
Соседи за литературу  
Ведут серьезный разговор,  
Равнин мучительный простор  
В окне сменили косогоры,  
И сил уж нет от разговоров.

Трясет автобус. Друг мой злится —  
Часами дремлем, а не спится.  
Дорогой принято скучать  
И версты вздохом помечать.

Попутный ветер дальних странствий  
Невоскресим. Обратный путь.  
Сквозь непросеянную муть  
Январской оттепели. Шансы  
Быть на Москве часам к пяти.  
Хандра и зверский аппетит.

Остались где-то славный Псков,  
И бал в трактире привокзальном,  
Грех коллективный, он же свальный,  
С полком гостиничных клопов.  
А утром — снег, и футболисты  
На молодом его ковре,  
Высокий купол серебристый  
На мглистой розовой заре:  
Иконы, старые-mortиры,

Вождей музеи-штаб-квартиры  
И, доконавшая меня,  
По магазинам беготня.

Потом еще Изборск, Печоры.  
Туристов бешеные своры  
Повсюду бродят, и разит  
Казенным духом реквизит.

Маршрут экскурсии включал  
И нашу цель — приют поэта.  
Давно паломничество это  
Я с верным другом намечал  
В надежде тайной причаститься  
Секрету русского стиха,  
Как перезрелая девица —  
Заветной сладости греха.

Служил изгнаннику приютом  
Его наследственный удел.  
Где он два года отсидел  
(По-нашему — не без уюта.)  
Довольно скромное имение.  
Общайся с дворней, снег до крыш —  
Не позовешь, не убежишь,  
Тоска — праматерь вдохновенья,  
Прогулки долгие пешком,  
Всегда с железным посошком,  
Мечты о славе, как о мщеньи,  
Да писем редких утешенья...

Поэт, иной, сказал, что скудной  
Не хватит крови растопить  
Сей полюс вечный. Безрассудно  
На гору камешки катить.  
(Так под безбрежными снегами  
Стыл не один сердечный жар,  
И Млечный Путь, как легкий пар,  
Висел над снежными стогами...)

Великий дар — веселый случай!  
(Простор для зависти глупца)  
Но ваша воля — до конца  
Принять с ним связанную участь.  
И ты — превыше царской — власть  
Благодарить: “Душа сбылась!”

Синичьи горы. Монастырь.  
Ветра колючие свирепы.  
Снегов осевшие пласты,  
Могил polegшие кресты,  
И склеп, и маски смертной слепок.  
Черты отекшего лица  
В мученье тяжелы и грубы,  
Горько-презрительные губы  
Как будто полные свинца.

А хорошо, с царями в споре,  
За вольнодумные стихи  
Да молодечества грехи  
Катить себе назоном к морю!  
Где ждут войны и ищут славы  
Иль — на худой конец — любовь,  
На поединках, для забавы  
Беспечно льют младую кровь,  
Как льют вино на архалуки  
В бесчинстве вольных кутежей,  
Где зреет среди смертной скуки  
Зерно грядущих мятежей.

Клинком, как росчерком пера —  
“За Конституцию, ребята!”  
Мерцают тускло кивера,  
Офицера молодцеваты.  
Хрустит ледовая кора,  
Скользят копыта, ветер вьюжный —  
И мясо пушечное дружно  
Кричит на площади “ура!”

Есть в мятеже восторг паденья.  
Что говорить — душа права.  
Но века вызубрив ученье:  
Не звери люди, а — трава,  
Мы с юных лет презреньем к бунту  
Врачуем страх — завет отцов,  
Страны суровой ставших грунтом  
Под косами крутых косцов.

Тщеславный мальчик, гений резвый,  
Блеск штыковых декабрьских лезвий  
Ты лицезреть не пожелал.  
И предпочел, довольно трезво,  
И царский хлеб, и царский бал.  
А романтический кинжал  
Украсил стену кабинета —  
Пока не требует поэта  
К священной... et setega  
Да и жениться уж пора.

Недаром ты еще так молод,  
И так блестящ столичный свет,  
А на селе скучища, холод —  
Ведь ты не схимник, а поэт.  
Пусть — высочайшая цензура,  
Аль царский страх не похвала?  
И, право же, весьма мила  
В архивах рыться синекура...

Поплыл в окне на косогоре  
Полуразрушенный собор.  
За ним село явилось вскоре:  
Трепал голодный ветер-вор  
Знамена в цвет засохшей крови,  
Антенны — словно крестный ход,  
На покосившемся заборе  
Рядком расселось воронье,  
В войну играет пацанье,  
Еще не ведая о горе —

Вступает в юбилейный год  
Московия...

Глубокий тыл.  
Мечта чего-нибудь отведать.  
Однообразен и постыл  
И тянется унылым бредом  
Пейзаж. Зевай, считай столбы.  
Кругом рабы, одни рабы.

Дитя периода застоя,  
Как все, пеняя на устои,  
Я умиляюсь старине,  
Как жид, повсюду гость незванный —  
Своей стране обетованной.  
Вот только веры нет во мне.

Я не способен ни свободу,  
Ни милость к падшему воспеть,  
мне страшно жить и околеть  
Под этим мрачным небосводом.

---

Январь. Промозглый, сизый, грязный  
Вид за окном, как неотвязный  
Мотив острожной песни. Тучи  
Плывут, как баржи по реке,  
И мелкий-мелкий град сыпучий  
Вдруг на шоссе идет в пике.

*Наум Вайман — преподаватель одного из израильских колледжей ("ортов"); живет в Тель-Авиве. Его стихи и рассказы публиковались в зарубежной русскоязычной печати, в том числе в журнале "22".*

**Часть вторая**  
**Встреча**

**Глава первая.** Ах, бессовестные метеорологи, обещали же на весь день "ясно"! Но от Нового Иерусалима к Тушину, от Тушина к Химкам ползли клубы тумана, набухало небо над Марком лиловым холодом, и серая занавеска дождя последовательно отгораживала от взгляда: бетонные коробочки на том берегу, безлюдный пляж, засыпанный грязноватым песком, два речных трамвайчика, неторопливо ползущих навстречу друг другу и расходящихся без приветствия. Очередь на шереметьевский автобус заметно волновалась, особо предусмотрительные уже раскрывали зонтики. Но уже подкатил долгожданный автобус, радостно зашевелилась очередь — и когда гроза ударилась в свою вакханалию, город остался позади. Вспухшая темная река играла под мостом, и действительно шли по ней два речных трамвайчика навстречу друг другу, как мерещилось Марку на остановке, когда никакой реки он еще видеть не мог. Остались по левую руку штабеля гниющих досок и горы промокших удобрений, остались по правую руку сосны на песчаном мысу, худо-бедно укрывающие от грозы десятков застиг-

*Алексей Татаринов*

**РУССКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ**

(роман о хороших людях)

*\* Журнальный вариант,  
продолжение; начало см. № 58*

© автора

нутых враспloch купальщиков, а там замелькали краснокирпичные казармы Химок и безымянные деревни, не запоминающиеся, сколько ни проезжай мимо. И у разлуки есть оборотная сторона — изводишься, сетуешь, а поди ж ты, получаешь в награду умение отчаянно и непоправимо полюбить все то, что было так безразлично при... чуть было не сказал "при жизни". Ничего, честное слово, ничего особенного: летняя гроза, мокрые яблони, усыпанные твердыми завязями, провинциальные палисадники, убогие домишки с колодцами во дворах. Но и Розенкранц, сентиментальности вовсе чуждый, то и дело жалуется в письмах Андрею на тоску по родине, по самой привычности ее для взгляда...

Марк ехал встречать очередную группу. Мчался Марк на встречу группы, организованной солидной нью-йоркской фирмой "Русские приключения", и предстояло его туристам завидное путешествие по Союзу и обслуживание по высшему классу. Ну, и, чтобы покончить с подражанием Артуру Хейли, — гидом-переводчиком Марк был первостатейным, туристы чуть в него не влюблялись. За кулисами это означало большие труды, фирменную сумку, набитую ворохами заранее заказанных театральных билетов, ресторанных квитанций, всевозможных справок, подтверждений, телефонограмм. В особой пластиковой папочке лежал у Марка и загодя припасенный список группы в двадцати экземплярах. Он в который раз открыл сумку. Чек на подноску багажа выписан, яблоко, положенное с утра Светой, на месте, из бумажника выглядывает уголок ее фотографии. На самом дне сумки — пачка аляповатых чемоданных наклеек, храм Василия Блаженного. Все в порядке в сумке у гида-переводчика Соломина, и истоминского сомнительного письмеца — нету, хоть и провалялось оно там недели три, даже истрепаться успело в своем ненадписанном конверте. Через месяц после суда, комкая слова и поглядывая в сторону, передал Иван Марку три листа папиросной бумаги. "Ты что, спятил? — рассердился Марк. — Стряслась беда, понимаю, Якова и Владика жалко, но из-за какого-то письма, которое им поможет, как мертвому припарка, я не хочу рисковать своей работой..." В конце концов он все-таки смягчился. Но сначала сунуть его было некому, потом один симпатичный лондонский бизнесмен сказал Марку, что он "такими делами не занимается". А в прошлую субботу вдруг что-то треснуло у Марка в душе, что-то он отчетливо понял — и, захвав к Ивану с бутылкой водки, молча вернул приятелю проклятое письмо...

Марк поднялся с подоконника, провел по волосам расческой и, махнув удостоверением, запросто перелез через барьерчик таможни.

— Ваша декларация, — Марк протягивает листок первому из своих американцев, ставит крестик в списке. Профессорского вида мистер Уайтфилд берет еще один бланк для огненно-рыжей своей жены — еще крестик. Подходит еще одна пара, оба, по крайней мере, пятьдесят восьмого размера, подходит зеленоглазая, с короткой стрижкой молодая особа.

— Я Клэр, — заявляет она на почти чистом русском языке, — Клэр Фогель из группы Русские Приключения, а вы наш гид, и вас зовут...

— Марк Соломин. Вот вам бланк на русском, припас на всякий случай. Сумеете заполнить?

— Ну, — усмехается она. Морщинки в углах ее глаз, и без того не по возрасту глубокие, обозначаются еще резче.

Одиннадцать крестиков проставлено. А вот двенадцатый, Алэн Грин, бодрый такой старичок, при дорогом фотоаппарате на груди, только костюмчик полотняный измят до невозможности. На вертящемся конвейере загорается номер нью-йоркского рейса и в зал начинают вплывать чемоданы и баулы.

Таможенник пропускает подопечных Марка с завидной легкостью. "Кажется, пронесло", — думает он, и напрасно — под мышкой у толстой миссис Файф обнаруживается тоже не тоненькая книга "Россия — загадка без тайны", известный отчет одного промаявшегося в Москве три с лишним года западного корреспондента.

— Форбидн, — говорит таможенник. — Ай маст тейк ит фром ю. Антисовьет литрача форбидн конфискейшн.

— Марк! — зовет американка. — Вы не могли бы поговорить с этим молодым человеком? Я ее только что купила — девять девяносто пять! В твердом переплете! И половины не прочла! Она совсем не антисоветская!

— Совсем не антисоветская, — поддакивает мистер Файф, — и совсем новая.

Марк разводит руками.

— Жаль, но помочь ничем не могу, миссис Файф. С другой стороны, вы же не прятали свою книжку? Ну, и отлично! Получите квитанцию, а будете улетать — и саму книгу вернут.

По ту сторону барьера прислушивается к сваре Клэр Фогель,

да еще одна дамочка средних лет тоже навострила уши. Миссис Файф, сдавшись, прячет в сумочку пресловутую квитанцию и с оскорбленным видом присоединяется к группе, а там и ее супруг. Хитрый Марк, между прочим, беззастенчиво ей соврал — уезжать группе предстояло из Ленинграда, и никто, разумеется, не станет возиться с пересылкой туда этой несчастной книги. Загружен багаж, автобус урчит у подъезда, а через десять минут уже мягко катит по вечеряющему шоссе. Над пустынным полем буйствует, обещая хорошую погоду, безоблачный кровавый закат, и утомленные пассажиры затихают, заглядевшись на его редкую для Подмоскovie красоту. А Марк, дав им несколько минут прийти в себя, устраивается поудобнее на своем вертящемся кресле, и, распутав длинный шнур микрофона, просит внимания.

— Дамы и господа, — говорит он, щеголяя и манерным обращением, и отличным выговором, — повторю для тех, кто забыл или не расслышал, что моя фамилия Соломин, что зовут меня Марком, я сотрудник Конторы по обслуживанию иностранных туристов, и мне поручена ваша группа на все три предстоящих недели. — Он переждал возгласы вежливого энтузиазма. — Рад приветствовать вас в Москве, столице Советского Союза, который, кстати, называть Россией неправильно, это лишь одна из пятнадцати союзных республик. Уверен, что вы порядком устали и проголодались.

— Еще бы! — отвечают ему почти хором.

— Вот и хорошо, — говорит Марк, — сейчас отдохнете. Направляемся мы в гостиницу "Украина". Сейчас приедем, определитесь по номерам, потом перекусим, а потом можете сладко спать до полдевятого утра. Меня спрашивали, где обменять деньги. Отделение банка есть прямо в гостинице, с утра будет открыто. Но, во-первых, не торопитесь, а во-вторых, не меняйте слишком много. Практически все необходимое вы сможете приобрести в "Березке" прямо на валюту. Программа у вас насыщенная. Завтра утром объезжаем на автобусе весь город, после обеда отправляемся в Третьяковскую галерею. Послезавтра встанем пораньше и пойдем в мавзолей Ленина, затем в Кремль, а повезет — и в Оружейную палату. Вечером — цирк. На третий день музей имени Пушкина, уникальная коллекция импрессионистов, краткий тур по московскому метро — это, дамы и господа, восьмое чудо света — вечером ужинаем в одном из лучших ресторанов Москвы, в среду утром вылетаем в Сочи. На лобовом стекле

нашего автобуса, обратите внимание, всегда будет картонка с номером 66 — видите? Домá слева — это еще не Москва, нет, это город Химки, но еще минута... секунда... вот мы пересекаем кольцевую автомобильную дорогу длиною в 109 километров, которая обозначает границу города, и оказываемся уже в МОСКВЕ, вон на том плакате написано: "Превратим Москву в образцовый коммунистический город!"

— Что бы это могло значить, Марк? — осведомляется молодой американец в футболке с веселеньким "Люблю Нью-Йорк".

— Приезжайте лет через двадцать, увидите, — туманно отвечает Марк. — Кстати, давайте-ка соберем все ваши паспорта и путевки. Всеми гостиничными хлопотами я буду заниматься сам, для этого перед приездом в каждый следующий город вы должны сдавать мне паспорта, а наутро получать их обратно.

Так. Первое знакомство прошло вроде ничего, пусть их теперь по сторонам поглазеют. А переводчик покуда пролистает документы, попытается всех запомнить в лицо, чтобы назавтра уже звать всех по именам. Давешняя дамочка, прислушивавшаяся к русской речи — Люси Яновска, то бишь Яновская, конечно, пятидесяти лет, место рождения город Лемберг — да-да, знаем мы эти Лемберги. Город Львов это теперь, матушка, исконная советская земля, скажи спасибо, что вовремя успела драпануть в свою Америку. Парень в футболке — Гордон Митчелл и жена его Диана, бизнесмен с медсестрой, мужик вроде свой, хоть и не без ехидства... переглядываются, хохочут, сидят в обнимку... Алэн Грин, семидесяти двух преклонных лет. Уже третью пленку в аппарат зарядил бойкий старичок.

— Приближаемся к центру, — говорит Марк, — здесь Ленинградское шоссе переходит в проспект того же названия.

Где он мог раньше видеть эту восторженную дуру, которая пробирается к нему, шатаясь, через весь автобус?

— Вы не можете себе представить, Марк, — докладывает ему Хэлен Уоррен свистящим шепотом, — как я счастлива, я просто вне себя от радости, что мне удалось, наконец, вырваться в вашу замечательную страну! Я простая американская женщина, и я хочу сказать...

— Очень, очень рад за вас, — обрывает ее Марк, улыбаясь до ушей и пытаясь сообразить, чем же еще, кроме талька и зубной пасты, пахнет от этой увядающей блондинки. Ах, да, духами на розовом масле. — Надеюсь, что при ближайшем знакомстве она

понравится вам еще больше. Постараюсь приложить к этому все усилия.

Чета Коганов, так. Миниатюрны, черноволосы, в годах. Два толстяка, Джордж Файф с супругой Агатой, дантист и домохозяйка, так. Берт Уайтфилд, как и следовало ожидать, профессор физики, жена его Руфь неизвестно кто. Очень, между прочим, недурна собой худощавая и нервная профессорская жена. Клэр, наконец, Фогель. Рот, пожалуй, великоват, да и лоб тоже, и волосы слишком уж коротки. А вообще-то миловидна, неприкаянная только какая-то — и Бог с ней, сколько таких разъезжает по свету!

Гостиница. Самые хлопотливые полчаса позади. Развалившись в кресле, с наслаждением закуривает Марк сигарету и разворачивает недочитанную газету. Остается дожидаться туристов и накормить их ужином, а там и сматывать удочки. Загадочного происхождения Клэр Фогель первой спускается в холл, садится напротив, тоже закуривает.

— Видите, какая занятная начинка, — Марк лениво обводит рукою полутемный холл с огромными коваными люстрами и потемневшими от времени потолками.

— Давит, — ежится Клэр, — будто, не знаю, декорации к страшной сказке, что ли. Устали?

— Не больше вас. Я же не летел через океан. Кстати, Клэр, вы смело можете называть меня на ты — мы примерно одного возраста. О-кей? Отлично. Где ты русский учила?

— Дома, где же еще. От отца с матерью. Пишу, правда, с ошибками — самой смешно. Да и говорю теперь редко.

— А фамилия?

— Муж немец. Пятое поколение или шестое.

Разговор не очень вяжется, но и не разговоришься особо — собрался народ, на ресторанных хрустких скатертях сверкают стальные ножи и сервирован неизбежный салат из огурцов со сметаной — блюдо, которое испортить крайне трудно, но, как показывает опыт московских ресторанов, все-таки возможно. Ужинает Марк с аппетитом, балагурит с американцами. Только курит слишком много — первый день с группой все-таки самый тяжелый.

**Глава вторая.** Со Спасской башни полился перезвон курантов, и с последним, десятым ударом длинная очередь в Мав-

золей зашевелилась, поползла по вафельной брусчатке Красной площади, и еще внимательнее стали изучать ее милиционеры и чины в штатском. Этим ясным нежарким утром группа "Русские приключения" №156 пребывала в отменном настроении. Почти оправившись от смены часовых поясов, слегка одурев после вчерашних экскурсий, американцы с восторгом предвкушали новые впечатления. Люси Яновская, впрочем, подозрительно косилась на Ивана, который был в полном соответствии с истиной представлен как друг их переводчика. Напросился он на экскурсию в последний момент, и теперь, коли можно так выразиться, змеился вместе с остальными, даже разговорился на своем жутком английском с Митчеллами. А Марк, который и раньше нередко захватывал приятелей во всякие экзотические места, по-хозяйски оглядывал своих подопечных. Первый день с группой прошел удачно: кому-то оказана микроскопическая услуга, кое-кто вовремя осажен, кому-то адресована ироническая усмешка, а то и подмигивание. Особой строптивостью его нынешние клиенты не отличались. Миссис Яновская, правда, вздрагивала при виде милиционеров — знакомая реакция эмигрантов, Митчелл изводил Марка каверзными вопросами, чета Файфов дружно пыхтела, и только профессор Уайтфилд вел себя по меньшей мере странно — краснел, бледнел, за ужином пытался отозвать Марка в сторону, но тот, как на беду, торопился к Грядущему. Рыжая же Руфь то дергала своего очкастого Берта за рукав, то поглядывая на Марка, что-то ему шептала. И уж совсем необъяснимо было то, что беспокойство профессора еще и усилилось, когда ему представили Ивана.

Метров за двадцать до входа в мавзолей ("цветовая символика здания, — разглагольствовал Марк на вчерашней экскурсии, — соответствует траурным цветам советского флага, а строгие выдержанные формы призваны выражать глубокую скорбь народа по своему вождю") очередь сделала еще один поворот, и ее ошупали взгляды еще четырех в штатском. Миновав двоих молодых солдат, вытянувшихся у окованных медью дверей, Марк с Иваном принялись медленно спускаться в подземелье, после июльского воздуха и солнца ошеломлявшее сухим холодом и полутьмой. Неторопливо, хотя все-таки чуть быстрее, чем хотелось бы самым любопытным, двигалась очередь мимо черных стен гранитного склепа, блестящих искорками слюды, вокруг стеклянного гроба с маленьким высохшим телом — жалобно закрыты

глаза, сморщенные ладошки выпростаны из-под черной ткани, укутывающей ноги.

— Двадцать восемь человек охраны, — сказал Иван, когда они вышли из склепа и направились вдоль Кремлевской стены. — Контролируют практически каждое движение. Помнишь, как эти штатские очередь под локоточки направляют, все приговаривают: ш! ш! ш!

— Тебе-то что, конспиратор?

— Между прочим, — вопрос Марка Иван, видимо, пропустил мимо ушей, — отлично помню, как они тут лежали рядом с отцом народов и великим учителем. Этот-то вурдалак и тогда был смирный, а у Иосифа Виссарионыча грозно так кулачище был сжат. Я все выпытывал у отца, положат ли к ним третьим Хрущева, когда тот сыграет в ящик. Сердился папаша — сил нет!

Марк искоса посмотрел на товарища.

— Пижонишь, Истомин. Неужели у тебя ни капли благоговения? Оглянись, сколько тысяч народу за нами идет. Всю ночь в очереди стоят ради этих полутора минут. Что-то в этом есть, а?

— Разве это народ? Народ — это мы с тобой, а точнее — Яшка с Владиком. Остальные — толпа, быдло, плебс.

Как некогда в мастерской у Глузмана, Марк вдруг поймал на себе недвижный каменный взгляд сталинского бюста. Так же мгновенно миновало это наваждение, только холодок внутри остался — не страха, нет, просто легкого неудобства. И на кой черт притащился сюда Истомин, иностранцев боявшийся, как черт ладана?

— Какая сила! — раздалось за спиной у Марка. — Как все здесь впечатляет! Марк, скажи мне, пожалуйста, я очень тебя прошу, вот которые сейчас заходят в этот великий исторический памятник, они ведь правда простые, рядовые, обычные советские люди, которые много-много часов простояли в очереди, чтобы только повидаться со своим вождем?

— Разумеется.

— Так я и думала! Как я их понимаю! Он же был великий, величайший, непревзойденный государственный политический деятель! Вот взгляните: Иван, ваш друг, специально отпрашивается со службы, отрывает время от важнейших научных исследований, чтобы посмотреть на своего великого вождя. Разве это не типично? не убедительно?

Тут смешливая Диана Митчелл не удержалась и прыснула, а Иван... впрочем, сам Иван, кивнув Марку и помахав рукой остальным, уже хромал к набережной. Упомянул ли я, кстати, о его хромоте? Никакого символического смысла, вроде мефистофельского или иного демонологического в ней не было — так, остался дефект после детского костного туберкулеза. А профессор посмотрел ему вслед и вдруг, пробормотав что-то невразумительное, ринулся вдогонку. Руфь поспешила за ним.

Коли не считать дурацкого этого инцидента, к вечеру вполне разъяснившегося, дальнейшее шло, как по нотам. У Боровицких ворот группа выгрузилась из автобуса и, замороженно пялясь на стены и башни Кремля, поползла в гору. Текст экскурсии в редакции Марка Соломина, между прочим, был безбожно приукрашен, половина цифр увеличена в два раза, другая и вовсе выдумана. Зато и слушали, раскрыв рты, только Клэр все стояла поодаль, размахивая сумочкой да потряхивая растрепавшейся на ветру мальчишеской шевелюрой. Фрески такого-то года, иконостас такого-то, липа, резьба, позолота, яшма, темпера, могила царевича Димитрия (не вздрогнула, нет?), штукатурка, особый придел для Ивана Грозного, отлученного от церкви, семь раз был женат, дамы и господа, за это в те времена спуска не давали даже царям, а вот особые хоры для женщин — феминисток тогда не имелось, дорогие мои, а это царские врата, чернь, филигрань, Страшный суд, иконы слева писал Андрей Рублев, а справа — Феофан Грек... нет. Отойдем прочь, вздохнем, пускай другие заменяют знанием утраченную веру... Конечно, на куполах настоящее золото, мистер Коган, такая уж традиция. Да, огромные средства. Государство сохраняет, реставрирует — сами видите. Нет, не только из-за туристов. Открывать эти церкви нет смысла — кто бы в них ходил, в атеистическом-то государстве? Но бережем, как памятник эпохи. Хотите сняться на фоне колокола? Давай аппарат... улыбнитесь... снимаю! Клэр, Диана, Гордон! А миссис Коган? Прекрасно. И вы, мистер Грин. Поближе к Хэлен, пожалуйста. Отлично. Между прочим современное здание перед нами — Дворец Съездов, шедевр современной советской архитектуры, Гордон. А за ним — Троицкие ворота, где нас ожидает автобус. Устали, проголодались? Сегодня на обед котлета по-киевски и, специально для мистера Когана, — свежее чешское пиво. Вперед!

Профессор Уайтфилд уже томился в мрачном гостиничном хол-

ле рядом с загадочно улыбающейся Руфью.

— Марк, — спросил он без предисловия, — у тебя есть такой знакомый — Розенкранц? Костя?

Господи!

— Он для нас перевод делал, — объяснял профессор, — разговорились, я его в гости пригласил, тем более, мы уже купили путевки в Москву... Он меня просил разыскать вашего брата.

— В Литву уехал Андрей, очередной роман сочинять. Но как же так... что за везение...

— Костя объяснял, что вы постоянно в разъездах, — Руфь глянула на Марка с каким-то особым интересом, — а Ивану и вовсе запрещено с иностранцами встречаться. Я страшно поразились сегодня.

— Я тоже, — сказал Марк, смеясь. — Истомин мужик непредсказуемый. Понравился он вам?

— Очень умный и проницательный молодой человек, — отвечал профессор, — только он рассказал о ваших друзьях... это же...

— Все под Богом ходим. Отчего вы сразу ко мне не подошли?

— Ну, — смутился Берт, — Костя вас описывал по-другому.

— Не таким ортодоксом? — скривился Марк. — Я же на работе, дорогие вы мои иностранцы. Поговорим как следует, когда из Москвы уедем. А к Ивану поезжайте без меня — дела! У вас, наверное, и письмо есть?

— И письма, и подарки, — заторопился профессор. — В чемодане.

— Отдайте Ивану, ладно? Кроме письма мне, конечно.

— И книгу? Она для вашего брата.

— Также придержите, — решил Марк. — Почитаем в дороге. Дамы и господа! — заорал он во всю глотку, вдруг заметив, что вся группа уже собралась в холле, — сами ступайте в ресторан, садитесь за те же столики, под американским флажком.

И улыбнувшись своим подопечным на прощанье, Марк ретировался. Пора раскручивать творческое воображение — в сегодняшнем, третьем отчете самое время появиться непременно, столь милым сердцу Грядущего персонажам — Матерому Антисоветчику и Доброжелательному Коммунисту. Со вторым ясно, на роль первого, пожалуй, подойдет растяпа Грин — все равно в конце путешествия ему предстоит раскаться и прийти в щенячий восторг. Сионистом пусть будет... ну хотя бы миссис Файф. Коганов-то трогать нельзя — у них родственники в Ташкенте.

Руфь, кажется, женская активистка — так пускай завидует советским женщинам. Не забыть попросить Гордона окорачивать язык перед гидами в других городах — нарвется парень, честное слово... А Клэр что? Ну, эту женщину Грядущему отдавать нельзя. Можно было бы определить ее в Положительные Западные Интеллигентки Русского Происхождения... но и это совсем ни к чему. На этом и прервал Марк свои размышления — автобус группы, где он был единственным пассажиром, уже подруливал к ресторану "Узбекистан".

**Глава третья.** Только в одиннадцатом часу добрался прозаик Ч. до своей московской квартиры. Сунул ботинки Глаше, взял у нее тапочки, и скрылся за дверью спальни.

— Три дня всего, как вернулся, и ни секунды свободной, — доносился его жизнерадостный голос, — из костюмов и галстуков не вылезая, хорошо хоть сегодня не так жарко, — он появился уже в домашнем. — Глаша! Все готово?

— Мясо пересохло, — буркнула из кухни Глаша, — картошка остыла.

— Ну, что же поделать? Неси скорее, и бутылку захвати, высокую, с серебряной наклейкой. Портфель мой разбери — я сегодня заказ получил. Тоже подай.

За разносолами из литераторского буфета Марк утешил хозяина, объяснив, что и сам пришел не так давно — отвозил иностранцев в цирк, потом пулей помчался в Контору.

— А шашлычок волшебный, — ввернул он кстати, — тает во рту. И совсем не пересоший.

— Барашек, — объяснил Сергей Георгиевич, — из спецраспределителя. Между прочим, — он выбрался из-за стола и прошел к гардеробу, — заказы ваши заграничные выполнил в точности, вот, тебе, Светик, два батника — тьфу, и кто такое слово уродское придумал! Тебе, Марк, джинсы вельветовые. Померять не хотите?

С каждой новой встречей проникался Марк не то что симпатией, но уж во всяком случае уважением к гостеприимному служителю муз. Кто же спорит, особой тонкости в Сергее Георгиевиче не водилось. Но и фанатиком его назвать язык не поворачивался. Просто предан был человек своему делу. Какое дело — это уже другой вопрос, и лезть в него, право слово, совершенно лишнее. Разве не у всякого есть право отстаивать

свои убеждения? К тому же по уголку джинсов, торчащему из пакета, видел Марк, что они любимого песочного цвета, да и сидели, должно быть, как влитые — долго обмеряла Света своего суженого стареньким сантиметром, долго морщила лоб, переводя советские размеры в европейские, а — на всякий случай — и в американские.

— Отлично съездили, — рассказывал между тем Сергей Георгиевич, запивая барашка вином. — И выпили кое с кем, и поспорили. Ярмарка-то огромная, понаехало нашего брата-писателя чуть не две сотни. И с Фернандесом познакомился, и с Шарпантье, Родригес просто свой в доску мужик оказался, даром что модернист...

— С Бёллем не видались?

Прозаик Ч. живо замотал головой.

Проштрафился твой Бёлль. Пускай сначала дружбу с Солженицыным водить перестанет, тогда посмотрим. А вообще книги там наши продавать трудно... — вдруг сказал он.

— Почему?

— Они читают меньше нас, Марк. Общество потребления — телевизор посмотреть, машину сменить вовремя, домик отделать. Известное дело, бездуховность. Но читатель все-таки есть, и читателю этому нужна настоящая литература, а не солженицынская пачкотня, и интерес к нам огромный, грех его не использовать...

Сергей Георгиевич увлекся, рубил воздух широкой ладонью, говорил уверенно и, конечно, выражался куда красочней и подробней, чем я могу передать. В Правлении ССП, да и в самом ЦК, поездкой их маленькой делегации остались довольны. "Знаменитый русский писатель Ч., — писали газеты после их телевизионного интервью, — тоже стоит за всемерное расширение культурных контактов между Востоком и Западом, за то, чтобы книги западногерманских писателей достигали советского читателя". (Слово "прогрессивных" из последней фразы почему-то выпало.) У коммерческой же делегации дела обстояли не так блестяще. С Гюнтером Пфердом, директором "Роте Фане", много было выпито хорошего пива и сказано прочувствованных слов, прозаику Ч. отважный антифашист подарил двадцать авторских экземпляров "Стального неба", только что вышедшего в немецком переводе — но тираж был ничтожный, гонорар символический.

— Единственная беда, — заключил прозаик Ч., — здорово меня

эта поездочка выбила из колеи. Еще дня два возиться с отчетом, потом сразу в Опалиху вести семинар для молодежи... словом, со свадьбой никак помочь не смогу.

— И не надо, — благодушно сказал Марк. — Утрясется.

— Надеюсь, дорогой Марк, надеюсь. И еще, — вспомнил он, — в конце месяца надо сдать статью, для которой и материалов пока нет, да и работа предстоит тонкая...

— Какая, коли не секрет?

— Вообще-то секрет, — поморщился Сергей Георгиевич, — но будущему зятю, пожалуй, могу и довериться. Попадаются, знаешь, и по нашу сторону границы охотники половить рыбу в мутной воде.

— Диссиденты?

— Это особая статья, — отмахнулся хозяин. — Мне до них дела нет — я же писатель, а не чекист. Нет. Существуют у нас, понимаешь ли, людишки, наделенные известным литературным талантишкой. Талант-то их — будто зуб кривой, порядочный стоматолог его без долгих разговоров выдирает. — Сергей Георгиевич невольно сделал движение рукой — что-то сжал, что-то дернул. — Но бывает, и пригреют его разок, поощрят, напечатают. Однако чаще дают от ворот поворот. И начинает в таком графомане играть обиженное самолюбие. Бродит, распирает. Одни страдают тихо, а другие... сначала в критиканство ударяются, потом в клевету, а в конце концов продаются тем, кто готов их купить. Со всеми потрохами. Винца еще хочешь?

Марк подставил свой бокал. Пальцы его сами собой подрагивали, ломали хлеб, засыпая скатерть крошками.

— В общем, заказали мне для "Литературки" статью об одном таком новом гаврике. Книгу его я видел на ярмарке, да вчера мне Горбунов подбросил экземплярчик. Материалы обещал дать дня через три.

— А что за книга? — похолодел Марк.

— Якобы о кошках. Да на, посмотри.

Из ящика письменного стола появилась на свет Божий нетолстая книжка в голубой бумажной обложке. Она самая, "Лизунцы", Михаил Кабанов.

— Препокхнейшее сочиненьице, — продолжал Сергей Георгиевич, покуда Марк в смертельной тоске притворялся, что просматривает книгу. — Эдакая антиутопия с провокационной ухмылочкой, поначалу почти невинно, а приглядишься — такой ма-

терый враг вылезает с каждой страницы — прямо оторопь берет. В литературном-то смысле полная бездарь — клочки у Оруэлла слямзил, кое-что у Замятина, разбавил все это Гоголем — и думает, что это литература...

Брат.

Сколько часов потрачено на уговоры не печатать дурацкого романа. Сколько страхов после той радиопередачи. Ах, Господи, что будет-то теперь?

— Как же вы будете писать статью? — Марку вдруг показалось, что все еще обойдется.

— Раз плюнуть, — отрезал ему в ответ прозаик Ч. — Ты полагаешь, — он склонился к Марку, обдав его горячим алкогольным дыханием, — что у нас нет своих людей в этом "Рассвете"? Что литературный отдел органов зря штаны просиживает? Будь спокоен, Марк, через три дня, когда ты будешь... где?

— В Сочи, — сказал Марк мертвым голосом.

— Когда ты будешь загорать на озере Рица со своими буржуйами, наиболее подробная био, так сказать, графия этого Мишеньки Кабанова будет лежать на этом самом столе.

— И его посадят?

— Это, дочка, дело не мое, — фыркнул прозаик Ч. — Мне велено написать статью, и я ее напишу с большим душевным удовольствием, потому что я по натуре драчун, борец, если угодно. А дальше я не хозяин, дальше вступают в дело компетентные органы, наделенные, официально выражаясь, законодательной и исполнительной властью. Впрочем, — он поморщился, — может и не будет никакой статьи.

Марк поднял на него недоуменный взгляд.

— Зачем травмировать душевнобольного человека? — игриво пояснил прозаик Ч. — Зачем шельмовать его на весь мир, коли не в наказании он нуждается, а в лечении? Пожалуйте, дорогой товарищ, подчеркиваю, товарищ, член нашего общества, Кабанов в спецпсихбольницу, побудьте под надзором врачей годика три-четыре, вылечат вашу графоманию...

Отказались от чая, быстро распрощались, вышли на теплую вечернюю улицу, в запах бензина и железнодорожного дыма. Марк раскачивал голову, словно от зубной боли.

— Да что с тобою, наконец!

— Сейчас объясню, — он перевел дыхание. — Сейчас все объясню, погоди, милая...

**Глава четвертая.** О чем же весь сыр-бор с этими "Лизунцами"? — спросите вы.

Извольте.

"В февральскую ли ветреную стужу, в июльскую ли предгрозовую, банную жарынь, прозрачным ли сентябрьским деньком, когда летучее золото и тусклая бронза березовых рощ сообщают особую легкость тюлевой голубизне невесомого неба — словом, в любую пору — взгляд путешественника, утомленный однообразной бедностью среднерусской равнины, приятно оживляется при пересечении границы с Дергачевской Подлинно Демократической Республикой, всего семь или восемь лет как отделившейся от метрополии. Повсюду признаки достатка: мелкой щебенкой засыпаны выбоины дороги, сапоги встречаемых мужиков блестят добротной ваксой, на бабах не только чистые ватники, но и цветастые ситцевые платки. Привстав в своем экипаже, путешественник уже выискивает глазами шиферные крыши Лизунцов, богатейшего села небольшой республики, уже поторапливает кучера, чтобы засветло поспеть в столицу, город Дергачево. Если же умен путешественник, если предусмотрителен и толков — то приурочит он свой вояж к прославленной дергачевской ярмарке, где его брат иностранец, к слову, в немалой чести. И не просто на ярмарку собираются в начале каждого мая чужеземцы, не нужна им дрянная местная казенная, не дрогнет их сердце при виде вяленого пескаря или лыковой мочалки, нет — решительно направляют они стопы в кошачий ряд, где дородные лизунчане, не снисходя до зазывания покупателей, самодовольно оглаживают мяукающий свой товар. Будет путешественник толкаться среди белокурых унылых финнов в потешных серо-зеленых кителях, будет до хрипоты спорить с усатыми грузинами и простоватыми новорязанцами, будет застывать в задумчивости, многожды рассчитывая свои депансы — не всякому по карману лизунцовская редкая продукция. Только в благословенном селе родятся матерые коты, что одним ударом могучей лапы сбивают с ног трехфунтовую саранчовую крысу, только в Лизунцах разводятся остроухую кошку, которой нипочем ни светящаяся мышь, ни городской шестилапый бурундук. Если же прибыл путешественник из счастливых краев, обойденных послевоенными осадками, коли не водится у него на родине мерзопакостной живности, или не вымерли свои мурлыки — что ж, заморозят его дивно сработанные воротники рыжие и воротники пестрые, воротники под собо-

ля и воротники фасона "Мурка", нарасхват идущие, с болтающимися лапками и зелеными стеклянными глазами, короче сказать, те самые лизунцовские воротники, что превратят в завидное манто даже скромную шубейку, перелицованную из мужниной шинели... и не устоит путешественник, развяжет-таки тугой свой кошель с австралийской либо новозеландской валютой... Любопытства ради наведается он и в дальний конец ряда, где торгуют наглухо закрытой в жестяные банки тушенкой из кошатины. На то он и землепроходец, чтобы, путешествуя в свое удовольствие, не брезговать крестьянской едой, а недостаточные, скажем, новорязанцы целыми ящиками везут дешевый консерв в свою оголодавшую империю, да и сами из-под полы предлагают на ярмарке смесь соли с селитрой, что якобы начисто отбивает запах у лизунцовской тушенки.

Разжившись диковинным товаром, определив покупки в номер роскошной гостиницы для иностранцев, гордо вздымающей свои пять этажей над приземистой столицей, пустится путешественник осматривать достопримечательности. Полюбуется полноводной Мжой, на которой ниже по течению стоят Лизунцы, постоит благоговейно перед президентским дворцом, а в полдень непременно можно будет его увидеть на Площади Гуманизма слушающим Государственный Гимн. Под чистые звуки кошачьего пианино прохожие мурлычат слова гимна, и путешественник поневоле начинает подпевать.

Только в нашей Отчизне и кошка, и кот —  
Не домашний грызун, а общественный скот!  
Больше шкурок стране! Дергачизм победит!  
Вся планета на нас восхищенно глядит!

С наступлением комендантского часа вернется законопослушный путешественник в гостиницу, а когда в девять вечера короткий гудок сирены даст населению знак гасить свет и отправляться на боковую, заметит, что в одном из окошек президентского дворца лампа не гаснет далеко за полночь. Там, осушив по обыкновению стаканчик хвостовки, трудится над составлением монументальной Истории дергачизма сам президент республики Петр Евсеич Лапочка. Размышляет вождь о том, что пора распространить кошководство за пределы Лизунцов, пора первым делом, думает он, шурясь в доброй улыбке, соорудить в селе Дворец Животноводства, пора приступить к проектированию небывалого мышинового завода, время, наконец, наладить производ-

ство кошачьего комбикорма из дикой крысы, дрожжей из березовой коры... Сквозь плотные шторы можно различить, в каком волнении расхаживает по своему скромному кабинету дергачевский мечтатель. Великий и простой, он, говорят, питается исключительно кошатиной, а продуктовые посылки со всех концов страны передает в детские дома и в питательный фонд Народно-Освободительной армии. Это он, Петр Евсеевич, все чаще распоряжается не отвозить врагов дергачизма на старенькой подводе в Набоковский лес, а использовать их на стройках народного хозяйства, в день выдавая никак не меньше полутора фунтов кошачьих потрохов. Это по его личной инициативе убрали из механизма кошачьего пианино иголки, противоречившие духу и букве дергачистского гуманизма. И не зря основанное им учение все чаще зовут, пусть пока и неофициально, дергачизмом с человеческим лицом.

А наутро справит себе путешественник визу, получит подводу с кучером, и отбудет в легендарные Лизунцы. Гикнет удалой Колька Звонарев, свистнет — и понесется лихой конь по широкому шляху, пугая сиволапного мужика и глупую бабу — знай держись, путешественник, за немецкую свою шапку, чтоб не снес ее с головы встречный стремительный ветер! А когда притомится конь, обернется молодой Николай к седоку, раздумываясь от быстрой езды, и обнажит крепкие зубы в гостеприимной дергачевской улыбке. Если же предусмотрителен путешественник, если обзавелся он бутылкой казенной, а того лучше — прихватил какого горячительного снадобья в валютной лавке под ласковым названием "Котенок" — еще веселее будет дорога, звонче будет петь Николай, еще больше расскажет поразительных историй. Нехитрая, казалось бы, должность — погонять борзого скакуна да разговаривать с приезжим людом, ан знаком Николай и с председателем дергхоза "Светоч кошководства" Федей Моргуновым, вхож и к министру просвещения, и к самому Президенту. Обо всем расскажу в свой черед, а покуда — мягко катит подвода, устланная свежим сеном, и просвещает Николай любознательного путешественника на предмет дергачизма с человеческим лицом, повествуя о трех его источниках, о трех составных частях — гуманизме, народном образовании и кошководстве. Но суха теория, вечно зелено лишь древо жизни, и если была бутылка достаточно велика, завезет Николай седока к себе на двор, покажет макет того самого кошачьего пианино,

которое построили они когда-то с Федей Моргуновым, в те времена безвестным деревенским дурачком... а то и с самим Федором познакомит — то-то радости будет путешественнику!"

На этом кончается первая глава "Лизунцов". Перепечатал я ее, чуть сократив, из зачитанного экземпляра мюнхенского издания, такого же, как показанный Марку прозаиком Ч., и — уж раскрою тайну — привезенной в далекую Россию из Нью-Йорка профессором Уайтфилдом в своем чемодане фирмы "Самсонит". Поделюсь одной бедой — покуда я переписывал роман, в душе радуясь тому, что первый его вариант высокомерно, даже толком не прочитав, отверг негодяй-издатель, некоторые мои герои как-то бледнели, таяли. Даже из стихотворений Андрея, которые я так люблю, одно потерялось. Впрочем — вот оно, не пропадать же добру.

"Ну что, старик, пойдешь со мной? Я тоже человек ночной. Нырнем вдвоем из подворотни в густую городскую мглу — вздохнем спокойней и вольготней у магазина на углу".

"Одним горит в окошке свет, других голубят, третьих — нет. А нам с тобой искать корысти в протяжном ветре, вьюжном свисте, искать в карманах по рублю — я тоже музыку люблю".

"И тут опять вступает скрипка, как в старых сашкиных стихах. Ты уверяешь: жизнь — ошибка, но промахнулся второпях. Метель непарными крылами шумит в разлуке снеговой".

"Я тоже начинал стихами, а кончу дракой ножевой".

Брата своего, как вы уже догадались, любил Марк до болезненности. И притом, простите уж мне нехудожественность выражения, была с обеих сторон диковинная смесь комплексов неполноценности и превосходства. Судите сами — Андрей был человек творческий, бескорыстный, с богатой биографией. А Марк, как он сам себя обозвал в разговоре со своей бывшей любовью, — мещанин и приспособленец, вот даже жениться собрался не то чтобы по расчету, а все ж таки не без некоторой задней мысли. Старший брат жил для вечности, младший — сегодняшним днем. И пиши я романтическую повесть, лежать бы этой нехитрой схемке в самом ее основании. Написал бы я тогда, как косо смотрел Марк на брата, только приехавшего из Харькова поступать в университет, усилил бы нотку иронического покровительства в речах старшего при разговорах с младшим. Но прошло время романтических повестей, и обмолвился

где-то яснополянский наш праведник, от которого я по большей части стараюсь держаться в почтительном отдалении, что художник все лучшее в своей жизни вкладывает в свои творения, отчего творения его прекрасны, а жизнь — дурна.

Вычтем из жизни Андрея стихи, забудем о публикации шутовского романа в пятистах экземплярах — и выйдет биография самая жалкая, с бесцельными метаниями, безобразными выходками, явным недостатком блеска, столь свойственного великим людям даже и в самых незавидных положениях. Ну, на кой черт, например, он три года юродствовал в дворниках, зарабатывая московскую прописку, если добрейшая Инна сто раз предлагала ему фиктивный брак, а Иван ссудил бы денег на кооператив? А на семинарах истоминских что он забыл? В политике-то он разбирался, как свинья в апельсинах. И стихи, которые якобы все оправдывают, к тридцати годам писать почти перестал, хоть и не упускал случая похвастаться проскользнувшими в печать в конце 60-х годов. Словом, при всей любви к его стихам, полюбить мне его было трудно — как и многим другим, до сих пор кажется он мне человеком, слишком пестующим свои вечные надрывы, свой наигранный алкоголизм, свои любовные истории.

А с другого-то боку, кто я такой, чтобы судить других? Перейдем-ка лучше ко второй главе, а кому захочется прочесть повесть целиком — обратитесь в "Рассвет", там, кажется, до сих пор лежат на складе сотни полторы экземпляров.

"Пущенные зловредными иностранными спецслужбами, долго ходили по сопредельным державам слухи, что председателями дергхозов в Подлинно Демократической Народной Республике служат идиоты. Диву даешься, как зерно правды в наше время легко производит кудрявую поросль самого беспардонного вранья! При старом режиме, кто спорит, Федя Моргунов и впрямь числился в дурачках, но исключительно потому, что был от рождения посообразительней многих иных. Не желал Федя ходить в мерзкую трудшколу, не хотел, когда вырастет, служить в ревизионистской армии, не хотел и кланяться тогдашнему председателю колхоза Псу Никифоровичу, у которого даже и фамилия была подходящая: Собакин. Истинно, будто пес цепной стоял он над несчастным селом, в первый же месяц своего правления, волюнтарист, приказал всех кошек без пощады забить и в доказательство представить по левой задней лапе с каждой головы. Взвыли о ту пору мужики, в одну ночь распатронули свои

кошачьи сарайчики да загоны, на своем горбу снесли их далеко за Набоковский лес, и сколько горьких слез пролили бабы над поголовьем, кое-как ковъялвшимся на трех лапах! Томилось и у Моргуновых в сарайчике с сотню сиамских, по очереди ходили кормить кровиночек Петр Прохорович и Катерина Измайловна. На пятую зиму собакинской власти открылись старшему сыну Ваське — и посокрушались однажды ночью, что вот, подрастет и Федя, а пользы от него в хозяйстве — ломаный грош.

А будущий председатель дергхоза и первый поэт республики, автор государственного гимна, лежал себе на жесткой лавке, посасывая кошачью косточку, слушал обидный разговор родителей и решил, что пора и ему выбиваться в люди. Пришла весна. Стоило родителям выпустить Федю на улицу, как насовал он в свои русые волосы соломинок, перепачкал лицо сажей, да и отправился, подпрыгивая и мыча, за околицу. Там, на самом отшибе, примостилась хибарка старика Вяземского, Евгения Львовича, неведомо как пережившего все смутные времена любимца лизунцовских мужиков.

Путешественник просвещен, он читал мемуары Вяземского, ныне министра просвещения, где престарелый, но непреклонный боец за торжество дергачизма с человеческим лицом увлекательно повествует о своей жизни при старом режиме: и о ночных страхах, и о том, как вытравливал он в своем виде на жительство штамп о высшем образовании, и о том, как боролся с искушением распродать свою библиотеку односельчанам, которые даже в те мрачные годы выкуривали огромное количество самосада на душу населения. По профессии естественник, Евгений Львович не одному из них помог дельным советом по кошководческой части, и до сей поры поминают его добрым словом на любом дергачевском пиру, стоит на столе появиться бутылки знаменитой хвостовки — чистой, как слеза, самогонки, настоенной на кошачьем хвосте и изобретенной стариком в незапамятные еще годы. Говорится в мемуарах и о первой встрече с Федей, когда Евгений Львович, побряхтывая, вынул из кармана ватника половинку дрожжевой лепешки — и остолбенел.

”Бросьте, Евгений Львович, — услышал он вместо ожидавшегося благодарного мычания. — Мне все деревенские вечно чего-то суют. Прямо надоело. И не волнуйтесь, все ужасно просто”.

В двух словах объяснил он озадаченному старику все тайну

своего так называемого слабоумия, заявив, что пришел к нему учиться "ответам на вопросы.

"На какие же, Феденька?" — слабо спросил старик.

"Вопросов большое множество, — рассудительно отвечал десятилетний Моргунов. — Во-первых, отчего в кошке происходит движение хвоста, лап и других частей. Во-вторых. Отчего это зверь, к примеру, весь в шерсти, а человеку нужен ватник и штаны. В-третьих, отчего сахарин сладкий, а дрожжи горькие. Потом..."

"Много же ты хочешь узнать! — воскликнул Вяземский. — Тебе надо читать научиться, Федя".

"Это как?"

"Совсем не слышал?"

"Немножко, — признавался мальчик. — Из военного училища комиссовали Коську Федотова, он рассказывал брату Ваське. Говорил, любой декрет можно разобрать, и газету из Дергачева тоже".

"Что же он вас не научил?"

"Глупый вы, Евгений Львович. У них первые два года только строевая подготовка. И потом, это же военная тайна!"

Вздыхнул Евгений Львович. При старом режиме, если помните, ревизионисты питали прямо-таки себачью злобу к народному образованию — как, заметим попутно, и к кошководству, не говоря уж о дергачистском гуманизме. Гнуснейшие были времена. И с Вяземским в случае чего не стали бы церемониться — свели бы вечерком в Набоковский лес, а там и поминай как звали.

"И еще, — продолжал Федя, — что это — книга, вроде газеты, что ли? У вас, говорят, есть".

Отзывчивый старик растрогался. Зазвал Федю в свою развальношку, напоил его морковным чаем и даже, как с улыбкой вспоминает в мемуарах, вскрыл довоенную жестянку леденцов. В более важных деталях память ему слегка изменяет — сам Федя клянется, что первый их урок состоялся не сразу же, а лишь в следующий его приход к Евгению Львовичу, когда тот объяснил ему историю и назначение своей библиотеки и растолковал теорию происхождения видов. "Динозаверь, — недоверчиво разглядывал сметливый парнишка иллюстрацию в старом учебнике, — где ж у него мозги помещались? На шуку даже похож, только с лапами. И где ж он столько дрожжей брал себе в питание?" Долго не мог поверить Федя, что бывали на земле времена,

когда не то что человека, а даже и райкома партии не имелось в природе — но ушел из хибарки довольный и счастливый.

Зачастил Федя в избушку на отшибе. И пошли пересуды по запуганному селу. Боялись одни, что слабоумный навлечет на старика гнев Пса Никифоровича, опасались другие, что малолетний Моргунов и вовсе спятит от дружбы с таким никчемным и даже вредным огрызком. Заходил в избушку участковый Киселев, наведаясь сексот Гришка, пожаловал как-то раз и Собакин собственной персоной. Потчевал незваных гостей чайком Евгений Львович, показывал своего приятеля, который на все вопросы власть предержащих знай кричал петухом. С родителями был он поласковее, и по совету Евгения Львовича начал не то что разговаривать, но нет-нет да и перемежать свое мычание двумя-тремя осмысленными словами. А на самом деле? О, на самом-то деле он в два месяца выучился бегло читать, освоил начатки ветеринарии и истории партии, вместе со своим наставником удачно проделал вивисекцию беспризорной кошки. Даже шкурку серую друга выделали — любо-дорого смотреть. Жаль только, девать ее было решительно некуда.

Жизнь в селе становилась все опаснее, все невыносимее, я бы даже сказал, становилась жизнь в некогда процветавших Лизунцах.

Сумели обвести вокруг пальца богопротивную власть, сберегли дедовский промысел, а сбывать-то товар — как прикажете? Ладно, живые кошки; пропади она пропадом, тушенка; но главный продукт, но чудные меха! С грехом пополам удавалось иным мужикам добираться до Перхушкова, откуда рукою подать до границы с Новорязанской империей... и платили за шкурки в закордонном хуторке Берлингуэр не худо — овсом, чехонью, порою даже конской колбасой. Ан близок локоток, да не укусишь — немало лизунцовских прихрамывало домой несолоно хлебавши, без драгоценного груза, зато в синяках и ожогах, а кто и с зарядом соли в мягких частях.

И бродили по селу постыдные страхи, и одолевал население соблазн покаяться, броситься в ноги гадкому Собакину, который у себя в кабинете на втором этаже перепортил столько лизунцовских девок, раскрыть ему тайну ночных походов в Набоковский лес и экспедиций к границе, испросить амнистию не всему селу, так хоть своему семейству. И буянил сексот Гришка, за молчание свое требуя уже по десять шкурок в год

со двора, и семья Моргуновых — кручинилась.

"Ноете, ноете, — бубнил на печке дед Цезарь, пытаюсь утешить молодое поколение, — а живем, дай Бог всякому. И керосин в ларьке, и казенная, и лапша, и горчица. В прошлом веке, при советском-то реформизме, знаете, что творилось? То-то же. Мне бабка-покойница рассказывала. Дрожжей, и то было не достать. А по ночам вместо керосина электричество горело — страх! Видел я этот свет, когда Хельсинки брали, — пускался дед в воспоминания, — белый, яркий, пять минут посмотришь — глаза начисто выжигает..."

Близилась Великая Дергачевская Подлинно Демократическая Народная Революция".

Одних читателей книга смешила, других оставляла в недоумении. "Ты так хочешь всех перехитрить, — критиковал брата Марк, — что выстрел получается холостой. Ну, что такое твои Лизунцы — пародия на Советскую власть? Для пародии слишком беззубо".

"Я просто повеселиться хотел", — шурился Андрей.

"Для шутки — слишком злобно", — парировал Марк.

Книгу все-таки заметили, даже почтили парой недоуменных рецензий в эмигрантской прессе. В конце концов разошелся и английский перевод, выпущенный, правда, вовсе не Фарраром, Страусом и Жиру, а небогатым университетским издательством. Как бы то ни было, даже выход ее в "Рассвете" безобразно вскружил голову бедному автору. Всю весну он ходил, задрав нос, делал в компаниях самые прозрачные намеки, уверял, что среди его друзей стукачей не имеется, и в Литву уехал в самом лучезарном настроении... Такие вот пироги, дорогая моя Клэр, оттого-то я и невесел сегодня, а книжку, как вернешься домой, непременно прочитай повнимательней. Может, и посмеешься, а главное — лучше поймешь всю бессмыслицу нашего существования... да и вашего, коли по совести, тоже.

**Глава пятая.** И настало время покидать Москву. Хорошо позавтракавшие американцы веселились в автобусе, как подростки. Кто-то махал рукою прохожим, другие кричали в окошко: "До свидания, друзья!", третьи подтягивали Диане, запевшей детскую песенку. "Напрасно, напрасно проболтался я в первом отчете, что Клэр говорит по-русски, — размышлял Марк, — еще

поставят хвост в каком-нибудь Ташкенте...”

Начало дороги — быть может, самые волшебные минуты жизни. Иным надоедают разъезды, иные коллеги Марка, хлебнув командировок Конторы, через год-другой уже упрашивают пореже отсылать их из Москвы. Что ж, можно понять — семья, дети. Глупые, глупые барышни из Конторы, выходящие замуж за недалеких инженеров в мешковатых брюках, за геморроидальных чиновников, лысеющих к тридцати годам... Глупые барышни, рожаящие таких же глупых детей... иди в монастырь, Офелия, иди в монастырь... а я останусь в прогнившем датском королевстве, и будет время — упаду от удара клинка...

— Марк! Ты не заснул?

— Что вы, мисс Уоррен! — просыпаться Марк умел мгновенно. Обворожительная улыбка, поворот в кресле. — Я к вашим услугам, как всегда.

— Марк! — сияли опасным блеском глаза его собеседницы. — Мне так безумно, безумно нравятся советские пионерские дети! Скажи, мы не сможем во время путешествия посетить школу?

— Увы, дорогая Хэлен, — еще одна медовая улыбка, — все советские дети на каникулах.

— А в какой аэропорт мы едем?

— В Домодедово, — раздраженный Марк взял микрофон. — Дамы и господа, сообщаю интересующимся, что полетим мы на реактивном самолете, в воздухе пробудем чуть больше двух часов...

Сочинский рейс задерживался. Марк сдал багаж, зарегистрировал билеты и развалился в кресле, всем видом демонстрируя, что предпочел бы предоставить американцев самим себе. Он знал по опыту, что тосковать клиент начинает, когда самолет опаздывает часа на два-три, а тут был всего час, и развлечений выше головы. Был в зале ожидания для иностранцев и киоск все той же "Березки", имелся цветной телевизор с удалыми комбайнерами и столик, заваленный бесплатными брошюрками на глянцевого бумаге, а главное — буфет, где бутерброды с черной икрой, подумать только, продавались за каких-то сорок три копейки. Снова заикнулся профессор о письме, и снова Марк не захотел его взять, только еле приметно кивнул в сторону слоняющихся по залу ожидания двух молодых людей в штатском — может, они, конечно, и не те, за кого принимал их Марк, да береженого Бог бережет. Он уже знал от Ивана, что тот получил в подарок пачку восковок, и даже ухитрился напоить не-

пьющую Руфь. Услышав же о готовящейся расправе над Андреем, хроменький физик, побледнев, понес околесицу вроде "предупреждал я, какой негодяй этот твой будущий тесть".

— Андрей читал отрывки на твоих семинарах?

— Мои ребята — скала! Да и о самих семинарах чекисты ничего не знают. Яков с Владиком все взяли на себя.

— А кого еще таскали из ваших?

— Всех, кто был на последнем заседании.

— И тебя?

— Меня-то как раз больше других, — неохотно сказал Иван.

— Прицепились, будто банный лист к заднице.

— И ты молчал? — поразился Марк.

— Подписку с меня взяли, — промямлил Иван, — но даже не в этом дело. О чем я мог рассказать? Ну, встречаемся, ну, играю я с ними в честного советского гражданина, горю желанием помочь...

— А на самом деле?

— Стараюсь выгородить товарищей, вру понемножку. Это игра тонкая.

— Позволь...

— Давай не будем, — Иван облизал свои порядком пересохшие губы. — Они из меня и так всю душу вымотали. Тяжелая вещь — схватка свободного человека с тайной полицией. Они думают, что вертят мною, как хотят. Хуй.

— Но зачем ты вообще с ними связался?

— Я путаю им карты, — пояснил Истомин, — дезинформирую, зарабатываю доверие. Направляю по ложным следам. Зарабатываю самому себе свободу действий.

— Сожрут они тебя, Иван, — сказал Марк с неожиданной грустью. — Они все равно сильнее. Откажись ты с ними встречаться, дурила.

— Не так все просто. Серьезнейшая идет игра. Ты, надеюсь, не подозреваешь меня в стукачестве?

— Заткнись.

— Ну и отлично. Вернешься с юга — расскажу побольше.

Он дожевал свою булочку, допил тепловатый кофе с молоком и вышел из переполненной столовой. Торопился на службу и Марк, другие у него были заботы.

А в ресторане продолжала играть допотопная музыка, и гид-переводчик Соломин, пожалуй, слишком часто встречался взгля-

дом с глазами "туристки Фогель". Он выведал, что живет она в Нью-Джерси, в пригороде ("всю жизнь ненавидела пригороды, и сейчас ненавижу..."), что отец ее и мать — из перемещенных лиц, ухитрившихся после войны избежать высылки на родину, — во Франции обзавелась дочкой, в двухлетнем возрасте увезли ее в Америку. Узнал Марк, что у заокеанской гостьи имеется муж Билл, инженер-химик, и четырехлетний сын Максим, по которому она "страшно" соскучилась. О профессии не спрашивал — уходя позавчера из гостиницы "гулять по городу", Клэр держала под мышкой складной мольберт.

— Показала бы что-нибудь.

Она покачала головой.

— Я совсем плохая художница, Марк. У меня славно выходят всякие керамические штуки, знаешь, такой стиль под искусство хиппи. Пепельницы, тарелки, фигурки. У нас и мастерская в подвале, Билл оборудовал. И расходуется довольно много через один магазинчик в Нью-Йорке.

— Ты, значит, счастлива, — ни с того, ни с сего сказал Марк.

— Будто ты несчастен.

— Я? Я абсолютно счастлив, — заявил он по некотором размышлении. — У меня отличная работа. Я собираюсь жениться на любимой женщине. На свадьбу тесть подарит мне автомобиль. У меня знаменитый брат и куча интересных знакомых. И, может быть, скоро я начну ездить за границу, переводчиком при советских группах. В нашем государстве это знаешь какое везение, — он замолчал, подыскивая в своем скудном запасе знаний об Америке подходящее сравнение, — ну, скажем, как у вас выиграть Кадиллак в телевикторине... или сто тысяч в лотерею...

"Разумеется, дело в языковом барьере, — думал он, выходя со своими туристами на посадку. — Моя маска дурачка-энтузиаста рассчитана на английский язык... а тут... и вино это проклятое... и нервы..."

В салоне стояла душноватая прохлада, поручни кресла со знакомой уверенностью подпирали локти, и подтянутый экипаж с такой внушительностью проследовал в кабину, что Марк невольно — в который раз! — встрепенулся от радостного ожидания. И все же его сморило — когда он открыл глаза, самолет уже стремительно шел на посадку, пробивая слой негустых облаков, — и с тем же трепетом увидел Марк через голову пожилого ка-

заха, которого еще в Москве пустил к иллюминатору, что чешуйчатым блеском сияет расплавленное море, никуда не делись буро-зеленые размытые вершины дальних гор, и по-прежнему праздничен залитый солнцем берег с едва различимыми телами купальщиков.

Ни тоски, ни тревоги, ни горя не чувствовалось в жарком воздухе, и даже на летном поле сквозь асфальтовые испарения пробивались расслабляющие запахи юга — резеда, акация, море. Давешний казах протянул Марку широкую свою лапу в синих порошинках въевшегося угля и затерялся в толпе осаждавших аэрофлотовский автобус — а из самолета уже показывались диковато озирающиеся американцы. И вскоре дребезжащий автобус уже уносил группу в Сочи, по петляющей дороге между отрогами гор и серой полосой галечного пляжа.

С возрастом начинаешь больше ценить обыкновенные вещи жизни: тот же подмосковный летний вечер, закопченное стекло керосиновой лампы, горсточку первой лесной земляники на протертой дачной клеенке. Глядя в ночное окно, о которое скребутся женственные яблоневые листья, понимаешь, что это и есть счастье, что другого не суждено, да и нужно ли оно, другое? Ты повзрослел, ты с трудом пришел к этому примирительному итогу — и вдруг изумленно замечаешь, как сквозь плотную ткань сиюминутного бытия начинает помимо твоей воли сквозить другая жизнь — предчувствие ли грядущей весны? или взывающая из глубин забвения прошедшая? В полупустой электричке, со свистом и скрежетом влекущей полсотни припозднившихся дачников в пригородные их убежища, где спорят соловей и сверчок, где стоит прохладный июнь и вишни только слегка тронуты розовым, — в этой электричке мне чудится, что за черным частоколом елового леса, под сереющей желтизной безутешного заката плещется — должно, не может не плескаться — лиловое в металлической лунной окалине море, что сама электричка торопится из Сочи в Сухуми, и на станции Псырца прокрадется в вагон некрасивая пожилая цыганка с облезлым попугаем, и за двадцать копеек вытащит мне усталая птица из жестяной коробочки базарное пророчество, кое-как отпечатанное под копирку на разбитой машинке. "Приследуйте свою цель настойчиво, — говорится там, — и вас ожидает награда". Цель свою я преследовал без усердия, не раз доводилось мне обманывать других, а еще чаще — самого себя, немало доста-

лось мне от жизни полновесных оплеух и зуботычин — но, грех плакаться, и наград было достаточно. И было среди них — море. Отгони от глаз, будто осеннюю муху, всю курортную дребедень опустевшего побережья, забудь о выцветших от солнца зонтиках, потемневших сосновых лежаках, кабинах, навесах, никому не нужной запоздалой музыке... замри от его торжественности и одиночества. Чуть голубее, чем казалось с самолета, но все же скорее стальное, чем синее, оно равнодушно бросает на берег обреченные волны, и сама его бесконечность, в которой уверен вопреки всем географическим картам, — это уже подарок. Особенно если октябрь и холодный ливень, если пожилой продавец черного кофе не любезничает попусту, а смотрит как бы сквозь тебя, безучастно размышляя о том, что скоро заколачивать ему на зиму свой павильончик... Но он ошибается в своей минутной растерянности — светлеет небо, из притормаживающих машин выходят клиенты, тут же зовущие и его за свой столик, он ошибается, неправ и я — мне есть еще куда идти; в скрипучем мезонине, где солдатская кровать и колченогий стол, меня дожидаются перо и бумага, и с шумом откатывается море от насыпи подмосковной железной дороги — и жалобен крик электричек в безлунной ночи.

Из самого дальнего угла автобуса жадно смотрела на мглистое море Клэр, в руках сжимая дурацкий новенький мольберт, верно, купленный специально в эту поездку. "Только этого мне нехватало", — вдруг подумал Марк, перехватив взгляд ее зеленых глаз. Смеялась чему-то Диана, косилась на мелькающие лозунги мадам Яновская, вертел во все стороны круглой головой небритый Коган, не отставала от него и худенькая Сара... "Только этого мне нехватало", — повторил про себя Марк.

**Глава шестая.** — Ну вот, держите, наконец, — облаченный в звездно-полосатые плавки профессор Уайтфилд протянул Марку запечатанный конверт. — А книга для Андрея и калькулятор для вас были в пропавшем чемодане.

— Я уже звонил в Москву, — утешил его Марк. — Чемодан ваш отправили в Тбилиси, но сегодня после обеда обещали доставить. И не бойтесь, лезть в него никто не станет.

Деликатный Берт отошёл в сторонку, и Марк, поудобней пристроившись на жестком деревянном лежаке, надорвал долгожданный конверт. Письма от Кости приходили и раньше, но все до

единого писались, конечно, с оглядкой на цензуру.

"Привет, — Марк прикрыл ладонью глаза от слепящего солнца, — как видишь, добрался и я до страны зрелого капитализма, озабоченной ростом цен на бензин, безработицей, Вьетнамом и проделками безобразника Никсона. Живу в небогатом Квинсе, засыпаю под грохот и мерзкий скрежет надземной железной дороги — вроде метро, но гаже, хоть и трудно представить себе что-нибудь гаже пропахшего гниющим мусором нью-йоркского метро. Квартирка моя из одной комнаты с кухонькой и душем обставлена дареной и подобранной на свалке мебелью, купил я себе пока в Америке только пресловутые джинсы, да машинку с русским шрифтом, английскую мне Берт презентовал. Эйфория моя венская почти прошла. Вижу, что даже на свободе нужно изо всех сил крутиться, чтобы остаться на плаву, не говоря уж о том, чтобы выбиться в люди; эффективность здешнего общества мы в России безбожно преувеличивали, контакты мои устанавливаются до обидного медленно, и на хлеб я зарабатываю главным образом тасканием ящиков на складе, так что по вторникам и четвергам спина невыносимо ноет — сегодня, слава Богу, пятница".

Необыкновенно сильная волна, вскипев прохладной пеной, вдруг подкатилась к самым ногам Марка. Под слепящим солнцем проступали на страничках письма водяные знаки — силуэт замка о трех башнях, латинские буквы.

"Томлюсь я по родине? Наверное, нет. И все-таки скажу тебе о нашей главной ошибке: мы думали, что, за исключением языка, на Западе все, как у нас, только лучше. Вкуснее колбаса, шире улицы, пьянее водка и хрустче антоновка. Нет, мой милый, Америка — это другая планета, и во всем богатейшем городе мира, где одной черешни дюжина сортов, не достать горсточки обыкновенной кислой вишни. Это ошеломляет — в буквальном смысле, будто топором по темени. Дело, разумеется, не в вишне, дело в тысячах мелочей, которые самой своей привычностью давали нам уверенность в себе, силы для дальнейшей жизни. Андрей на моем месте составил бы таким вещам список — и вышло б недурное литературное произведение.

На прошлой неделе, кстати, издержал шесть долларов девятью пять центов на повесть "Лизунцы", сочиненную неведомым Михаилом Кабановым, с удовольствием и гордостью перечитал. Давно не получал ничего от Ивана, еще дольше — от Якова.

Пусть не зазнаются и пишут, надеюсь, мои скромные подарки разбудят их задремавшую совесть. Впрочем, куда бы они писали, с моими переездами? А как ты? Женился ли уже? Зазноба твоя баба на самом деле ничего, только не попади к ней под каблук. Всевозможные приветы старику В.М. Остаюсь твой верный товарищ Розенкранц”.

Опрометчивое было письмо, неосторожное, для знающего человека — сущий клад, со всеми своими прозрачными намеками и прямо названными именами. Рассердился поначалу Марк. Но по мере того, как язычки пламени скользили по снежно-белой бумаге, превращая ее в черную, а там и вовсе в пепел, сливавшийся с серыми камнями пляжа, наш герой смягчился, и, наконец, глубоко вздохнул уже безо всяких следов раздражения. День стоял душный и влажный, страшно хотелось спать. Вчера допоздна выпивали в номере у Митчеллов, Марк рассказывал анекдоты, зачем-то ввязался в спор об Уотергейте, ушел, заснул — а минут через десять к нему уже постучалась встревоженная Клэр, известить о приступе астмы у соседа-дантиста. Застал Марк жизнерадостного мистера Файфа постаревшим лет на двадцать, накрытым до подбородка крахмальной простыней, уставившим тусклые глаза в потолок, на желто-бурые подтеки и потрескавшуюся штукатурку. И, возможно, так и помер бы бедный американец, если б не передовая советская медицина. Деловитый врач с торчащей из кармана халата пачкой “Беломора” дал ему кислорода из брезентовой подушки, сестра закатаила в задницу порядочный укол — и зарозовели щеки мистера Файфа, и губы раздвинулись в облегченной улыбке. “Носит же черт по белу свету таких старых пердунов”, — качал головою доктор.

Беспокойная выпала ночь, беспокойная.

— Может, заглянем к тебе? или ко мне? — они вышли, наконец, от повеселевшего дантиста в гулкий ночной коридор.

— Нет, Марк.

— Боишься?

— Ох, Марк, как тебе не идет фальшивить.

— А ты злая.

— Нет. Поздно уже. А мне еще надо Биллу написать.

— Среди ночи?

— Он не хотел меня пускать. Будто чувствовал...

— Брось выдумывать, — сказал Марк без особой уверенности.

Не знаю, действительно ли писала Клэр в ту ночь праведнику Биллу, а мрачный Марк, вернувшись в кошмарный номер на втором этаже, с окнами, выходящими прямо на танцевальную веранду ресторана — пустую, впрочем, и мертвую в бледном зареве рассвета — сел за шатучий туалетный столик и попытался настроить открытку своей нареченной. Взамен, однако, лишь выкурил сигарету, соорудил несколько рож ни в чем не виноватому зеркалу и, в конце концов, не раздеваясь завалился спать.

Благородство обязывает. Поутру он вновь крутился с обычной неумолимостью расторопного гида Конторы. "Главное, не обжечься, — потчевал он кукурузой, купленной по дороге на пляж, белотелую Хэлен, — и соль сыпать со всех сторон равномерно..." "Знаю, знаю", — отвечала она, продолжая, впрочем, хихикать в ожидании сюрприза от советского початка. "На кого же она все-таки похожа? — думал Марк. — У нас такие становятся кадровичками или профсоюзными активистками. Путевки распределяют, осуждают на собрании технолога Иванова за аморальную половую связь с прядильщицей Петровой". Лениво шевелились мысли, рука лениво перебирала округлые камешки пляжа. Крепла духота. При всей любви к морским купаниям хотелось смыться к чертовой матери с интуристского пляжа и — быть может, захватив с собой Клэр — отправиться шататься по городу, растрачивать невозвратимое время на толкотню среди разомлевших провинциалов. Или отправиться километров за сто от купеческого Сочи, или за тысячу.

— Я взял бы тебя в Крым, — шепнул он по-русски. — Там есть места, совсем забытые Богом. Мы шлялись бы целыми днями по горам, обгорели бы, как негры. И хозяйка дома, увитого виноградом, по утрам приносила бы нам два румяных яблока на тарелке.

— Я хватала бы то, которое побольше.

— Это еще почему?

— Безумно люблю яблоки. А куда бы ты девал жену?

— Я, знаешь ли, еще не женат.

— Будешь, будешь. Мне вот тоже хочется — не в Крым, так в Сицилию. Мы были там когда-то, и тоже в диких местах... только хозяйка нас не баловала, весь день с детьми крутилась... и солнце было сухое, яростное такое... и море...

— С Биллом вы там были?

— С Феликсом, — нехотя сказала она, очнувшись, — был у ме-

ня такой знакомый художник.

Она замолчала. Проглотил и Марк припасенную шуточку на-счет того, что в Сицилию никогда не попасть ему, а в закрытый для иностранцев Восточный Крым — ей. Вместо этого, глянув на часы, зычным голосом стал Марк созывать свое стадо и велел ему отправляться обедать. Сам же он в переполненном троллейбусе поехал на Главпочтамт. Телеграммы от невесты там не оказалось, а у входа в гостиницу голодного и злого Марка вдруг подозвал с лавочки крепкий мужичок со щетинистыми бесцветными усами, в синих мешковатых брюках, в синем же шевиотовом пиджачке. Когда он, отложив свою "Сочинскую правду", махнул рукою Марку, на указательном пальце блеснул солидных размеров перстень дутого золота. Очень хочется добавить "с мертвой головой", но на самом деле, увы, безо всякой, даже самой простенькой монограммы.

— Эй, молодой человек!

Марк безо всякой охоты подошел к скамейке.

— Соломин ваша фамилия?

— Ну?

— У меня к вам разговорчик. Давайте-ка пройдем на другую лавочку, в тень. А то знаете, народ ходит...

— Вы, собственно, кем будете?

Вместо ответа мужичок, как и следовало ожидать, раскрыл перед носом Марка свое удостоверение.

— Ладно, — вздохнул переводчик Соломин, — только учтите, меня туристы ждут. У нас в час дня обед. Кончается уже.

— Подождут, — мужичок встал со скамейки и, ласково придерживая Марка под локоть, повел его куда-то в сторону, в тень магнолий. — Appetit лучше будет. Да вы не беспокойтесь, товарищ Соломин. Разговор у нас будет короткий, совсем в сущности, незначительное время займет наша с вами сердечная беседа, я вас вчера вечером искал, да телефон не отвечал, хоть ты тресни...

**Глава седьмая.** Неторопливо выходили на ресторанный эстраду холеные музыканты во фраках с серебряной нитью, стучал согнутым пальцем по микрофону певец в шикарном бакенбардах, и флейтист, достав инструмент из кожаного футляра, издал несколько резких писклявых звуков, странно разнесшихся в полупустом зале. Наскоро уничтожив свою порцию раннего ужина,

Марк скрылся в подсобке. Во время командировок он существенно расширял масштабы своих ресторанных операций, и сэкономленные сегодня на туристических желудках сорок рублей собирался получить от метрдотеля либо в виде двадцати, либо уж почти целиком превратить в то, что на казенном языке ревизоров, следователей и прочей скучной публики называется буфетной продукцией. В оправдание нашего мелкого воришки, замечу, кстати, что выкроенные деньги или спиртное он все равно изводил на американцев — не без дальнего прицела на более обильные чаевые. Непростая была механика. Нынешним вечером обещал он, например, отказавшихся идти в лилипутский цирк покатать на теплоходе, засим — разжился в буфете шампанским и какими-то подозрительной мягкости шоколадками.

— Странные вещи творятся со мною, Клэр. — Крошечный теплоход, сделав крутой поворот, заскользил вдоль берега. — Я, кажется, разлюбил праздники. Вот наступает он — и всегда оказывается беднее и скучнее, чем мечталось. И кончается вдобавок. И жизнь снова сереет.

Тут Гордон хлопнул его по плечу и напомнил, что поехали они прожигать жизнь, а не жаловаться. Немедленно хлопнула первая пробка, и пеннистая струя теплого шампанского ударила частью в подставленные картонные стаканчики, частью — в фосфоресцирующее море. Увы, со второго-третьего глотка вино стало отдавать клеем и мокрым картоном, так что вторую бутылку Марк просто пустил по кругу — не без хитроумного расчета на то, что его порция, последняя, окажется больше остальных. "Дивная страна, — хохотала Диана, — где еще мы могли бы распивать шампанское, как кока-колу... Сколько мы тебе должны, Марк?" "Нисколько", — рассеянно отвечал честный переводчик.

Мало-помалу компания разбрелась по пароходу, только Клэр осталась рядом с Марком у поручней верхней палубы. Со стороны моря светилась громада рейсового корабля, неслышно скользящего в сторону Батуми. Усилился ветер, и звезды начали одна за другой исчезать за облаками.

— Видела я вчера вечером из окошка прогулочную посудинку вроде нашей, может, даже, ту же самую. Музыка похожая громыхала. Смотрела и, представляешь, завидовала.

— Было б чему.

— А я люблю незатейливое счастье. Уезжать далеко, дышать чужим воздухом.

— И забывать?

— Да. Колючий ты сегодня, жесткий. Устал?

— Наверное. Осточертело быть прислугой, частью местного колорита. Хочу быть самим собой и не выходит. Стою вот с тобою рядом и...

Он вздохнул. А динамик наконец умолк, притушил капитан огни на пароходике, и стала тьма за бортом густой, живою, почти осязаемой.

— Очень просто все, — задиристо сказал Клэр. — Ты злишься, что я к тебе ночью в гости не пошла.

— Может, и так, — Марк засмеялся. — Мерзнешь?

— Ага.

— Я свитер прихватил, держи. Мужской, правда, и на два размера больше, чем надо. Будем с тобою выглядеть, как пара влюбленных идиотов.

— Так уж и влюбленных?

— Молчи, а то свитер отберу.

Море морем, а и сочинский пошлейший берег может казаться заколдованным, если тихо-тихо скользя в блаженной дали темное его пространство, там и сям означенное расплывчатыми пятнами санаториев, ресторанов и гостиниц — или просто огнями, блуждающими во мгле, зачем вдаваться в детали курортной географии; только по памяти угадывается в трепете этих огней шорох кряжистых платанов и неряшливых, покрытых свисающими ошметками серой коры эвкалиптов, гомон толпы, фланирующей по паркам, мелкими брызгами рассыпающейся по аллеям и танцплощадкам, взвизги ночных купальщиков, да битловская мелодия — то ли "Облади-облада", то ли еще какая, узнаешь ли на таком расстоянии.

Вот вам и жизнь, вот и ее ночная загадка и глубокое сбивчивое дыхание, а вы говорите — тоталитаризм.

Оглянувшись — ни души вокруг не было — Марк поцеловал Клэр, да тут же и отпрянул, сраженный и опрокинутый внезапной несуразной мыслью, коротенькой, из двух слов всего. "Я погиб", — мелькнуло у него в голове. Что-то шепнула Клэр, но не было времени переспрашивать — взревел, взвыл мотор пароходика, заклацали рычаги, и все стало на свои места — описав широкий поворот, двинулись они в обратный путь.

От шампанского голова кружилась, пришлось Марку взяться за мокрые перила обеими руками. "О Сочи, Сочи!" — истощно

орал репродуктор. Тут, именно тут, и более того, как раз в интуристовской гостинице "Магнолия", куда пускали порою советских писателей и членов их семей, он провел в прошлом году три совсем неплохих дня со своей будущей невестой. И в этой же "Магнолии" забронировала им Контора отдельный номер для свадебного путешествия, в начале бархатного сезона.

"Слушайте, Берт, давно порываюсь вас спросить — как там Костя? Что-то главное в письмах пропадает, вы же знаете. Как он себя чувствует? Чем дышит? Какие это ящики он таскает по вторникам и пятницам? Ну... как вам объяснить..."

"Эмигрантский хлеб не из самых легких, — вдумчиво начал профессор, пытаясь понять путающегося в собственных мыслях собеседника. — Работает он в винном магазине... переводов пока делает немного... но я уверен, что у него все уладится. Исключительно энергичный, хотя и озлобленный молодой человек. Вот недавно ходил на демонстрацию в поддержку южно-вьетнамского правительства, с какими-то полуфашистами. Талантливый парень, но совершенно без чувства реальности. По вашему выходит, все, что против коммунизма, хорошо? Так же не бывает, Марк, проснитесь вы, наконец!"

"Слушайте, не будем больше о политике, а? Не за этим вы сюда приехали. И не для того я к вам приставлен".

В знак приветствия надвигающемуся причалу капитан снова усилил звук репродуктора, так что на берег маленькая компания сошла с заметным облегчением. По левую руку — морской вокзал с оштукатуренным шпилем, шедевр излюбленной на сталинском юге мавританско-гречески-советской архитектуры. Прошли сквозь мелкие кирпичные арочки, бросив взгляд на асфальтированный дворик, на пролысину земли в сухой траве, на десяток взъерошенных пальм. Бог весть почему, но весь этот курортный антураж сегодня бесил Марка больше обычного. А ночь окончательно сгустилась. Ни следа не осталось от недавней таинственности берега, даже плеск прибоя, едва различимый за гомоном толпы, звучал плоско и плотно, будто звуковое сопровождение к дрянному фильму сороковых годов. Обозрев своих подопечных, Марк заявил, что программа завершена, что его рабочий день тоже кончился и что гостиницу найти совсем нетрудно. "Нет, миссис Фогель попрошу на некоторое время задержаться. Ее доставку я беру на себя".

Обернувшись издали, Берт помахал им рукой, и все четверо

скрылись в деревьях прибрежного парка.

Подстриженные самшитовые изгороди. Сухой шум акаций. Бегущая то вверх, то вниз суетливая главная улица. Выбирались из города до поздней ночи, забредали в пустые извилистые проулки, перелезали через заборы, напоролись за одним из них на спущенную с цепи немецкую овчарку. Снова вышли на шоссе, поймали такси. Мелькают вдоль дороги приземистые небоскребы санаториев и гостиниц, а там — начинаются побеленные домики, за живыми изгородями угадываются розовые кусты — куда, зачем? — и одинокие звезды все-таки сияют в разрывах облаков. А ночь, я понял, стояла совсем сумасшедшая, задыхающаяся ночь, щурилась сквозь волнистые туманы половинка луны, непривычно завалившаяся набок, сланцевая стояла, слоистая, слишком влажная ночь. За Хостой дома начали редеть, машина вышла на простор и понеслась вдоль пляжа, отделенная от него только железнодорожной насыпью.

— Здесь, пожалуйста, — сказал Марк.

Усмехнувшись в запорожские усы, водитель отсалютовал своим безумным пассажирам, лихо развернулся и не менее лихо умчался, посверкивая тревожными красными огоньками. Бешеный ритм ночи, означенный колотящимися сердцами обоих, уступил место другому, нисколько не мешавшему тишине. Рокотал, как положено. прибой, шуршала под ногами галька, да по шоссе, за тутовой рощицей, нет-нет да и проносились машины — взвизгивали тормозами, стремительно следуя огибавшей ущелье дороге. Ветер с моря был прохладен, но камни пляжа еще не успели растерять накопленного за день тепла...

— ...У тебя сигареты есть?

— Щедротами миссис Файф — даже американские.

Вспышка спички высветила во мраке их напряженные, чуть растерянные лица.

— Ну, зачем, негодник, машину отпустил? Не всю же ночь нам здесь шлаться. И скажи на милость, — она засмеялась, — за каким дьяволом я вообще с тобой потащилась?

— Здесь довольно красиво. И нет отдыхающих, равно как и твоих изрядно опостылевших мне соотечественников. Слышишь?

Одна легковая машина уже скрылась, другая, сияя фарами вдалеке, еще не выдала себя звуком — и в этом неподвижном промежутке отчетливо различалось верещание цикады. Небо в путанице созвездий. Вечно недосуг выучить названия, только и

знал, что Большую медведицу, да зимний, сиявший над Васильевским островом Орион. Крутая, вздыбившаяся гора, дряхлая и рассыпающаяся, как все ее кавказские собратья. Море ночное впереди.

Стоим у самого обрыва. Босые ноги боязливо по серым камешкам скользят. Под ветром выцветшим вздыхая, трава колеблется сухая, и страшно повернуть назад. Но видишь, вышли к синей шири. Давай, единственная в мире, разломим хлеб, нальем вино. Дай поблуждать судьбе и взору по воспаленному простору — недаром все обречено. А я люблю тебя, и вправе забыть о смерти и о славе, сказать: на свете нет ни той, и ни другой... а только море и горы, а вернее, горе, и флейта музыки простой. Плыви — мы никого не встретим. Я только к небу, к волнам этим тебя ревную... звонкий свод небес, морской и птичий праздник...

Тело само устраиается, изогнувшись, на податливой воде, и если оттолкнуться ладонью от безучастной поверхности моря — примутся плыть вокруг тебя ртутные созвездия, крошечный берег, качающийся горизонт. Почти задыхаясь, так и не достав до твердой почвы, он выплыл на воздух, отдышался — и протянутая его рука встретила руку Клэр.

— Я хотел камешек со дна, — сказал он. — Знаешь, там бывают совсем круглые.

**Глава восьмая.** Ну вот, движение на шоссе совсем замерло, порядком продрогная парочка пристроилась в обнимку на вынесенной морем коряге, не оборачиваясь, когда за спиной пронесился-таки приبلудный пустой автобус или такси с заспанными седоками. Наступал час, когда вместо "поздно" пора говорить "рано"; невидимое за горами солнце ворочалось где-то в зарослях терновника и ежевики, окрашивая дальние хребты в цвет чайной розы и море — в цвет каленой стали. Пора было возвращаться домой — в то место, которое невольно зовет домом невнимательный к точности своих речей путешественник. В придорожных поселках победно перекликались петухи, и сторожевые псы ворчали, положив мохнатые беспородные головы на передние лапы. Вскоре должен был показаться аэропорт, где словить такси ничего не стоило.

— Я такая счастливая, что приехала, — вдруг сказала Клэр. — Так давно собиралась.

— Билл тебя действительно не хотел пускать?

— Как тебе сказать. Он у меня либерал. Просто начал меня уговаривать вместо России поехать в Марокко. Откуда такая фантазия? А я последние три с лишним года как привязанная. Мальчишка, дом, мастерская. Сначала нравилось, после Европы-то, а потом... То есть, я не жалуюсь, — спохватилась она, — не на что, мне многие страшно завидуют...

— У тебя зрачки сужаются, когда ты говоришь "Европа".

— Правда? Последние полгода там было не так плохо. Я горшки лепила на керамической фабрике. В Ирландии. Простые, конечно, не чета нынешним. Наверное, это было самое счастливое время в моей жизни.

— Тебе и тогда так казалось?

Под лучом малинового огромного солнца потеплела и вспыхнула опаловая глубина, заплясали камешки на дне. А прибой обленился, стал почти неслышным.

— Нет, — сказала Клэр.

Шесть утра. Гостиница уже открыта, не придется стучом в дверь создавать ненужную рекламу. Из холла уже выступают две поджарые деловитые немки в купальных халатах, шумит лифт. Марк подал Клэр руку, попрощался, дотащился до своего номера, глубоко вздохнул по поводу накопившегося беспорядка, блаженно потянулся — и рухнул в постель. Дежурной по этажу было велено разбудить его в половине десятого.

Много всякого снилось Марку, а напоследок привиделся отряд голоногих римских солдат, колотящих тараном в ворота какой-то несчастной осажденной крепости. Разумеется, это означало всего лишь чей-то настойчивый стук в дверь гостиничного номера. Натянув на влажное тело свои вельветовые джинсы, Марк отворил дверь — и с превеликим неудовольствием обнаружил на пороге вчерашнего шевиотового мужичка.

— До ночи гуляете, Марк Евгеньевич, — вкрадчиво молвил незванный гость. — Поздненько гуляете. Разыскивая вас, я на работе задержался, от супруги выволочку получил. Нехорошо.

— У меня рабочий день не круглые сутки, — Марк пододвинул мужичку стул. — Да и что вам было меня искать? Объяснил же я вам, — безобиднейший старикан этот мистер Грин, наполовину уже из ума выжил. Ну, зарисовал он в свой блокнотик самолет на аэродроме. Это же ТУ-134. Его за границу продают, и в любом газетном киоске открытка с фотографией.

— Спорить нам с вами ни к чему, — сказал усатый все тем же вежливым вязким голосом. — Сегодня ТУ-134, а завтра? Бдительность, товарищ Соломин, еще никому и никогда не вредила.

Далее он пояснил, брезгливо косясь на раскиданные по комнате вещи хозяина, что Грин его покуда не интересуется. А не потрудится ли зато переводчик Соломин после завтрака составить подробную справку о профессоре Уайтфилде и о его супруге. Место работы, цель приезда, политические убеждения, контакты с советскими гражданами, партийная принадлежность, участие в деятельности реакционных американских организаций, словом, сами знаете.

— Но с какой стати? — Марк продолжал играть в обленившего столичного ферта. — Составлять отчеты на маршруте входит, как вам известно, в обязанность местного переводчика. У меня своих забот по горло. Времени нет, понятно это вам?

— Если ночами гулять, так конечно, никакого времени не будет. Вы не кипятитесь, Марк Евгеньевич, а спокойно, четко, по-армейски исполняйте то, что вам приказано. К двенадцати ноль-ноль попрошу отчет на две-три страницы — представить в комнату 1037. И больше мы вас решительно ничем не обеспокоим. Вы ведь сегодня улетаєте в Тбилиси?

— В Тбилиси, — злобно сказал Марк. — А как же чайный совхоз?

— Справятся и без вас.

Кофе Марку не оставили, мутноватый чай с черствой булочкой ясности мыслям не прибавил нисколько. "Вы не езжайте в совхоз, — тихо попросил Марк Берта, не успевшего еще разобрать свой нашедшийся чемодан, — подойдите в пол-одиннадцатого ко мне в номер, только без жены". Озадаченный профессор кивнул.

"Минутку внимания, — Марк оглушительно хлопнул в ладоши, и одиннадцать пар глаз устремилось в его сторону. — Дамы и господа, на экскурсию вы поедете без меня. Попросите на обратном пути завезти вас в "Березку". Сразу после обеда отбываем в аэропорт. Надеюсь, все уже, как я просил, упаковали свой багаж. Напоминаю, еще раз КАТЕГОРИЧЕСКИ напоминаю, — он свирепо посмотрел на мистера Грина, у которого рот, белая рубашка и даже почему-то левое ухо были перепачканы яичным желтком, — фотографировать, снимать кино, рисовать — все

это в аэропортах и на вокзалах запрещено. Неприятности будут и у меня, и у вас. Из окна самолета, разумеется, тоже нельзя”.

“А со спутников можно?” — проворчал неугомонный Гордон.

“Со спутников, с Луны, с Венеры, с Марса, ради Бога, правила эти придумал не я, и потрудитесь воспринимать их как должное, дамы и господа...”

Добрых четверть часа прорылся несчастный профессор Уайтфилд в своем затерянном Аэрофлотом и Аэрофлотом же доставленном чемодане. Калькулятор нашелся сразу, но “Лизунцы” бесследно исчезли.

“Противная история, — сказал Марк, когда они вышли из гостиницы в парк, продуваемый морским ветерком. — Очень противная. Остается надеяться, что все произошло случайно”.

“У чемодана отличные замки, — возразил профессор. — Сам по себе он никогда не откроется”.

“Больше ничего не пропало? Тряпки, западные штучки — все цело?”

“Все на месте”.

“Не пугайтесь, Берт. Мой — и ваш — умный товарищ Иван уверяет, что до самой последней возможности следует видеть в неприятностях проявление мировой энтропии, а не чьего-то злого умысла. Только будьте поосторожней, ладно?”

Не единого солнечного луча не пробивалось сквозь плотные гостиничные шторы. Отворив дверь, Клэр снова юркнула в постель, до подбородка натянув простыню. “Я проспала экскурсию, да? — протянула она жалобно. — Умираю, спать хочу. Отвернись, — за спиной у Марка послышалось шуршание одежды, видимо, собираемой в охапку, — можешь повернуться! — раздалось сквозь плеск воды из ванной. В номере стоял такой же кавардак, как у Марка. Марк раздвинул шторы, распахнул настежь окно и балконную дверь. Яркие фигурки внизу брели к морю, рассыпались по серым камням, галдели, молчали.

“Чемоданы надо паковать, — он обнял вернувшуюся в комнату Клэр, и она крепко к нему прижалась. — И вообще...”

Не изменяет ли нам чувство меры, читатель? Не впадаем ли мы в немодную сентиментальность, не сбились ли на историю Дафниса и Хлои, с автобусами, такси и самолетами вместо волков и барашков, с неудобными номерами гостиниц вместо лугов и ручейков благословенной Эллады? Наверное, все-таки нет: Россия, окружающая эту комнатушку на седьмом этаже на многие

тысячи километров к западу, северу и востоку, еще внесет свои поправки в наше повествование. Если, конечно, эти двое вовремя не одумаются. Но этим покуда не пахнет, как будто каждый из них не ожегся в свое время на разных концах земли — а еще говорят о жизненном опыте, чушь это, милый читатель. И еще поспекает одна поправка — "не хочу быть героиней романа", — говорит Клэр.

— Почему?

— Жизнь люблю, и надежду. А романисты словно сговорились травить своих героев. Счастливые концы теперь не в чести. К тому же у нынешних писателей постель расстелена на каждой странице.

— У Достоевского нет.

— Он старый. И я его не люблю больше. Когда-то прочла заповедь, носилась, как дура с писаной торбой. Вот, мол, учебник настоящей жизни. Все это, как ты любишь выражаться, блеф.

Они засмеялись неуместности этого разговора, а сердца у обоих снова частили, и безучастное солнце заливало комнатушку. "Пора собираться, — он продолжал обнимать Клэр, — у меня тоже все в беспорядке". Спустился он в свой номер, однако, не скоро, и вместо сборов попросту покидал все вещи в чемодан — да и заспешил на первый этаж встречать своих американцев, вдоволь нахлебавшихся чаю на образцово-показательной плантации.

Пора было и в дорогу. В кармане у Марка шуршала смятая телеграмма из Москвы: "ЖДИ ПИСЬМА ТБИЛИСИ ПОЧЕМУ НЕ ЗВОНИШЬ ЛЮБЛЮ СКУЧАЮ СВЕТА". Потому и не звоню, что курортный сезон, дорогая, телефонного разговора надо ждать несколько часов, а знаешь, сколько у меня забот на маршруте! Не дай Бог, взбредет ей в голову позвонить ему самой — в Тбилиси, в Ташкент ли. О чем разговаривать? и как?

"Поехали", — бросил он шоферу и отыскал глазами Клэр — та ответила ему долгим, без улыбки, взглядом. За обычным гвалтом никто не заметил этого беззвучного разговора. А уже в самолете, когда страшная сила разбега могучей машины прижала Марка к спинке кресла, когда тело его напряглось в предвкушении полета, он вдруг вспомнил, что в комнату 1037 не зашел и никакого отчета не передал. В другое время, пожалуй, переполошился бы, стал бы думать о каких-то срочных телеграммах, письмах и телефонных звонках, — а сегодня страх поч-

ти сразу сменился удивительным равнодушием. Со всех сторон их обступала солнечная фиолетовая синева, внизу откатывалось в сторону море, и вот самолет поплыл над голыми горами, пиками, ущельями, а там показался и ослепительный первый ледник, и по правую руку рванулась к небу, словно в кино, снежная вершина Казбека.

### **Часть третья. Русские приключения**

**Глава первая.** Господи, Господи, зачем же завел ты меня на зловещий этот карнавал, что забыла я в этих чужих краях? Земля предков! Какие детские были надежды, как верила: обоймет, ошеломит великая держава, в один миг полюблю, как в романах, и все — затмится и отступит, вся бесталанная жизнь, все проигрыши, неудачи, тоска и отчаянье — отступят. И не за семь, за семь тысяч верст приехала хлебать киселя, ах, ведь могло бы гнилое и страшное это болото так и остаться моей Россией церковной школы, бредом сладким могла бы остаться, луковками церковей, алым пятном на карте, зимним деньком из Бенуа или Бакста. Двадцать восемь лет откладывала, двадцать восемь лет берегла эту свою Россию, не слушала рассказов, книгам не верила, не знала, как давит эта страна, не дает вздохнуть, головы не дает поднять — а поди объясни, поди растолкуй! И откуда ты взялся на мою голову, Марк, не довольно ли с меня безумцев — или сама такая? Нет, ты еще тянешься к своей чаше, а я свою уже осушила, и была она — горька.

Клонится к середине завлекательное путешествие, и уже сболтнул Марк, юродствуя, насчет безопасности русских приключений — не позвонит, мол, второй участник приключения в дверь, не станет выяснять отношений по телефону, даже в письмах будет осторожен. Озлоблен Марк этим летом, несправедлив и к себе, и к своей любви. Но простим ему минуты душевного упадка, всмотримся сквозь время и пространство — еще путешествует он по своей недоброй земле, еще стоит, прикрыв глаза рукою, у самолетного трапа, и снова медленно спускаются на летное поле двенадцать его бестолковых подопечных.

В Тбилиси, или в Тифлисе, как упорно называл его старичок Грин, в дивном городе, на плоском, как большинство его со-

братьев, но выступающем своими пригорками, спусками, балкончиками и крутыми тесными переулками прямо в третье измерение, касательная к которому — обозначена отважно ползущим по склону Мтацминды подъемником в виде перекошенного трамвайчика, собственно, диковинной помеси настоящего трамвая с греческим амфитеатром... так вот, в столице Грузии наших американцев сразу взял в оборот расторопный местный гид Гиви. В гостеприимной улыбке обнажал высокорослый плотный Гиви замечательно белые зубы, оттененные густейшими воронеными усами и синевою хорошо выбритых щек, микрофоном в автобусе завладел, по любимому выражению Ильича, всерьез и надолго. "Мы, грузинский народ, любим красноречивые тосты, и вот вам один к примеру..." Отсмеявшись вместе с американцами, он склонился к коллеге для делового разговора.

"Программа, — приговаривал Марк, — Мтацминда, Пантеон, Джвари... что тут еще у тебя... Гóри?" "Обязательно, — шептал Гиви, — им всегда интересно, великий сын грузинского народа..." Москвич и тбилисец знали друг друга уже года четыре, и не раз работали вместе.

Из автобуса сгрузились у фешенебельной "Иверии", там, где кончались буйные клены проспекта Руставели, и сам проспект раздваивался, сворачивая налево к каким-то облезлым бетонным коробкам, направо же — спускаясь к бурой ленивой Куре. Достался ему угловой номер с просторным балконом и сафьянными шторами цвета запекшейся крови, сообщавшими освещению некоторую мрачность. Нежаркое солнце висело над городом, — и велик был соблазн вглядываться с гостиничного балкона в чужую жизнь, клокотавшую по захламленным дворикам: белье на веревках, раскатистая речь, худые женщины, носатые отцы семейств. Он опрометью кинулся к телефону, но вместо Клэр услышал гостиничного администратора. Просили спуститься забрать письмо. "Тоскую по тебе почему-то больше обыкновенного, — плыло перед его глазами, — думала даже слетать на день-два в Тбилиси или Ереван, да вовремя вспомнила, что ты, как-никак, на работе... Выпросила у отца злополучные эти "Лизунцы", прочла, вызвала папку на разговор... оказалось, автора уже нашли, чуть не на следующий день после твоего отъезда..."

У-у, сучьи потроха, блядские рты, докопались-таки, сволочи, суки гэбэшные. Доперли-таки, кого-то раскололи, подслушали неосторожный телефонный разговор, вскрыли опрометчивое пись-

мо, а может, похитрей что придумали, с американским-то оборудованием, хуй их знает, на то они и тайная полиция. Надо удивляться, что он, Марк, до сих пор в стороне — то ли недосмотр, то ли просто везение.

"Нас ждут", — Клэр влетела в комнату, вся в лиловом.

"Задремал после ужина, — Марк поднялся с постели, — забыл обо всем на свете".

И вот уже город — шумный, южный, тенистый — окружил их и охватил, и петляла горная дорога, и свистел ветер на вершине холма, пролетая сквозь оконные проемы полуразрушенного храма. Смуглая ящерка, черноглазая, с драконьим хвостом, при виде Марка и Клэр вскинула голову, застыла сфинксом — и тут же исчезла в развалинах, а небо синело в пустоте крыши, и блябли, неспешно пересекая дорогу перед самым автобусом, овечьи стада, и американцы по очереди фотографировались с седобородым пастухом, у которого мистер Грин одолжил для такого случая его высокую меховую шапку, взамен всучив свою белую панамку. На вершине Мтацминды Гордон отпускал свои обычные шуточки при виде огромного пустующего подножия, где не так давно высился памятник — "вождь, дескать, пошел прогуляться", но в Гори памятник сохранился, вздымался великий специалист по языкознанию и национальному вопросу во весь свой могучий гранитный рост неподалеку от лачуги, где некогда явился на свет. Впрочем, лачуга была целиком обстроена мраморным зданием музея. "Дело прошлое, — доверительно жаловался Гиви, — репрессии-депрессии, реабилитации-пилитации, одно тебе скажу, Марк — бардак в стране, нет в стране хозяина... ты знаешь, сколько стоит у нас в Тбилиси поступить в институт?"

По пути в город можно, наконец, отдохнуть и от Гиви — он подсел к профессору и, расточая самые обольстительные улыбки, ведет с ним крайне не нравящийся Марку разговор, из которого долетает то "нельзя же не согласиться, что Сахаров все-таки клеветник", то "вот я, например, был в Англии, я путешествовал с нашими грузинскими туристами на теплоходе вокруг Европы, и большой, между прочим, был теплоход, как же после этого у вашей пропаганды хватает совести утверждать, что мы — советские люди — не имеем права ездить за границу?" Профессор, все еще переживающий свой сочинский афронт, от спора уклоняется, и даже Гордон, похоже, чуть опасается гостеприимного

Тбилисца. Зато лучится счастьем мистер Грин — поймавшие его на улице два пижона с ходу отвалили ему две с половиной сотни за тридцатидолларовый "ПолярOID" с одной запасной кассетой.

И конечно же, на третий день в Тбилиси полгруппы свалилось с расстройством желудка. "Это из-за воды, — Марк роздал им еще по порции лекарства, — к отлету в Ташкент будете как огурчики, а то и раньше". "Безобразие! — лаяла Люси, глядя красными от бессоницы глазами. — Кого я специально спрашивала в Москве, опасно ли пить воду из-под крана?"

Вся эта проза, признаться, скорее радовала бедного нашего Марка: по крайней мере, никто не дергал его в последний вечер в Тбилиси. "Вольному — воля, спасенному — рай", — почему-то пробормотал он, когда они с Клэр, взявшись за руки, свернули в звездный колодец переулка и побрели по набирающей высоту булыжной дороге. Пыхали безучастные небесные светила, пылали и переливались, нестерпимо бил в глаза лунный свет, и в двухэтажном домике с деревянными балконами на резных колоннах шумело застолье, выводили чинную мелодию надтреснутые и серьезные мужские голоса. Были сады, и были беспризорные придорожные деревья, и не без труда забравшись на кряжистую шелковицу, гид-переводчик Соломин что было сил раскачивал ветки, чуть сам не свалился вслед за дождем иссиня-черных ягод, обгарявших серые камни кровавым? нет, скорее чернильным соком, безобразно перемазавшим им обоим губы и пальцы. Задыхаясь, одолевали Марк и Клэр каменистый склон, переглядывались, томясь. И был обрыв над городом, красноватый гранитный парапет, и река в отдалении светилась, мерцала, гасла в обрамлении черных гор. Мужской хор давно смолк. Дул неторопливый ветер, и листья высокого тополя, растущего на склоне шагах в десяти под обрывом, шумели почти на уровне глаз.

**Глава вторая.** "Довольно надрывов, довольно, — устало размышлял Марк, покуда его подруга, утомленная бесконечными плоскими виноградниками за окном, дремала у него на плече, — потешился и будет. Что за пошлость — влюбляться, когда все заведомо обречено, что за дешевый романтизм..."

Долгая предстояла дорога. Но виноградники понемногу начали редеть, печально поглядел вслед автобусу ушастый ослик с

непомерным тюком на выгнутой спине — и по сторонам задыбились горы, не лысые, травянистые, как два часа назад, а покрытые южным непроходимым лесом, или уж — совсем мрачные, каменные, черно-коричневые. За персиковыми садами и черепичными крышами Дилижана дорога взметнулась круто вверх, поворачивая через каждые полсотни метров, и за каждым поворотом еще сильнее захватывало дух от высоты, от близости неба, от чудного устройства и ускользящей от первого взгляда гармонии гор и долин. Сколько раз проезжал этой дорогой — а все не насытишься, с прежним нетерпением ждешь того, что неведомо твоим случайным спутникам. Скоро в глубине песчаной и глиняной равнины, за неряшливой Семеновкой, блеснет дивное озеро, закружатся над ним белые росчерки чаек, и на узком полуострове встанут две заброшенные церквушки почерневшего камня — скоро, погоди.

Автобус остановился у склона, сплошь усеянного кусками вулканического стекла. "Сюрприз! — надрывался Марк. — Почти драгоценность! Уникальный сувенир!" Клэр копалась дольше других, ушла далеко по склону, и вернулась с двумя странными камушками — у каждого в глубине сияла из-за внутренних трещин крошечная радуга. "Один тебе". "Зачем? Я здесь не в последний раз". "Пожалуйста". "Раз просишь... А что со своим сделаешь?" "В серебро оправлю — я умею — и буду носить".

Марк бросил подарок в казенную сумку, тщетно пытаясь вспомнить, есть ли у обсидиана мистические свойства, как у драгоценных камней. Нет. Просто черное траурное стекло. Одна слава, что возникло при извержении вулкана.

А на следующий день, когда он дожидался Клэр на площади перед гостиницей, сюрприз ожидал его самого.

— Марк Евгеньевич, — услышал он робкий голос.

На фоне стрекочущего фонтана перед ним стоял плюгавый солдат пограничных войск со школьным портфелем в руке — из тех, кого тянет, по жалостливой русской традиции, назвать "солдатиком".

— Простите? — сощурился Марк.

— Марк Евгеньевич, — солдатик переминался с ноги на ногу, — я вас сразу узнал...

— А я вас что-то... — начал Марк, но тут же, вскочив, солдата обнял и даже расцеловал. — Петька!

Петя Скворцов был, коли помните, тот самый принципиальный

уклонист из баптистской московской молельни Маркова отца, — Марк помнил его в сером пиджачке и бумажных брюках из комиссионки и теперь с веселым любопытством рассматривал, как сидела на отцовском протезе военная форма. Сидела, надо сказать, ужасно. Мундир топорщился, на голенищах пыльных сапог образовались стойкие складки, и подворотничок, надетый, видимо, утром, сплошь покрывали черные пятна.

— Рассказывай, — заторопил его Марк, — ты в увольнении? Из церкви?

— Меня в другую часть переводят, — понуро отвечал Петя, извлекая из портфеля какие-то бумаги. — Перевоспитывать, понимаете, решили. Сержант наш... — он в сердцах махнул рукой.

— За что он тебя?

— Известно за что. У меня личное время. Сажу на койке, Библию читаю, а он, как клещ — религия, дескать, опиум для народа, поповские выдумки, будь моя воля, я бы тебя этими вот руками...

Марк с содроганием представил себе жилистые красные кулаки неведомого сержанта.

— И чем же все кончилось?

— Плохо кончилось, — сказал Петя, глядя в землю. — Недели две назад прислали ему одеколону два пузырька. Он выпил, стащил у меня Библию из тумбочки, и перед всем отделением на листочки и разодрал.

— Я бы не стерпел, — сказал Марк.

— Вот и я не стерпел, — вдруг улыбнулся Петя. На месте одного верхнего резца у него зияла дыра. — А вышел с губы — уже приказ о переводе, это майор меня пожалел, мог ведь и под трибунал подвести. Как вы думаете, — он посмотрел в глаза Марку, — большой был грех?

— Я тут не судья, — весело сказал Марк, — но, знаешь, есть один замечательный русский поэт Александр Галич, так он считает, что Христос учил не столько обыкновенному милосердию, сколько жалости к поверженному врагу. Так что мотай на ус...

Он еще долго смотрел вслед уходящему Петьке, который все оборачивался, все махал ему рукой...

И была Армения. Черноглазая, черноволосая, чуть усатая Аник стояла на обрыве у недавнего памятника жертвам резни тринадцатого года. Наклонные плиты грозового бетона сходились к центру, образуя подобие распускающегося, а скорее

увядающего цветка. Текст молодой переводчицы был, разумеется, казенный, напичканный дурацкими русицизмами. До поры до времени барабанила она его с такими знакомыми Марку старательно-равнодушными переливами служебного голоса. А поди ж ты, под конец и ее проняло, и слезы на глазах показались — и даже привычный московский переводчик вздохнул.

— Видишь, — шепнул он своей подруге, — а мы спорим, кто несчастнее.

Лежали в музейной витрине раскрытые фолианты шестого века. Раскрашенные фигурки на пожелтевшем, потрескавшемся пергаменте вздымали огромные луки, в скорби охватывали руками большие головы, рядами молились в темных церквушках, при сальных свечах. Каменные орлы с отбитыми крыльями. Голые стены, прохладная теснота эчмиадзинской церкви. Старуха в черном замерла на коленях, уставившись в сияющую прорезь окна. Праздные американцы щелкают фотоаппаратами, озаряя церковь до самого купола, и Профессор пробует ногтем коричневый камень — когда-то бывший тем самым нежно-розовым туфом армянской столицы.

А о чем же говорят мои Марк и Клэр, спрятавшись от остальных за колонной? Трудно уловить этот еле различимый шепот.

— Вспомнил свое любимое место из Ветхого завета, — говорит Марк, щурясь в церковной полумгле от луча солнца, падающего ему прямо в глаза. — Хочешь?

— Валяй.

— *Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse, — медленно произносил он на чужом языке, — thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. How fair is thy love, my sister, my spouse: how much better is thy love than wine: and the smell of thy ointments than all... than... than all spices...*

**Глава третья.** — Да, ночи здесь холодные, — согласился Марк, — климат-то континентальный. Но знаешь, Гордон, кого мне сейчас жалко больше всех?

— Дантиста? Или Грина?

— Нет, администратора самаркандской гостиницы. Знай она, что мы прилетим только утром, заработала бы за эту ночь сотню с лишним. В холле-то небось десятка два командированных,

и всякий был бы ей счастлив всучить свою кровную десятку. Диалектика!

В маленьком зале ожидания для иностранцев при ташкентском аэропорту скучали все тринадцать путешественников, дожидаясь своего отложенного до трех часов ночи рейса. Впрочем, четырнадцать — брат Когана, Моисей Хаймович, приехал их проводить, да так и застрял, безостановочно разговаривая по-еврейски со своими заокеанскими родичами. Все трое то взахлеб хохотали, то надолго замолкали, однажды американский Коган принялся громко всхлипывать, а Сара — вытирать ему слезы бумажной салфеткой. Митчеллы, Уайтфилды, да неизменная Клэр лениво разговаривали, остальные подремывали или просто томилась, развалясь в потертых рыжих креслах. Не теряла времени даром только неутомимая Хэлен, и тут сосредоточенно рывшаяся в АПНовских брошюрах.

— Кстати, Берт, коли вам интересно, как раз в Ташкенте мы восемь лет тому назад с Иваном познакомились.

Восемь лет назад, да, летом было дело, забрели они с братом Андреем среди ночи погреться на городской почтамт, стрельнули там курева у московского хромого паренька, хладнокровно читавшего свой "1984" на английском языке за казенным столиком. Умный, болтливый и самоуверенный Иван пришелся ко двору. С ним, в конце концов, было много веселее, чем с грустноватым Андреем, да и поездка приобрела известную лихость. Вечерами, на железнодорожных путях, Иван ухарски расспрашивал рабочих, куда и когда отправляются товарные поезда... с душераздирающим лязгом трогались составы, и ликовали на каких-то бетонных блоках безбилетные московские студенты... Что загрустил, — писал много позже Андрей, — что загрустил, и отчего продрог в восточном сне, в его истоме крепкой? По всей империи болотный ветерок размахивает серенькою кепкой. А здесь, где кошка по уступам крыш могла бежать до самого Багдада, замешана предательская тишь на шелесте ночного винограда. Прислушайся к дыханью тополей — на этот вечер прошлое забыто. Ночь наступает глубже и быстрее, чем остывают глиняные плиты. Еще земля в руках твоих тепла, покуда черный воздух спит и стынет, и лунный луч, железная игла, легко скользит по тёмени пустыни. Вернется жизнь оплывшею стеной, и щебетом скворца, и нищелюстивою пристанционной, и улочкой кривою, а повезет — и ручкою дверной, и жарким очагом... а ты

все плачешь: "мало", выходишь из ворот, и таешь вдалеке, и только привкус ржавого металла горит на пересохшем языке...

Половина первого ночи. Мистер Файф, вчера чуть не сыгравший в ящик от очередного приступа, уже похрапывает в своем кресле в обнимку с кислородной подушкой: закинулась лысеющая седая голова, приоткрылся рот, венозная рука висит, почти касаясь пола. И мистера Грина тоже сморило. Свернулся калачиком, бедняга, положив под голову купленный утром на базаре коврик желтого плюща с ядовито-лиловыми лебедями. А Клэр помалкивает, играет колечком, которое подарил ей Марк в Ереване, тонкой серебряной змейкой с бирюзовыми глазами. Впрочем, скорей пластмассовыми под бирюзу, да и серебро оказалось сомнительное, быстро начало зеленеть. Усталый Марк пристроился в сторонке и, поманив Клэр, дал ей письмо от Андрея, полученное сегодня утром на ташкентском почтамте.

"Престранное ощущение, братец-кролик! — заглядывал Марк через плечо своей подруги. — До сих пор не верится, что где-то в краях желтого дьявола какие-то любители изящной словесности выкладывают честно заработанные доллары на мои "Лизунцы". А ты еще уверял меня, что американцы не читают книг, бессовестный. Конечно, глупейшая вышла история. О выходе книги не жалею ничуть, но, сам понимаешь, у меня нет никакого желания влипнуть из-за полуслучайной вещицы, к коей я давно охладел. В былые времена в таких случаях бежали за границу, но увы и ах, не в те времена угораздило нас с тобой родиться, милый мой Марк.

Впрочем, в известном смысле я и так за границей. Вот тебе мой распорядок дня: встаю в двенадцатом часу, завтракаю молоком, хлебом и картошкой, иногда творогом. Распугивая глупых литовских цыплят, приношу из колодца два ведра воды — хозяйка Алдона всякий раз рассыпается в благодарностях. Иногда, горько вздыхая, мою посуду. Если нет дождя — отправляюсь в лес. По дороге непременно прохожу мимо деревянного столба, на котором красуется вырезанная из дерева и с большим тщанием раскрашенная дева Мария. Собираю маслята и землянику. В дождь, то бишь чуть не каждый второй день, покоюсь на веранде в чеховском плетеном кресле и читаю книги из местной библиотеки. Лесков, Тургенев, Писемский, Гончаров — здоровый и полезный рацион. Одолевает искушение сочинить большой старомодный роман из нашей повседневной жизни, до сих пор, в

сущности, никем не живоописанной в должном виде. Жаль, что она, жизнь то есть, так бедна событиями! Они вроде бы и есть, да все какие-то не такие, скучные, и даже не в этом дело — они упорно не желают складываться в осмысленную картину.

Разумеется, я постараюсь задержаться здесь. Алдона сулит безо всякой прописки устроить меня рабочим на стройку, но только с первого сентября. Посему и обращаюсь к тебе, безотказный мой брат, с просьбою выслать рублей сорок. В сентябре отдам, а куда ты бы меня очень даже выручил. Между прочим — хозяйшка моя уже колдует над самогонным аппаратом. Приехал бы, а?

По-прежнему убежден, что сажать меня не за что. Лишь на всякий случай, точнее, на крайний случай, вкладываю листок, который прошу тебя — первый и последний раз — передать с оказией Косте, буде со мной приключится какая крупная неприятность. Хотя, повторяю, этому не бывать. Поверь своему старому умному брату. Письмо от Кости, пересланное Иваном, доставило мне несколько веселых и грустных минут, джинсы его отнюдь еще не протерлись.

Ладно, обнимаю, привет отцу..."

Марк отобрал у Клэр письмо — дальше следовало пожелание жарких ночей с молодой супругой — и вздохнул. Деньги он выслал еще днем, шестьдесят рублей. "Листочек" для Розенкранца, не прочитав из суеверия, таскал в бумажнике...

Когда дежурная растолкала задремавшего Марка, вышел уже на посадку и зевающий Файф, и жена его, и Люси, а американские Коганы все оглядывались на советского, и в глазах у всех троих стояли слезы. Ташкентский родственник вчера ездил с группой на озеро Рохат, что в переводе означает "наслаждение", много купался, вообще был весел и оживлен. А ближе к полудню подсел к "товарищу переводчику" на вакантный полотняный стульчик — заверить Марка, что "беспокоиться нет никаких оснований", что он, Моисей Коган, участник войны, член партии с 1944 года, что да, работает на секретном заводе, но письма от брата, разыскивавшего его года два назад, своевременно представлял в Первый отдел, и что о приезде Рувимы и Сары за полгода "поставил в известность треугольник предприятия", "который принципиальных возражений не имел", только с первого допуска его перевели на второй.

Мерзнущие американцы растянулись по летному полю, несчаст-

ную Хэлен оставив далеко позади — позавчера она повредила ногу и теперь, прихрамывая, опиралась на вишневую палку. Он кинул ей на ходу какую-то ободряющую фразу, пустился бегом и, наконец, нагнал грустного Рувима и всхлипывающую Сару.

"Видите, — сказал он почти радостно, — как все хорошо. И повидались, и удостоверились, что все в порядке. Заодно и по стране покатались. Племянники понравились?"

" Чудные, — сказал Коган, — старшему уже двадцать. Нам так не хватило времени. Марк! Шутка ли, столько лет в разлуке!"

По-прежнему ежась от ночного холода они подошли к самолету, к желтым масляным огням иллюминаторов и почти вертикальной лесенке трапа. Небо на горизонте серело и розовело, завтра снова жаркий день, раскаленные улицы, жажда, глинобитные стены и синие изразцы Самарканда.

Он остановился, по очереди пропуская своих американцев в самолет. Из вежливости пришлось пойти навстречу Хэлен и подать ей руку.

"Хорошо, что вы только подвернули ногу, а не сломали ее, — балагурил Марк, — палку достать легко, а с красивыми костылями была бы проблема.

"Говори что угодно, Марк, — пробурчала она, — мне все-таки многое не нравится в этом путешествии".

"Неужели обслуживание?" — Марк поднял брови.

"Против обслуживания я ничего не имею, я не буржуйка, как некоторые. Мне не нравится твое поведение, Марк".

"Хэлен, дорогая, — поспешно перебил он, — я забочусь только о пользе для Конторы. Вы зря мне не верите. И вообще, — добавил он по-русски, — шла бы ты к ебням собачьим, старая дура".

**Глава третья.** Восточные города — Самарканд, Бухара, Хива — неизменно казались ему беззвучными. О, конечно же, хватало в них и рева грузовиков, и гостиничных скрипов, и уличного говора, и ишаки кричали по утрам, — но этой какофонии он не слышал, она принадлежала сегодняшнему дню, то есть — тонкому срезу времени, не имевшему для сердца сокровенного смысла. Он не слышал в этих городах музыки прошлого, а когда силился воссоздать ее — по грохоту молотка старика-жестянщика на базаре или по лазурному блеску купола мечети — терпел самое

унизительное поражение, разгром: в толще времен различалось разве что пронзительное завывание дутара, лоснящиеся губы и жирные щеки сытого веселья, да чья-то хитрая улыбочка между длинными усами и жидкой бородой. Невежество было тому виною? или предубеждение? Это бессилие мучало Марка — не любил он быть несправедливым к чужой жизни. А Самарканд, между тем, если верить любому туристическому проспекту, давно уже стал современным-индустриальным-центром, производящим все на свете, от иглонок до холодильников, — но даже это ничуть не приближало его к глазам. Промышленность и прочие приметы настоящего существовали сами по себе, сам же город казался бесконечно отдаленным — и совершенно немым, сколько ни всматривайся в глиняные башни и серо-желтые горы на дрожащем от зноя горизонте...

Походный будильник застрекотал в половине десятого. Долго стоял Марк под струями прохладной, припахивающей болотом воды, смывая усталость и пот утомительной ночи, сильно похожий на смертный. Порезав при поспешном бритье подбородок, Марк натянул джинсы и футболку и помчался по лестнице в ресторан — лифты в самаркандской гостинице работали отратно.

Хлопотами местной переводчицы завтрак уже украшал столы — розовые ломтики вареной колбасы, кремовые пирожные, аккуратно нарезанная селедка. Тихо выругавшись, Марк побежал к метрдотелю. "А с обедом что? — скандалил он. — Разве это яблоки? Шеф, это зеленые грецкие орехи, ты перепутал. Где дыни, где арбузы, где персики — мы что, на Северном полюсе?"

— Не завозят на базу, — безучастно отвечивал "шеф".

— На рынок всегда завозят, — пустил Марк свою обычную шпильку. — Уберите десерт из меню к чертовой матери. Салат фирменный тоже, помидоры поставьте. Лимонад к херу, замените минеральной водой. Разница, — он достал розенкранцевский калькулятор, — сорок два рубля тридцать копеек. Десять возьмите себе, остаток давайте мне. Сами на рынке фруктов купим, раз вы такие бедные.

Метрдотель, нимало не собираясь спорить, протянул Марку три помятые десятки. А сонные путешественники приходили в себя с трудом, капризничали. Пришлось заказать им по добавочной порции кофе и развлечь баснословными обещаниями, вроде того, что это "самый интересный город на нашем маршруте". "И драконы будут, — тараторил Марк, — и музей, и могила Та-

мерлана, и раскопки... а в подвале, между прочим, отличный валютный бар..."

После пыльных и замусоренных стройплощадок Ташкента, после трамваев, круглые сутки лязгавших вокруг тамошней гостиницы, после европеизированной тамошней публики — русских в узбекской столице было, говорят, чуть не за девяносто процентов — путешественники жаждали настоящего Востока, и довольно-таки разочарованно косились на сновавшие по улицам троллейбусы. Но разве мало халатов, цветастых платьев, тубетек, смуглых лиц, дивной глиняной архитектуры старого города?

— Мистер Грин! — Марк вовремя успел схватить старичка за руку.

— Но они такие фотогеничные!

— Ни солдат, ни милиционеров, ни частных лиц без их позволения — сколько раз повторять, мистер Грин! Ослика можете заснять, переводчицу нашу Гульмиру, монументы всякие снимайте. Потерпите, мистер Грин. Через пять минут будем на площади Регистан, там вашим камерам будет работа...

Станный, странный город. Солдаты эти. Девочки в мелких косичках, наголо бритые черномазые мальчишки, бородачи в чалмах и халатах — и тут же невыразимый псевдогреческий оперный театр, и коробочки хрущевских пятиэтажек. А на главной площади — розы, косые линии замысловатых орнаментов, и на портале медресе Шир-Дор по-прежнему усмежаются два не то льва, не то тигра, бегущие навстречу друг другу, и из-за спины у них выходит по солнцу с человеческими чертами. Не слушая пояснений толстенькой Гульмиры, Марк чертил носком ботинка свои инициалы на пыльной земле. Под утро ему снились душные, дурные сны о Москве.

— Где я могла видеть эту площадь раньше, милый?

— В Третьяковке. Картина "Торжествуют". Верещагин. И вся площадь уставлена кольями с отрубленными головами русских солдат. Только медресе жутко обшарпанное. Его ведь отстреливали совсем недавно.

— А война-то здесь почему была?

Марк кивнул в сторону Гульмиры. Несколько запинаясь и морща лоб в поисках английских слов, она поясняла, что "присоединение Узбекистана к России в последней трети 19-го века явилось исторически прогрессивным событием, так как от-

сталый народ, находившийся на полуфеодальной стадии развития, смог приобщиться к передовым для того времени капиталистическим отношениям. Но при этом трудящиеся массы простых узбеков попали под двойной гнет национального полуфеодализма и русского империализма, что существенно ухудшило их положение, зато привело к росту классового самосознания, ядром которого явились русские рабочие и их передовые для того времени идеи..."

Она сыпала цифрами, особенно почему-то напирая на то, как невероятно выросло за годы советской власти число узбеков-зоотехников. С несчастным этим словом, надо сказать, у провинциальных переводчиков Конторы какие-то очень нездоровые отношения — переводят его на английский, следуя структуре русского слова, обыкновенно как zoo-technician, сиречь зоопарковый техник, так что туристы, ошарашенные, уезжают домой с несколько преувеличенными представлениями о пристрастии большевиков к зоопаркам. Отбарабанив свой нехитрый текст, повела Гульмира туристов сквозь резные деревянные ворота во двор медресе — квадратный, мощный, со всех сторон огороженный спартанскими кельями в два этажа.

Марк крикнул Гульмире, чтобы отправлялись без него — "дела!" — и они с Клэр пошли к торговому куполу, еще одной местной достопримечательности, где, правда, вместо шелков и верблюдов давно уже продавались открытки, галантерея и алюминиевые значки. "Не скомпрометирую я тебя, не дрейфь, — приговаривал Марк, — куда уж дальше. Зато я тебя от Гульмиры спас, у нее сейчас по плану лекция об освобождении узбекской женщины, кошмарная тягомотина..." "Ваша Контора нарочно набирает таких толстух? — мстительно спросила Клэр. — И ай-кью у вас у всех ниже семидесяти... ой, Марк, не колоти меня, пожалуйста..."

Пыльные городские тополя тоскливо шелестели в жарком безветрии, в кооперативных лавочках покачивались над головами сонных продавцов окровавленные туши на ржавых крюках, жужжали мухи, журчала в придорожных арыках серо-коричневая вода... Сторож при развалинах мечети Биби-Ханым достал из пояса ключ и повел их к запертой двери, ведущей в одну из башен полуразрушенного портала. В душной полутьме, пахнущей глиняной пылью, старостью и мышиным пометом, подымалась мимо редких окошек выщербленная винтовая лестница.

— Почему здесь заперто?

— Раньше было открыто. Говорят, в любой момент этот замечательный памятник может рухнуть. Устала? Ничего, недолго осталось.

За следующим поворотом этой бесконечной лестницы и впрямь обозначился дневной свет, и они очутились на открытой площадке, усеянной обломками необожженного кирпича. Голова кружилась: в тридцати метрах внизу, и все-таки — у самых ног, лежало всегдашнее великолепие восточного базара, пестрящего горами дынь, арбузов, помидоров, персиков, зелени. Прозрачный дым поднимался от уличных мангалов, даже до вершины башни долетал плотный запах свежеспевавшихся лепешек. Кто-то невидимый у стены базара бил в бубен, бил то мерно, то тревожно частя. Эти раскатистые звуки вдруг усилились, ударили по барабанным перепонкам — базарный безумец, размахивая бубном, огромным, как колесо, поднялся со своего тряпья под стеною и побежал меж рядами, подпрыгивая, крича, расталкивая продавцов и покупателей худыми грязными локтями. Звуки крепили, становились все отчаяннее, и вдруг смолкли — бубен покатился по земле в сторону, к чайхане, а сумасшедший сел прямо в пыль и замер, обхватив плешивую голову руками. Справа тянулись глинобитные кварталы старого города, по левую руку голубели мавзолеи Шах-и-Зинда, ближе к горизонту сиял поросший травой купол гробницы Тамерлана... Не стоит завидовать солнцу востока, незрячим проулкам и шелковой тьме. Огромное небо и здесь одиноко, и сердце похоже на розу в тюрьме. Кирпичные соты. Глухие аркады лазури, гнилого пергамента. Тут из крепкой земли мусульманского сада недаром кровавые колья растут. И если в провалы подземной темницы заглянешь — слезами зайдется душа, увидев, что стыдно ей жизнью томиться, которая, право же, так хороша...

— Сейчас к тем куполам отправимся. в гончарную мастерскую — помнишь, я обещал? Там драконы, как в гостиничном дворе. Осторожней, девочка, ты на самом краю стоишь. Отойди, не дразни меня.

В гончарной мастерской Марку обрадовались. Знакомый мастер, сорокалетний украинец в запорожских усах, обстоятельно изложил Клэр, как лет десять назад археологи раскопали в окрестностях города детскую игрушку, веселого дракона, как мастеру Джуракулову пришло в голову сделать копию-не ко-

пию, а вариацию, что ли, на тему; как мастерская, до тех пор промышлявшая тарелками да кувшинами, ухватилась за идею. На полках красовались расставленные по годам образчики размером с ладонь — драконы с хвостами, задранными и волочащимися по земле, драконы грустные и драконы хитрые, с одним рогом, с двумя рогами, со страшными зубами и с выпученными глазами. Клэр терзала мастера профессиональными вопросами, тот с видимым удовольствием отвечал. Сквозь глазок печи виднелись в огне фигурки, пылавшие ровным оранжевым огнем. На дворе, в тени чинары, узбекский паренек, не обращая большого внимания на Клэр и Марка, без устали раскрывал шпателем рты болотно-зеленым необожженным игрушкам, вставлял загодя припасенные языки и оттискивал на лапах вметинки, изображавшие когти.

Покуда восторгалась Клэр развешанными по стенам блюдами и тарелками, которые сияли то голубой, то черной, то зеленой глазурью в сетке мелких трещин, Марк отозвал мастера в сторону. После кратких переговоров несколько зверьков с какой-то особой полки перекочевали к нему в сумку.

— Ты довезешь их до Америки? — спросил Марк. — Будь осторожней, постарайся завернуть их получше. У меня есть опыт, я знаю, как легко у них отбиваются лапы и хвосты.

Развернув покупку, он расставил зверьков боевым строем на земле, у ног Клэр.

— Ой, спасибо, милый! А почему два одинаковых?

— Один тебе, другой мне. Береги его больше других — я человек суеверный, а глина — хрупкий материал.

— Знаю.

Он снова раскрыл сумку в поисках сигарет, и на дне ее увидел обломок вулканического стекла, все с той же трещинкой-радужгой, играющей в глубине.

— Клэр.

— Да, родной.

— Ты не забудешь меня?

Молчание.

— Господи правый, Марк, я ничего не понимаю, — наконец говорит она. — Послушай, осталось всего пять дней. Билл и мои старики приедут встречать меня в аэропорт, и Максима, может быть, привезут. И ты через пять дней будешь дома... и женишься....

Молчание.

По мере удаления воображаемой кинокамеры по вертикали вверх, голоса этой, и без того негромко разговаривавшей пары становятся все глуше и глуше. Поначалу еще можно различить выражение на лицах, и даже догадаться о слезах, обозначенных потеками черной туши вокруг глаз женщины, но вскоре в серебристой тополиной листве скрывается почти вся картина, точнее, сводится к очертаниям зеленой скамейки, на которой сидят двое, чуть сгорбившись, взявшись за руки и не замечая косящихся на них редких прохожих — то солидных господ, потеющих в своем шевиоте, то молодых черноглазых домохозяек с полными авоськами южной снеди, то ковыляющего старика-нищего, бурчащего свою непонятную песню в грязную всклокоченную бороду. Глиняные же фигурки, по-прежнему образующие боевой строй, сливаются с землей, и вовсе сливаются с землей, из которой они, собственно, и вышли. Зато в поле зрения попадает поросший полусухой травой склон, по которому медленно перемещается небольшое стадо овец во главе с загорелым пастушонком, а дальше — и потрескавшиеся, выцветшие, покрытые арабской вязью купола и плоские крыши Шах-и-Зинда, знаменитого некрополя, виден и десяток американских туристов, одолевающих долгую крутую лестницу. А камера все подымается, и когда кругозор расширяется в очередной раз, ряды парадных гробниц вдруг резко обрываются невысокой полуразвалившейся оградой, сразу за которой начинается обширное и достаточно запущенное городское мусульманское кладбище. Одиноким баран меланхолически выщипывает чахлую траву, с любопытством озирая выцветшие фотографии на памятниках поновее, кирпичных пирамидах, увенчанных — какая жестяной звездой, какая жестяным полумесяцем. А недалеко от неразумного животного стоит седенький мистер Грин, которого уже обыскала бедная Гульмира. Сжимая в руке отнюдь не воображаемую, а самую настоящую кинокамеру, жизнерадостный старичок с упоением обводит ею весь изнемогающий от удушья горизонт, а чтобы улучшить свой фильм, бормочет не то по-английски, не то по-польски какие-то извинения и, покряхтывая, залезает на выщербленную надгробную плиту... ручаюсь, что он привез бы домой потрясающие кадры, не будь объектив его камеры намертво закрыт черной пластмассовой заглушкой.

**Глава пятая.** За окном еще переливались болотные огоньки городских фонарей, но тьма азиатской ночи понемногу рассеивалась, и Марк, сколько ни старался, уже не различал на побледневшем диске луны очертаний грустного женского лица, о которых Клэр ничего не знала. В глубине гостиничного номера его подруга лежала пластом на разоренной постели. В пепельнице тлел огонек забытой сигареты. Марк отыскал на столе пластиковый мешок с десятком персиков и начатую бутылку.

— Вина не хочешь? — резко прозвучал его голос в предутренней тишине. — Не самое плохое.

— Голова болит.

— Заснула бы.

— Нет.

— Как знаешь.

Какая пронзительная тишина. Режущая полоска света из прихожей, скрип паркета, бульканье струи о доньшко тонкого стакана. Он осилил всего несколько глотков.

— Драконов не разбила?

— Нет.

— Сегодня отправимся в обсерваторию Улугбека, был такой эмир.

— Замечательно.

— А вечером в оперу пойдем.

— Терпеть не могу оперы.

— Ну что с тобой? Ну правда, скажи, о чем ты думаешь, я не могу больше, ты совсем сумасшедшая этой ночью...

— Как я хотела бы жить с тобой. Чтобы через четыре дня мы вместе вернулись домой, вместе разбирали чемоданы, сплетничали о наших попутчиках, и расставляли по полкам твоих драконов... и целых полгода вспоминали бы об этом путешествии... и ссорились по пустякам, и мирились, и чтобы ты хвалил мои горшки, и болтал бы со мною вечерами, и спорил, и язвил, и хочу, черт подери, гладить тебе рубашки и вязать свитера...

— Из деревенской шерсти.

— Заткнись, а то разревусь. Почему у других нормальная жизнь, а у меня вечно какие-то идиотские истории, почему?

— Надо было вовремя остановиться.

— Кончай ты издеваться, а? Сам бы и остановился. — Она снова закурила. — И накинь что-нибудь на себя, простынешь. Страшно мне, Марк, милый мой, как страшно, если б ты знал.

Что я буду делать без тебя? Я не могу, честное слово, я после Европы год как мертвая ходила, а теперь ведь у меня и Билл, и ребенок, это же никаких человеческих сил не хватит...

Марк взял ее руку в свою, и дрожь у него в пальцах вдруг успокоилась.

— Знаешь, я тебя люблю. Понятия не имею, чем все это кончится.

— Кончится?

— Все в жизни кончается, — он усмехнулся, — может, я и во все погибну теперь... нет, не волнуйся, я для красного словца. Постараюсь выжить, переболеть. Трудно бросить все это. — Он выглянул в окно, где полоской раскаленного металла пылало над городом одинокое рассветное облако. Из глинобитной улочки донесся протяжный крик петуха, и сразу вслед — урчание первой поливальной машины, и плеск ледяной воды о холодный асфальт. — Только удержаться будет трудно. Но знаешь, если б не наша встреча, я бы и так начал гибнуть понемногу, по-другому, но все-таки.

Он плеснул в стакан еще вина, но пить не стал. Не хотелось разрушать ту лихорадочную ясность мыслей, что приходит порою после бессонной хмельной ночи.

— Странная у тебя философия.

— Не притворяйся, ладно? Будто не знаешь, как неприметно начинается умирание. С той минуты, когда раскладываешь жизнь по полочкам. Когда, не знаю, к счастью начинает тянуть.

— И моя разложена по полочкам. И меня тянет к счастью.

— Наверное, тебе проще. Ты баба. У тебя Максим есть.

— Напридумывал себе Бог знает чего. Откуда ты все это взял? Жизнь, смерть... У тебя родинка на спине — совершенно как чернильная клякса после стирки.

— У Андрея такая же. От отца досталась.

— Ты правда недолюбила своего отца? Петя твой ереванский чуть не молится на него.

— Пусть Петя его и любит, — сказал Марк с беспричинным озлоблением. — "БОГ ЙЕСТ ЛЬУБОВ!" — передразнил он неизвестно кого. — И не то, что я его не люблю. Просто пусть катится куда подальше со своими красивыми сказками. Не бывает чудес.

— Мы с тобой встретились — разве не чудо. Сам же говорил, воскрес. Или это тоже — для красного словца?

— Не из тех это чудес. Ладно, прости меня, дурака. Смотри — видишь солнце?

Снова проснувшись в половине восьмого, он крадучись выбрался из номера в длинный пустой коридор и без четверти девять уже сидел в ресторане, разворачивая удачно купленную в киоске "Литературную газету". Почитать ее, впрочем, не удалось — один за другим потянулись его американцы, всем чего-то от него требовалось. Гордон с Дианой, смущаясь, пожаловались на тараканов, у Хэлен треснула палка, неунывающий Грин доверительно сообщил, что у него пошаливает желудок, и пускай Марк съест его обед, сучка же Люси за столом затеяла лицемерно сокрушаться насчет усталого вида своего переводчика. "Наверняка не выспались? что ж, дело молодое, понимаю..." А тут еще и Гульмира принялась откровенничать, невинно посверкивать шоколадными глазами, объяснять Марку, как родному, что со снабжением в Самарканде неважно, мясо на рынке шесть рублей кило, но уж конечно лучше работать в Конторе, чем за восемьдесят рублей вколачивать английский или русский в головы каким-нибудь кишлачным недорослям... Но едва скрылся за углом дребезжащий автобус с группой, как Марк внезапно развеселился, даже начал напевать одну пастушескую мелодию из репертуара Розенкранца. "Целый день еще вдвоем, — он нажал кнопку лифта, — а там и еще три, а там пропади все пропадом, и думать не хочу".

По глиняным беззаконным проулкам старого города проблуждали они до двух часов дня. К обеду же их обоих вдруг сморило, а когда в номере раздался звонок Профессора — солнце клонилось к западу, в ресторане ждал ранний ужин, а у подъезда гостиницы — неизбежный автобус. Предстоящим развлечением никто не манкировал, даже напротив, с легкой руки Гульмиры, убедившей простодушную клиентуру, что "наша самаркандская опера" сливается-таки в единое целое "достижения европейской музыки, русский музыки и национальной музыки", ждали чего-то из ряда вон, и на пустой зрительный зал смотрели с большим недоумением. Не дожидаясь конца арии, Марк выскользнул из зала.

Буфетчица, позевывая, подала ему бутылку мутноватого пива. Свою "Литературку" он начал читать, по обыкновению, с последней страницы, кисло поулыбался карикатурам, перескочил на девятую страницу с международными новостями, где куклукс-

клановцы в белых балахонах сжигали крест, а на соседней фотографии умирал от голода американский младенец, на десятой же обнаружил огромную; в треть страницы, статью, так называемый подвал:

#### О КОШАЧЬЕМ ЦАРСТВЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ.

Пару месяцев тому назад небезызвестное издательство "Рассвет", специализирующееся на антисоветской пачкотне, надумало издержать очередную долларовую подачку своих заокеанских хозяев на обнародование в Западной Германии одного сочинения под названием "Лизунцы" и подзаголовком "Кошачье царство". С подозрительной быстротой эта книжонка появилась в кругах доверчивой западной публики, изучающей русский язык, и коекого из эмигрантов. Восторженные статейки в замшелых эмигрантских листках, разумеется, не касаются несуществующих литературных достоинств этого состряпанного на скорую руку пасквиля. Свою скандальную однодневную популярность он заслужил прелестями иного рода: порнографическими сценами, богатым арсеналом гнуснейших выдумок о советском образе жизни, беззастенчивой спекуляцией на давно изжитых проблемах далекого прошлого.

Органам безопасности нашего государства без особого труда удалось установить, что автором опуса является некто Андрей Баевский, в настоящее время лицо без определенных занятий, то есть попросту тунеядец. Баевский родился в 1946 году в Харькове, где и закончил среднюю школу. Не блистая особыми способностями, ухитрился, однако, заполучить аттестат серебряного медалиста. Правда, мать его к тому времени перешла на должность инспектора ГОРОНО, но, как говорится, не пойман — не вор. Благополучно избежав призыва в ряды Советской Армии, он направляет стопы в Москву и поступает, желая, видимо, надолго окунуться в столичную жизнь, на филологический факультет МГУ. На третьем курсе, провалившись на экзамене по политической экономии, Баевский уходит в затянувшийся на два года академический отпуск, большую часть которого подвизается в должности экскурсовода в бывшем Кирилло-Белозерском монастыре. Ничтоже сумняшеся, он уже числит себя в "поэтах", из кирилловского уединения без устали рассылая по газетам и журналам свою дурно зарифмованную продукцию. Ко времени его возвращения на филфак относится появление в универ-

ситетских аудиториях клеветнических "листовок" о братской помощи советского народа социалистической Чехословакии. Если это и совпадение, то совпадение знаменательное.

За два года вольной жизни Баевский утратил вкус к учению. У него участились прогулы, он уклонялся от общественной жизни, позволял себе, наконец, явно демагогические, провокационные выступления на семинарах по марксистско-ленинской философии и в среде товарищей-студентов. А в один прекрасный день на курсе стало известно, что комсомолец Баевский — к ВЛКСМ он примазался еще в четырнадцать лет — регулярно посещает службы в православной церкви и даже тайком крестился. Естественно, что комитет комсомола МГУ, рассмотрев персональное дело Баевского, единогласно постановил исключить его из комсомола, одновременно возбудив перед ректором филфака ходатайство об отчислении его из университета.

Казалось бы, после фиаско с МГУ нашему герою следовало бы вернуться в родной город, чтобы честным трудом на производстве заслужить себе право через несколько лет восстановиться в университете.

Однако ему не хотелось покидать Москву. Здесь у Баевского было больше возможностей для распространения своих виршей, для амурных приключений, для нечистоплотной околелитературной возни. После двух-трех случайных публикаций он возомнил себя профессиональным литератором, нимало не смущаясь тем, что большинство редакций находило его писания достойными в лучшем случае мусорной корзины. Его напичканные формалистскими изысками произведения находили свою невзыскательную аудиторию — озлобленных графоманов, завсегдаев существующих еще где-где "салонн", обывательски настроенных "поклонниц изящного". Эти девицы, впрочем, рвались не столько послушать гнусавые декламации Баевского и его приятелей, сколько побывать у него на квартире, постепенно превратившейся в настоящий притон. Находились у него не только поклонники, но и меценаты. Например, некто Розенкранц, выехавший в феврале сего года к родственникам в Израиль, но взамен направивший стопы в США, уже по дороге за океан буквально завалил своего протеже посылками с подержанным заграничным тряпьем — уж не в счет ли гонорара за так называемый роман, играющий на руку не только антисоветчикам всех мастей, но и сионистам?

Водил Баевский дружбу и с диссидентствующими отщепенцами. Наезжал в Ленинград, где такие же графоманы, как он сам, устраивали ему "выступления", неизменно кончавшиеся пьяным разгулом. Были среди его приятелей и обыкновенные хулиганы — достаточно назвать Глузмана и Лобанова, в начале этого года испоганивших стены Новодевичьего монастыря порнографическими рисунками. Сейчас, когда эта парочка уже получила по заслугам, позволительно спросить — а насколько непричастен к их преступлению был Баевский?

Литература — один из ключевых участков идеологического фронта. И когда в нее с черного хода пытаются пробраться темные личности вроде Баевского, мало развести руками в горестном недоумении. Необходима активная, непримиримая борьба. Необходимо, чтобы свое веское слово тут сказал Советский Закон. И особенно важно это в наши дни, в нынешней международной обстановке, когда миролюбивая Страна Советов взяла твердый курс на политическую и военную разрядку. Иные склонны смешивать этот курс с идеологическими компромиссами, забывая о том, что в сфере идеологии, как подчеркивал еще великий Ленин, у нас нет и не может быть никаких уступок буржуазному Западу. В этой сфере шли, идут и будут идти жесточайшие сражения. Советуем помнить об этом тем господам, которые рассчитывают поспекулировать на нашем стремлении к миру во всем мире".

Марк захихал скомканную газету обратно в сумку. Надо было куда-то бежать, кого-то предупреждать, что-то делать... но Москва была в четырех тысячах километров, Литва еще дальше, да и сделать он не мог, в сущности, ровным счетом ничего. А через два часа, после окончания идиотского представления, его ждала работа. Он зажмурился и тихо-тихо, почти незаметно, застонал.

"Решил всех перехитрить? — засмеялась у него за спиной Клэр. — Я тоже не смогла больше. Постой... погоди... что с тобой?"

"Неприятности. На, — он расправил газетный лист, — читай".

"Боже мой, — она отложила газету, — какая подлость. Но здесь же все вранье, Марк! На этого автора можно в суд подать, за клевету... Кто же мог написать это? Что за скот?"

"Там есть подпись, Клэр".

"Нет. Подписано **Литератор**".

”Вот именно. Это псевдоним моего будущего тестя, милая. Если, конечно, он теперь когда-нибудь станет моим тестем”.

**Глава шестая.** ”Уж и не чаял с тобой встретиться, — обнимал брата Марк, — как ты сам добирался до такой глуши? И послушай, у вас тут бывает солнце? хоть раз в году, а?”

”Мало солнца, мало, — смеялся Андрей, — а водка у тебя московского разлива? ленинградского? и не выпил, довез? ну герой! Я вологодской просто, поверишь ли, в рот больше взять не могу. Грибов вчера набрал — смотри, какая куча. Вечером такой прием устроим в вашу честь, закачаешься... а Наталью что прячешь? здравствуй, милая, наконец-то выбралась!”

Моросил мелкий дождь на жалкие деревянные домики Кириллова, Марк и Наталья мотали головами, приходя в себя после шести часов в ”Ракете”, мчавшей их между плоскими серыми берегами Шексны. Почти всю дорогу они продремали, просыпаясь только на остановках, когда с маленьких скрипучих мостков вваливались на корабль, распространяя запах пота и сырости, промокшие крестьяне с заплатанными рюкзаками. А до того — стояла нелетная погода, двое суток проскучали они в негостеприимной Вытегре, подбрасывая в печку суковатые дрова да читая журнал ”Вокруг света” за 1957, кажется, год. Мало когда в жизни был Марк так счастлив, как в тот день, добравшись, наконец, до кирилловской трехэтажной гостиницы — там паслось вокруг Андрея человек шесть его московских и ленинградских приятелей, рекой лилось спиртное, часами декламировались стихи, и самый простой разговор звучал празднично — наверно потому, что за окнами лежала ”настоящая Россия”. А дождь на следующее утро стих, неповоротливая лодка тяжело скользила по озеру, белый-белый мертвый монастырь простирал к небу свои приземистые башни и купола, и в стены его ударяли ленивые пресные волны.

Лил дождь, густел туман и над Ленинградом в день прилета. По иллюминаторам ТУ-134 стекали тусклые продолговатые капли, и среднеазиатские пассажиры, со своими пахучими дынями и циклопическими арбузами, как-то затравленно жались среди обширного и скудного северо-западного пейзажа. ”Мы, ленинградцы, любим дождь, — щебетала очередная Лена, — говорят, наш город в дождь красивее, есть даже такая популярная песня...” Милых ее речей почти не слушали — видно, не один Марк упал

духом от дождя, холода, вида тощих сосновых рощ — которые, правда, вскоре уступили место геометрическому узору бетонных предместий. Но мало-помалу они въехали в сам город — и поразились тяжелому великолепию столицы империи, и замотали головами, и защелкали затворами фотоаппаратов.

В последний раз проставив мелом номера комнат на сложенных в гостиничном холле чемоданах, Марк поднялся к себе. Тоска, одолевавшая его всю дорогу от аэропорта, сменилась тупой рассеянностью, сердце колотилось глухо и ровно. А за окном неспешно струилась широкая Нева. Красовались набережные, будто вычерченные свинцовым карандашом. Цепочка туристов под яркими зонтами тянулась от своего автобуса на знаменитый крейсер "Аврора", определенный на вечную стоянку вблизи гостиницы.

Даже горячая ванна не сумела вернуть ему ни доброго настроения, ни, главное, той деловитости, которая так необходима в последние дни работы с группой. Под конец тура даже самые симпатичные американцы порою откальвали неожиданные колена: все уставали друг от друга, начинали скучать по дому, так что гиды Конторы поневоле приходилось быть вдвойне предупредительным, втройне вежливым и изобретательным — тем более, что и ограниченный запас вечерних развлечений — ну, валютный бар, ну, театр, ну, цирк, ну, наконец, попойка в чьем-то номере — за две с половиной недели успевал порядком истощиться. В Самарканде к нему уже подкатывался делегированный от группы мистер Файф на предмет чаевых, точнее, той формы, какая для Марка будет в этом смысле наиболее удобной. По привычке объяснил ему Марк, что денег он не берет — доллары брать опасно, рубли — глупо, а пускай туристы скинутся долларов по пять-шесть и купят для него в "Березке" советский магнитофон или японский транзистор. И за то, и за другое Марк без труда мог потом выручить рублей триста — свою зарплату за десять, примерно, недель. Правда, мог он и вовсе никаких магнитофонов и транзисторов не выпросить. Еще в самолете твердо решил Марк целиком свалить группу на ленинградскую переводчицу, никуда не ездить, ничего не делать. Могли рассердиться и обойти американскими милостями — ну и черт с ними. Однавѣ живем.

"Заходите, — раздраженно крикнул он. — Заходите, хватит колотить! Заперто? Ладно, секундочку".

Вошедшая Лена — оказавшаяся, впрочем, вовсе не Леной, а

Ирой — застала его в халате, с сигаретой в зубах и початой бутылкой виски на столе. Она покраснела, Марк устыдился.

”Вы уж простите, — сказал он, — у нас долгий был перелет, с пересадкой. Встали в пять утра. Устал, как последний пес. И, вдобавок, кажется простудился. Не обращайтесь внимания. Аспирин у меня есть, точнее не у меня, а у одной туристки, чуть ли не в соседнем номере, — он заглянул в список группы, — будем с ней болеть вместе, она тоже простужена. Только, боюсь, на экскурсии ваши ездить не сможем. И на завтрак, Ирочка, уж будьте ласковы, отведите их сами”.

Глубоко, ах как глубоко сидят профессиональные инстинкты. Душа саднит, как никогда раньше, а язык знай лопочет свое, и губы сами собой складываются в довольно натуральную вежливую улыбку.

Когда за Ирой захлопнулась дверь, он воровато налил себе сразу полстакана. **”Вот так-то, — он скорчил рожу настольному зеркалу, — такие-то вот дела, и что это я, спрашивается...”** Вскоре он уже спал мертвым сном, а за окошком снова напал на город безысходный туман, снова заморосило, и на пустынной Неве закипели белые барашки волн. Сколько можно путешествовать, сколько можно на ревущей механической птице взвизгивать в голубую и фиолетовую бесконечность, где не на что опереться ни душе, ни телу, сколько можно в напряженном ожидании спускаться по трапу на чужую землю, не оставляя надежды, непрестанно вымаливая у небес, только что покинутых тобою, хоть чуть-чуть облегчения, просветления, покоя? Ответь мне, город, величественный, будто труп императора на погребальной катафалке, откуда такая невыносимая тревога? Дыхание спящего углублялось, разглаживались морщины на лбу, он не услышал стука в дверь, не проснулся и когда Клэр вошла в комнату и села с ним рядом. Какие сны ему виделась — Бог весть. А печальная его подруга гладила его по взъерошенным волосам, и город все дальше уходил в дождь и туман... Смотри — из голубого далека на землю падает прощальный свет Господен, и сонная красавица-тоска безмолвствует. Отныне ты свободен. Лети один в безудержную высь, лежи в саду, где пыльные оливы, молись и плачь — но только торопись. Жизнь коротка, и судьи молчаливы. Сто лет пройдет. Смоковница умрет. Граница ночи в проволоке колючей ощерится — и разойдутся тучи, в песок уходит кровь, уходит пот. Вот так и мы уходим, не скорбя, и птица

спит за пазухой живая — пусть мытари пируют без тебя, из уст в уста свой грех передавая...

"Сколько же я проспал? — встрепенулся Марк. — И как ты сюда попала?"

"Часа полтора ты спал. И дверь забыл запереть, растяпа. А номер комнаты мне эта добрая Ира сказала. Мы снова будем бродить по городу? Так красиво здесь. Или не надо. Будем просто тихо сидеть и разговаривать, долго-долго. Тебе что снилось?"

"Ничего. Ничего страшного. Как хорошо, что ты пришла. Ты дождь любишь?"

"С тобой я все люблю".

"Хитришь".

"Немножко".

"Не беда. Может быть, дождь пройдет, а нет — будем разгуливать под твоим зонтиком. У меня еще виски есть, хочешь? Коганы подарили. — Он говорил все быстрее и лихорадочнее, иногда чуть заикаясь. — Видом из окошка тогда полюбуйся, мне одеться надо. А из номеров на другой стороне коридора можно увидеть настоящую мечеть. Татарскую. Бар в Ташкенте помнишь?"

— Хватит с меня этих баров.

— Да? А я как раз собирался отвести тебя на двенадцатый этаж, у меня завалилась десятка в нормальных деньгах. Знаешь, для тебя это — пародия, а для меня — как бы шикарная жизнь. Ладно, не дуйся, я пошутил.

— Наверное. Ты меня правда любишь, Марк?

— Больше жизни.

— Все так говорят. А потом все возвращается на круги своя. Не станешь же ты из-за меня отменять свою хвалебную свадьбу.

— Кто знает. Видишь, как много всего нагромоздилось. Что бы ты сделала на моем месте, а?

— Ну зачем ты спрашиваешь, милый. Я обнять тебя могу, поцеловать могу — крепко, вот так — а велеть ничего не могу, и подсказать не могу, и прав-то никаких у меня на тебя нету...

Несчастная Светка, верно, совсем места себе не находит. Все лето звонил он ей из своих поездок чуть не каждый день. Открытки посылал.       3

— Пошли отсюда, Клэр.

— Куда, Марк?

Дождь превратился в ливень. Ветер с Невы сплошными струями колотился в оконные стекла. Идти было, в самом деле, некуда. Но не оставаться же в номере, не блуждать же несатытым взглядом по голым салатovým стенам, переводить покрасневшие от недосыпания глаза с кровати на тумбочку, с базарной настольной лампы на глухую дверь, с халата, брошенного на пол, на пустую бутылку.

— Хотя бы в буфет. Я тоже не герой романа — жутко проголодался.

Двое вошедших в пустое кафе на седьмом этаже, чем-то расстроенные парень и девушка, сели в углу, лицом к панорамному окну. Парень заказал две большие чашки двойного кофе и два стакана шампанского, только пить они не стали. А еды поначалу не взяли, но потом парень вернулся к прилавку и набрал бутербродов полную тарелку, и опять почти ничего они не тронули, а хорошие были бутерброды. Говорили по-русски, только очень тихо. Нет-нет, ничего особенного я не заметила. Просто разговаривали, за руки держались, к середине девушка ужасно разволновалась, но они совсем недолго просидели, минут двадцать. За ними еще одна девушка зашла, беременная. Ну, может, полчаса сидели, я не помню. Кофточка на этой, на первой, была красивая — черная такая, вроде и бархатная, но с блеском — синтетика, наверно.

— Все-таки я не смогу без тебя, — невпопад сказал Марк.

— Давай не будем об этом, — взмолилась она, — ради Христа не будем, пожалей меня, мне не легче твоего...

— Скоро наши вернутся с экскурсии, — тупо промолвил он.

— Ну и пусть, а мы от них сбежим. Слушай, там за дверью какая-то молодая женщина на нас смотрит.

Обернувшись к стеклянным дверям, он вздрогнул.

— Наталья?

Она. В дешевеньком, хорошо Марку знакомом розовом плаще, подурневшая, с заметно обозначившимся животом. Стояла молча, на неловкий поцелуй в щеку только пожала плечами.

— Как тебя в гостиницу пустили — здесь же сплошные иностранцы! И кого ты ждала?

— Тебя.

— А откуда ты узнала, что я здесь?

— Иван утром звонил. Сказал маршрут твоей группы. Кто это с тобою?

— Любимая женщина, — сказал Марк серьезно.

— А-а. Что ж, страшно за тебя рада. Правда.

— И только-то? — К нему на мгновение вернулось легкое настроение. — Дай-ка я вас познакомлю. Можем все вместе посидеть. Время у тебя есть?

Времени у Натальи не было вовсе, дома беспокоился Алик, порывавшийся пойти вместо нее, но поговорить им надо обязательно, срочно, и не в гостинице, а на воздухе, и если его любимой женщине можно доверять — что ж, она не помешает, а может, и полезной окажется. На скамейке в глухом ленинградском дворе-колодце с первых слов выяснилось то, чего следовало ожидать, и что все-таки казалось Марку невозможным.

Именно в тот час, когда он растолковывал мистеру Файфу, а заодно и чете Митчеллов, устройство зубоврачебной системы в СССР, в Друскининкай прибыл на электричке из Вильнюса молодой лейтенант, незадолго до того прилетевший из Москвы, в кармане имея подписанный прокурором ордер на арест Баевского Андрея Евгеньевича, 1946 года рождения. В тот же день Баевский был самолетом препровожден в Москву, и после краткого допроса определен в одиночную камеру Лефортовской тюрьмы. Позже выяснилось, что едва завидев двоих незнакомцев в штатском, он успел сунуть Алдоне заранее написанный текст телеграммы для Ивана.

— Мы с Аликом составили письмо в защиту Андрея. Набрали одиннадцать подписей и уже отослали Брежневу и Генеральному прокурору. Но от него не будет никакого толку, если не узнают за границей. Вот я и пришла. Твои американцы, Марк, как раз через два дня улетают. Твоей подписи не требуется.

— А сама ты — хорошо подумала? В твоём-то положении — и лезть в такие истории?

— За меня, пожалуйста, не беспокойся. Клэр, может быть вы возьмете на себя это поручение? Андрей — брат Марка, замечательный поэт... мы постараемся месяца через два переправить и стихи его для издания... правда, не знаю пока, как...

— Конечно, — торопливо сказала Клэр. — Конечно. Через три-четыре дня его уже напечатают, у меня и журналисты знакомые есть. Меня совсем не обыскивали в Шереметьево, так что ничего страшного. — Она взяла у Натальи простой сероватый конверт и положила его в сумочку, одиноко валявшуюся на влажной скамейке. — Правда, Марк?

**Глава седьмая.** Из нынешнего моего отдаления, из тесного и теплого мира, который тянется ко мне голыми законными ветками и плотными, кривыми стеблями фасоли, проросшей в чайном блюдечке на подоконнике — пора бы пересадить эти марсианские корни и листья, мохнатые с изнанки, в горшок, но снег в этом году не сходит долго, земли накопать негде — из своего отдаления, сам на пороге неизвестности и горя, я смотрю на героев этого романа и думаю: отчего жизнь так несправедлива, отчего такой скорбью и разочарованием веет, в сущности, от любой смертной судьбы, даже из самых удачных? Наивный вопрос, знаю. Господь милосерден, и пути его неисповедимы. Конечно же, в каком-то четвертом измерении из наших страданий, отчаяния, надежд, разочарований и заблуждений творится некая одному Ему понятная красота, которая, надо полагать, раскроется и нам — после всеобщего воскресения. Кто же спорит. Но до Страшного суда далеко, а покуда, в земной жизни, надвигается и на меня бессонница — не та юношеская, с легким хмелем в голове и легкостью во всем теле, а другая, гнетущая, безысходная. Падают капли из кухонного крана, обиженно и тревожно стучит мое сердце. С грустью смотрю я на героев романа, и не могу утешиться даже угрызениями совести — ведь коротким своим торжеством и затянувшейся агонией они обязаны вовсе не мне, у меня нехватило бы ни фантазии, ни жизненного опыта, чтобы придумать все перипетии этой невеселой истории. Да и мой собственный голос, думается мне, достигает читателя, лишь сливаясь с нестройным хором ее участников — неужели и он обречен? Но полно! С одиннадцатым ударом часов на скрипучий помост возвращается чуть охрипшая певица, и к ней подбегает полноватый товарищ в рубахе с расстегнутым воротом, желая за свою трешку насладиться знаменитой "Хотят ли русские войны", на слова известного нашего придворного вольнодумца. Под эту патетическую песню и выходит Марк с чековой книжкой в руке из задней комнаты ресторана "Садко", где он расплачивался за прощальный ужин.

И этот вечер шел на убыль. Кое-кто уже вертелся на своих резных деревянных стульях, комкая ресторанные салфетки. Оркестр внизу собирался играть в последний раз. "Клэр, — шепнул Марк, — а как же дальше?" "Посидим еще немного, потом пойдем гулять — ты же мне до сих пор не показал белых ночей, так туманно было все эти дни". "Нет, вообще дальше?" "Ты же

сильный, Марк, придумай что-нибудь". "Я не сильный, девочка моя. Я всегда был слабый, а теперь и остатки силы потерял, я совсем как тот остриженный Самсон".

Пританцовывая и поигрывая с микрофоном, широкобедрая певица грянула обещанное, полузапрещенное — на английском языке, но с кошмарным акцентом, перевирая слова — видно, учила песню со слуха.

Obladi-oblada, life goes on — yeah!

La-la-la, life goes on!

"Мы что-нибудь придумаем, — твердила она, — мы обязательно что-нибудь придумаем...", и он понимал, что говорится это только в утешение, а все-таки вдруг поверил. "Что-нибудь придумаем", да, может быть, через полгода Клэр приедет снова, может быть, рано или поздно у них хватит мужества послать к чертовой матери всю свою нынешнюю жизнь, может быть, когда-нибудь они и впрямь будут вместе, а что потом, Господи, так не все ли равно, лишь бы вместе...

"Ты не смогла бы поселиться здесь", — полуутвердительно сказал он. "Нет, я бы не выдержала. Да и работы для меня нет. Но ты бы легко прижился у нас". "Сомневаюсь, — он покачал головой, — да и не выпустят меня. Но можно, ты знаешь, сбежать из моей пресловутой командировки в Сирию. Если пороха хватит, в чем тоже сомневаюсь. А можно на иностранке жениться — хоть на тебе. В таком случае лет пять промурыжат. А повезет — могут и года через три отпустить. Мать-то мне разрешения в жизни не даст".

Нет, довольно этих отчаянных разговоров. Что толку головою об стенку биться, когда все и так — яснее ясного?

"Я не смогу так сразу все переломать, — голос ее звучал беспомощно, — не смогу, но я приеду еще, я обязательно приеду, даже если ты женишься, ну и что, мы же в реальном мире живем, я приеду, у меня и заработки есть свои, не Билловы..."

"Да и я не смогу, — он встал. — Или смогу? Черт его знает".

Музыка оборвалась. Осушались последние рюмки. Хэлен спрятала в сумочку бутерброд с икрой, а мистер Грин умоляюще взглянул на Марка и, получив в ответ кивок, стянул со стола фирменную солонку с надписью "Контора" и такую же перечницу. Оторвав сонного водителя от чтения "Графа Монте-Кристо", компания погрузилась в автобус, а Марк и Клэр — остались у ресторанного подъезда.

— Холодно, — пожаловалась она, — и темно. Я думала, в белые ночи гораздо светлее.

— Надо было в июне приезжать. — Он тоже поежился. — И все-таки, ты посмотри, какое таинственное все, даже сейчас.

Надо бы вернуться в гостиницу, а сил нет. Нет сил пережить еще одну осторожную ночь, шорох шагов в коридоре, алый огонек сигареты, нежность и тоску. Ночь светла, свободно течет Нева, безразличная к тому, что ее заковали в гранит, и чайки кричат о своем... Ночи еще светлы, еще проплывают в померкшем, смертно чистом воздухе петербургские призраки — не здесь ли проходили они с Натальей, и тоже стояла последняя ночь холодного мая. В рассеянном сизоватом освещении река играет бензиновыми бликами, бьет волнами в осклизлые, обросшие мохнатыми водорослями ступени, грузная чайка чистит клюв на спине бронзового льва с сердито-обиженной мордой. Еще грохочут поздние трамваи, и мост дрожит по тяжести стальной. Я выпрямляюсь в рост, не узнавая ни города под белой пеленой, ни тополя, ни облака. Давно ли тянулся ввысь желтоколонный лес, и горсточкой слезоточивой соли больные звезды сыпались с небес? И снова сердце к будущему глухо — пульсирует прошедшему в ответ, и до утра воркует смерть-старуха, и льет земля зеленоватый свет...

— Что с ним теперь будет, Марк?

— Ничего хорошего. Надо молиться, чтобы его в психбольницу не посадили. Лагерь все-таки лучше.

Ночь прошла самую темно-серую точку, и небо над Васильевским островом начало чуть заметно розоветь. Первый скворец запел в листве, и другой ему отозвался.

— Ты бы лучше обо мне подумала, — сказал Марк деланно сердитым голосом. — Выпей, — он достал из сумки бутылку, заткнутую хлебным мякишем, — выпей. Ну, что ты плачешь?

— Я... я не плачу. Так получается. Страшно.

В расходящий пролет моста медленно устремилась темная громада корабля. Из-за разведенных мостов, между прочим, в гостиницу теперь было не попасть. А над городом снова густел туман, и когда Клэр с Марком, промерив шагами весь Невский проспект, добрались до Московского вокзала, снова посеял противный холодный дождь. В зале ожидания даже подоконники были забиты сонным народом, путешествующим кто по своей, а кто по казенной надобности. Но на втором этаже оказалось чуть прос-

торнее, и буфет был открыт.

— Вот тебе, дорогая, и подлинная экзотика, — Марк отхлебнул из картонного стаканчика свой едва теплый, припахивающий цикорием кофе. — Знаешь, сколько я в юности перевидал таких вокзалов.

— Руфь бы сказала, что и в Нью-Йорке спят на скамейках.

За окнами вокзала играла заря, дождь утих, а что-то все удерживало их в душном зале ожидания, где не было ни каменных ангелов, ни бронзовых львов, ни оштукатуренных кариатид, ни всей несказанной прелести белых ночей — одни усталые человеческие тела, разбросанные как попало на цементном полу и на фанерных скамейках, да плотные, черные, пахнущие потом очереди у билетных касс.

— Скоро сведут мосты. Ты чемодан успела сложить?

— Когда бы, милый?

— Значит, пора. К вечеру уже оба будем дома.

Они вошли в вертящиеся двери гостиницы, куда тонкой струйкой вливался поток таких же любителей белых ночей, а через два часа, под пение птиц и кошачьи шаги дежурной по этажу, застрекотал походный будильник. Марк остановил его — и больше не стало времени смеяться, плакать, обмениваться клятвами и поцелуями.

— Что тебе подарить?

— Уволь, — он замотал головой. — Вполне достаточно натасканного вчера ко мне в номер остальными. Уволь.

— Это смешно, милый. Я навезла зажигалок, шариковых ручек, значков, джинсы новые захватила — твой, кажется, размер; мне говорили, их тут можно выгодно...

— Брось ты свои американские штучки. Я, может, по вашим понятиям и беден, но горд. Вези все обратно. Вот таблетка успокаивающего мне бы не повредила, — он облизал пересохшие губы. — Слушай, у вас в штате есть смертная казнь?

— Отменили, — рассеянно сказал Клэр. В чемодан поочередно летели: лилово-серое платье, в котором она была тогда у моря, черный свитер с дыркой от сигареты на груди: память о Тбилиси, драконы, переложенные каким-то полотенцами и блузками. Мелькали вещи, сыпались в чемодан, и номер постепенно приобретал свой исконный нежилой вид. Только букет астр продолжал топорщиться на столе. — погоди, отчего ты спрашиваешь?

— Солнце восходит, — Марк сощурился, — я так люблю утрен-

нюю зарю где-нибудь в средней России, на берегу реки, когда туманно, и пахнет мокрой листвой, и обидно, что не знаешь названий всех этих птиц, которые распевают в ивах, я же человек городской. И казнят на рассвете. Будят засветло, выводят в холодный двор...

— Все-таки возьми джинсы, считай, что это мой взнос на Андрея. Куда, по-твоему, лучше спрятать письмо? В чемодан?

— Ох, не знаю. Может быть, лучше в сумочку — я давно заметил, у тебя подкладка оторвана.

— Хорошо.

Она с усилием захлопнула чемодан и отдала Марку пластиковый мешок со "взносом".

— Присядем перед дорогой?

Последний их поцелуй наедине вышел долгий, отчаянный — но и он кончился, пора было звонить в ресторан насчет завтрака, спускаться на первый этаж со списком номеров для носильщиков, забирать вчерашний пакет с подношением, лежавший у Профессора.

Семь утра. Казнят на рассвете, и рейсы в Америку обычно отправляются ранним утром. Как быстро кончилось это путешествие. Раздать паспорта, перемолвиться одним-двумя словами с каждым. Нельзя быть свиной, все-таки люди отдохнуть приехали.

**Глава восьмая.** — Письмо? — таможенник вытащил из сумочки Клэр порядком помявшийся сероватый конверт.

— Частное письмо, — сказала она по-русски. — Случайно завалялось за подкладку. Давно собиралась зашить, все забываю.

— Письма, девушка, следует отправлять по почте. Напишите адрес на вашем конверте, и бросьте его вон туда, — он показал на синий ящик перед входом в таможенный зал.

— По почте долго. И марок у меня нет.

— Видите ли, девушка, — таможенник попался словоохотливый. Лицо этого грузного лысеющего парня казалось помертвевшему Марку знакомым, но рыться в памяти не было сил. — Перевозка писем через границу составляет нарушение государственной почтовой монополии. Да и что такое письмо? С точки зрения нас, таможенников? Всякое письмо есть рукопись. Или предмет, предназначенный для передачи третьим лицам. Надо было в декларацию его внести или во всяком случае показать, не дожидаясь, пока я сам его найду.

— Я забыла, — беспомощно сказал Клэр.

Таможенник вылез из-за стойки и на несколько секунд скрылся за дверью с надписью "Посторонним вход воспрещен". Вернулся он в сопровождении чина постарше.

— Ну, госпожа Вогел, что прикажете с вами делать? — осведомился тот. — Вы же не хотите **неприятностей**?

Неведомых неприятностей (ссылка в Якутию? расстрел на месте?) Клэр, разумеется, не хотела, но и сдаваться так легко не собиралась.

— Там впечатления о моей поездке, — морщилась она, — это для мамы и мужа... Ни на одной таможне мира не вскрывали моих писем.

— А почему мы должны вам верить, госпожа Вогел? На любой, как вы сообразовали выразиться, таможне мира есть свои четкие правила. А вы упрямитесь? Не съедим мы вашего письма. Просмотрим и тут же вернем. Где ваш переводчик?

— Я переводчик, — подскочил Марк с угодливым подобием улыбки на устах. — Мадам Фогель во время поездки ни в чем предосудительном замечена не была, уверяю вас...

Как из-под земли появился еще один в таможенной форме, чуть постарше первого коллеги, но помоложе второго, постоял, послушал, посмотрел на Клэр немигающими серыми глазами.

— Зачем же самолет задерживать, Петр Афанасьевич? — сказал он пожилому. — Вы разве не читали телефонограмму?

С этими загадочными словами он взял со стойки конверт, не торопясь вскрыл, достал оттуда один листок машинописный и один — исписанный бисерным почерком Андрея. Просмотрел, сунул вместе с пустым конвертом в нагрудный карман кителя.

— Пропускай ее, Володя, — скомандовал он.

— А письмо?

— Как обычно.

Володя, не улыбаясь, оттиснул на декларации Клэр жирный лиловый штамп и сделал ей знак проходить.

— Сволочи вы все, — с полушепота она перешла почти на крик, — сволочи, свиньи фашистские, так бы и перестреляла вас всех, гады, гады!

Таможенник, забравший письмо, мгновенно обернулся.

— Ну-ка не смейте хулиганить, мадам Фогель, — сказал он спокойно. — Тут вам не Америка. Не Америка еще, слава Богу. Не знаю уж, кто вы такая и зачем к нам пожаловали, но валите-

ка отсюда подобру-поздорову, катись покуда цела, немецкое отродье, скажи спасибо, что отпускаем с миром. И хозяевам своим, кто там тебе платит, передай — ни черта у них не выйдет! Сто лет стоим. Тысячу. А вас и агентов ваших... словом, проваливай.

“Бедная девочка”, — успел подумать Марк. Вокруг ревущей в голос Клэр собрались Митчеллы и Уайтфилды — целовать, наперебой утешать... а машина расставания двигалась своим чередом, пора было направляться к паспортному контролю.

Не люблю расставаний, да и кто их, спрашивается, любит? Вслед за самым траурным и прозрачным нашим поэтом я изучал их грустную науку, и привыкал прощаться и, бывало, пестовал скорбь разъединения как... скажем, как черную розу другого поэта, умершего от голода и отчаяния вслед за своей музыкой, и все-таки бывало страшно больно иногда, тем более, или тем большее, что за плечами были сотни разлук, никак не тронувших сердца. Славно было играть в шахматы да вести душевные разговоры с одним, обмениваться дружелюбными колкостями с другим, посмеиваться над третьим и утешать в болезни четвертого, хорошо было иронизировать, одергивать, выпивать, завидовать, стараться, хорошо. И любого из новых друзей заменят две строчки на рождественской открытке. Они и друг с другом расстанутся легко, в лучшем случае обменяются телефонами в нью-йоркском аэропорту, да соберутся разок на натужную вечеринку, выпить за твоё здоровье бутылку нарочно купленной “Столичной”. Но упаси вас Господь от других прощаний, горьких, как сама смерть. И когда я всматриваюсь в героев этой истории, кучкой стоящих на ленинградской таможне, мне хочется, как только что Марку, отвести глаза.

Но работа есть работа. Кое-кто из группы уже жался поближе к турникету паспортного контроля, где в будочке восседал неулыбчивый наголо бритый молодой солдат — не близорукий, но паспорта тем не менее подносящий к самым глазам, троекратно сверяя фотографию в документе с личностью его обладателя.

— До свидания, мистер Коган. До свидания, Сара.

— До свидания, Марк, спасибо тебе за все.

— До свидания Марк, ты очень понравился Моисею.

Взял паспорта, вернул, щелкнул турникетом, пропуская сначала одного, потом другого.

— Я ничего не узнавала здесь, Марк. И сестры не повидала,

и даже не знаю, жива ли она. И язык, оказывается, почти забыла. Все так изменилось.

— Да, Люси. До свидания, Люси.

Какой огромной кажется форменная фуражка на крестьянской голове пограничника. Интересно, как он открывает турникет. Наверное, в будочке имеется педаль. Или кнопка.

— Ты не представляешь Марк, до какой степени я в восторге от вашей "Скорой помощи"! Быстро, эффективно, и ни цента вдобавок! Да, вот тебе от нас лично маленький подарок в благодарность за хлопоты.

Третий за полгода бумажник свиной кожи, чешский, купленный в "Березке" за пять долларов. Что ж, спасибо.

— До свидания, мистер Файф. До свидания, миссис Файф. Щелчок.

Диана долго целовалась с Марком, Гордон тряс ему руку, сочувственно заглядывая в глаза.

— До свидания, Гордон. До свидания, Диана.

Щелчок турникета, еще щелчок.

— Я вам давал свой адрес, мистер Марк, — старичок Грин корявым почерком переписывал адрес своего гида, — но вы не обижайтесь, если долго не буду отвечать — я путешествую все время, через полгода в Китай надеюсь поехать, а русские фотографии вышлю скоро, у меня своя лаборатория дома, в подвале. А пока до свидания, за армянские камни спасибо, за солонку, за все...

Щелчок.

— Что ж, — вздохнул Профессор, — поездка наша была, не в последнюю очередь благодаря тебе, просто замечательная, всего насмотрелись, а вот расставание выходит грустное. Спасибо тебе.

— Не за что. До свидания, Берт. До свидания, Руфь.

Щелчок.

Господи, ну отчего эта идиотка все еще тут! Покосившись на оцепенелую Клэр, мисс Хэлен Уоррен склонилась к самому уху Марка.

— Я ценю все, что ты сделал для нас и для меня лично, — раздался ее безумный жаркий шепот, — но как ты еще инфантилен, Марк, как много в тебе чужого, не нашего! Буржуазный либерал... реакционная феминистка... что у тебя с ними общего? Но я выведу тебя на верную дорогу, я помогу тебе.

- Как вы можете мне помочь?
- Ты еще увидишь, еще убедишься.

Щелчок.

И не было времени как следует попрощаться — правда, его никогда не бывает.

— Нельзя было на них так орать, да? Я просто не выдержала, у меня так случается, совсем себя не помню. Что же теперь будет, Марк? Меня сюда не пустят, да?

— Только не плачь, девочка. Жизнь — долгая штука. Кто знает, где и как приведет Бог свидеться. И ступай скорее, ступай. Перед смертью не надышишься.

— Не могу.

— Ступай. Пока мы живы, пока молоды — всегда будет надежда. Ступай, а то на нас уже глазают. Прощай.

— Скажи мне "до свидания", как всем, — она улыбнулась сквозь слезы, — чем я хуже какой-нибудь Люси?

— Я всегда говорю любимым "прощай".

— А я все-таки — до свидания. Никогда не забуду тебя... не знаю, что случится, но — никогда...

Долгий поцелуй на глазах у бесстрастного пограничника. Рука в руке. Последнее тепло дыхания. Пограничник прячет куда-то зеленый листочек визы.

Щелчок турникета.

Обернулась, постояла, нелепо взмахнула рукой. Ушла. Вот и конец.

Хорошо бы застрелиться теперь.

Хорошо бы застрелиться, а требуется жить. Вернуться в гостиницу, вернуться в Москву, отчитаться за поездку, нанять адвоката для Андрея, встретиться с отцом, навестить Владимира Михайловича, собрать передачу в тюрьму, уйти от Светки к чертовой матери, или не уйти — смириться, переломать себя, как доводилось не раз и не два. Притаиться, сжаться, а покуда дать событиям идти своим чередом — не время еще совсем сходиться с ума, Марк Евгеньевич.

Солнечно за окнами аэропорта, безлюдна таможня. В горле комок, руки трясутся.

Куда отправиться теперь, и почему он до сих пор торчит в углу таможенного зала, со своей сумкой через плечо?

— Эй, Морковка! — раздалось невдалеке.

Он вздрогнул. Кто здесь мог знать его старую школьную кличку?

— Морковка! Да обернись ты, наконец!

Это был тот самый таможенник Володя.

— Чего такой смурной, елки-моталки? Старых друзей в упор не видишь, да? Подходи, у меня еще минут десять свободных.

— Быстров? — Марк, наконец, признал своего классного коновода. — Жаль, не сразу тебя узнал.

— Да и я тебя не сразу! Что такой кислый?

— Как видишь.

— Слушай, а с чего ты взялся защищать эту сучку?

— Скандала не хотел.

— А-а. Ну, ты у нас всегда был добренький, как Лев Толстой. — Он засмеялся удачной шутке. — Но учти, Сережа был недоволен.

— Кто такой этот Сережа? — по возможности равнодушно спросил Марк. — И что за телефонограмма он поминал?

— Все тебе расскажи, — Быстров снова засмеялся. — Уполномоченный, кто ж еще. А насчет телефонограммы я и сам не знаю. Я человек маленький, мне велят пропускать — пропускаю, велят досматривать — досматриваю.

— Интересная у тебя работенка, Володя, — сказал Марк. — И часто такое случается?

— Бывает, — отвечал Володя, — за два года чего только не насмотришься. У иного на прилете найдешь какой-нибудь несчастный "Гулаг" на английском или Библию лишнюю, так он чуть не на брюхе перед тобой ползает, умоляет акта не составлять. И колются, Марик, со страшной силой, всех закладывают. Ладно, заболтались мы с тобой. Ты как — женат, дети есть?

— Никого у меня нет.

— Бережешь холостяцкую свободу? А зря, поверь опыту. Я вот, к примеру, женат — сказка, сыну три года. В мае в кооператив въехали, на Петрозградской стороне. Махнем? Доставлю на "Жигуленке" с ветерком, день солнечный, а у меня там бар. А?

— В следующий раз, Вовка, — сказал Марк. — Я к вечеру должен быть в Москве. Послезавтра встречаю новую группу. Но у меня в Питер командировки чуть не каждый месяц. Зайду.

— Обязательно, — восклицал Быстров, — заходи, позванивай, скучаю по всем школьным корешам. Видишься с кем-нибудь? Нет? Жалко. Ну, вот тебе телефон дома, вот телефон дачи — и гуд-бай.

Глупо.

Он неторопливо вышел из здания аэропорта и встал у летного поля, всей грудью навалившись на чугунные прутья ограды. Под прозрачным северным солнцем "Боинг" с тяжелым воем выруливал на взлетную полосу, чтобы взять курс на Амстердам, пункт пересадки. Почти незаметно оторвавшись от земли, он стремительно набрал высоту, стал реветь значительно глуше и через несколько минут превратился в бесформенную точку, а вскоре исчезла и она. Отвернувшись от ограды, Марк вдруг пошатнулся и со всего размаху грохнулся оземь. Очки его разбились при падении, и он так и не различил, на чем поскользнулся — то ли это была мертвая птица, то ли просто кусок грязной промасленной ветоши.

*(окончание следует)*

*Алексей Татаринов — псевдоним известного русского поэта, живущего в настоящее время в США. "Русские приключения" (другое название — "Младший брат") — его первое большое прозаическое произведение.*

**АМЕРИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
ищет недавних эмигрантов из Советского Союза,  
имеющих солидный опыт работы в советских  
научно-исследовательских, проектно-конструкторских  
и планово-экономических организациях, а также  
в различных отраслях промышленности  
для подготовки обзоров о новейших достижениях  
в соответствующих отраслях науки, экономики  
и промышленности. Гонорары. Резюме высылать по адресу:  
Delphic Associates, 7700 Leesburg Pike, No 250,  
Falls Church, VA 22043

# ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Сергей Рузер

## В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ГАРМОНИИ

*В минувшем 1987 году новосозданным Иерусалимским "Институтом Спинозы" был проведен симпозиум, на котором, в частности, обсуждалась проблематика секулярного еврейства, ее философские и культурные аспекты, а также соотношение религиозного и светского элемента в государственной структуре Израиля. Выступали как представители академического мира, так и люди искусства, в основном литераторы. Естественно, что спектр мнений был достаточно широк, так что тут трудно говорить о какой-то единой доктрине, которая характеризовала бы современное состояние умов в нерелигиозной части еврейства. Симпозиум, разумеется, не принял никакой итоговой "секулярной декларации", да и вряд ли ставил перед собой такую задачу. Думается, что именно многообразие, такая многоголосица позиций адекватнее всего представляет действительное положение вещей. Цель предлагаемого обзора как раз и состоит в том, чтобы познакомить читателя с имеющимся спектром мнений, предоставив ему самому — принять или отвергнуть те или иные из высказанных на Симпозиуме идей.*

Поскольку в центре обсуждения находился несколько неуклюжий термин "секулярное еврейство" или — более хлестко, — "светский иудаизм", то совершенно естественно, что были попытки понятие сие заново осмыслить, для чего в первую очередь надо было выяснить значение слова "еврейство". Речь, разумеется, не шла о животрепещущей паспортной проблеме "кого считать евреем", проблема рассматривалась на уровне идей, то есть — какого рода концепции, какого рода творчество, вообще — какого рода явления человеческого духа следует отнести к категории "еврейских"?

Здесь наблюдалось любопытное противостояние между людьми, непосредственно причастными к творчеству, как правило настаивавшими на полной неопределенности понятия "еврейского", и представителями "академической фракции", пытавшимися выработать какую-то дефиницию.

Амос Эйлон, писатель: "Проблема в том, что у меня есть трудности с предложенной нам темой: "Светский еврей — кто он?" Ибо я хорошо знаю, что значит светский, но не знаю точно,

что такое "еврей". И в этом я похож, судя по всему, на многих здесь присутствующих, в чем с облегчением убедился во время сегодняшнего заседания... Мы все знаем, что такое Галаха, это другое дело, а вот что такое "еврей" — не слишком. "Еврейство" — это понятие, о которое разбиваются все попытки точного определения. Более того, его и понятием-то не назовешь, тут и речи не идет о чем-то точном, о какой-то "научности", а в лучшем случае о неуловимом ощущении, с ударением на **н е у л о в и м о м**".

**Х а и м Б е з р**, писатель: "Прежде всего хочу, даже обязан высказать некоторое сомнение по поводу самого термина: иудаизм, еврейство. Я, к примеру, не знаю, что такое иудаизм. Это нечто неопределенное, у меня нет никакого четкого... словом, я не понимаю, что это такое..." ..

Согласен Безр и с тем, что вот с Галахой-то ясно, но Галаха ведь не обнимает собой всего еврейского.

В противоположность им профессор **Э л и Ш в а й д** не удовлетворяется эмоциональной констатацией имеющегося здесь затруднения и пытается все-таки дать дефиницию:

"Естественным ... было бы признание того, что **в с я к а я** деятельность евреев, осознающих себя таковыми, в какой бы сфере она ни протекала, есть проявление **п о д л и н н о г о** еврейства. Речь таким образом идет не только и не столько о некоей заданной норме, которой мы либо соответствуем (и только тогда признаемся евреями), либо нет, сколько о том, что благодаря самому факту осознания нами своей принадлежности к народу Израилеву, благодаря наличию у нас по этому поводу **о п р е д е л е н н о й** (в смысле, что она есть, а не то, что заранее задана, должна соответствовать чему-либо), позиции, все то, что мы в дальнейшем совершаем в этой жизни, по определению есть проявление еврейства и иудаизма.

Вот как со свойственной ему хлесткостью выразил ту же мысль Бердичевский: мы — евреи, а потому — можем смело следовать велению своего сердца. То есть, мы уже **и з н а ч а л ь н о** представляем собой нечто, а потому **в с е**, что бы мы ни совершали в процессе реализации и раскрытия нашей сущности, непременно несет на себе печать нашего еврейства или, иначе выражаясь, является проявлением нашего иудаизма. Полагаю, что мысль Бердичевского в той форме, в которой она высказана, достаточно лаконична и точна, и по существу полностью исчерпывает проблему. Но все-таки, с вашего позволения, сошлюсь здесь еще на один авторитет, на сей раз на р. Нисана Бойма, одного из самых

значительных мыслителей движения религиозного сионизма. В своей программной статье под названием "В чем суть движения Мизрахи" р. Бойм резко выступил против отождествления глобального понятия "еврейство" с более узким понятием религии или даже с Торой. Он утверждал, в достаточно, надо сказать, резких выражениях, что "еврейство" или "иудаизм" включают в себя опыт всего народа Израиля, всю его культуру (не только религиозную) и все присущие евреям жизненные уклады".

Подход, провозглашаемый профессором Швайдом, подход, так сказать, от эмпирики, а не от догмы, все же содержит некоторый заданный критерий, а именно: необходимость определенной позиции, то есть осознания своего еврейства, чего по всей видимости не предполагает Бердичевский в приведенной цитате и о чем не слишком волнуются Хаим Безер и Амос Эйлон. Последний на вопрос о том, что более или менее адекватно было бы записать в его удостоверении личности, ответил так:

"...Сама попытка принудить нас к выработке дефиниции, к тому, чтобы по крайней мере продвинуться в этом направлении, ...есть ...культурная манипуляция, которую я отвергаю и даже с некоторым негодованием, ибо она подрывает основы жизни в свободном обществе... Если поставить меня к стенке и потребовать, так сказать, мое персональное удостоверение личности и групповой принадлежности, то я, не изменяя правде, могу сказать лишь следующее: я — израильский писатель еврейского происхождения..."

Последнее, по-видимому, надо понимать так: я — писатель, живущий в Израиле, и еврей по происхождению.

При такой личной позиции не представляют особого интереса идейные аспекты взаимоотношений между светской и религиозной составляющей еврейства, здесь главный интерес сосредоточен на проблеме обеспечения личных свобод и свободы творчества для граждан израильского государства, о чем мы еще будем говорить дальше. Сейчас же вернемся к точке зрения Зли Швайда, ибо она позволяет продолжить поиски определения, перейдя от еврейства вообще к еврейству секулярному.

Прежде всего ясно, что с его точки зрения нет никаких противопоказаний считать интересующий нас феномен проявлением иудаизма:

"Если согласиться с тезисом р. Бойма, то тогда само собой разумеется, что все способы (включая светский), которыми мы выражаем самоидентификацию с еврейским народом — будь то в сфере общественной, политической или культурной, — так вот все эти способы суть не что иное, как проявления иудаизма, и у каждого отдельного индивидуума (или группы) есть полное право заявить, что именно выбранный ими путь и

ведет к реализации их еврейства ... (А) поскольку есть на свете индивидуумы, являющиеся одновременно и евреями, и людьми нерелигиозными, то это означает, что секуляризм их по определению еврейский, и феномен светского иудаизма является таким образом неоспоримым фактом нашей действительности”.

Профессор Швайд выступает также против попыток усмотреть некую неполноценность, якобы присущую нерелигиозным людям с еврейской точки зрения:

“Я никак не могу согласиться с наметившейся в Израиле тенденцией — прослеживающейся как у религиозных, так и у светских мыслителей, — отделять формальный вопрос о национальности от вопроса о сущности принадлежности к еврейству.

Такое отделение невозможно. Обратите внимание, что происходит: с одной стороны утверждается, что еврейство в сущности есть религия, а с другой продолжают определять национальную принадлежность еврея не в силу его исповедания, его убеждений, приверженности, скажем, тринадцати принципам веры Маймонида, а в силу факта его происхождения от еврейских родителей. В результате нам предлагают этаких гибридов, странных существ, которые, видите ли, “по национальности” евреи, а “по существу” — нет. Уверен, что положение это ненормально и есть результат ложной исходной посылки...”

Итак, светская модификация иудаизма продолжает оставаться вполне еврейским феноменом, никак не уступающим, по-видимому, в этом смысле модификации религиозной. Уже упомянутое условие “сознательной позиции” порождает однако новый круг вопросов. Избавляясь от галахической проблемы “кто еврей”, мы вынуждены решать теперь не менее сложную проблему: какую позицию можно назвать “сознательной” и что делать, если она сознательно нацелена на разрыв с религиозной традицией? Неудивительно поэтому, что профессор Швайд считает нужным привлечь наше внимание к тому, что он называет “проблематичностью еврейского секуляризма”.

“Сама формулировка темы сегодняшнего заседания — “Существует ли светский иудаизм?” — и особенно вопросительный знак в конце ее, а ведь принадлежит-то формулировка, наверняка, нерелигиозному еврею, — так вот этот знак вопроса свидетельствует о наличии некой внутренней трудности. Конечно, недвусмысленная и твердая лекларация, утверждающая реальность занимающего нас феномена, совершенно необходима, хотя бы потому, что она дает ощущение своеобразного катарсиса широким кругам заинтересованной общественности, что само по себе

уже весьма полезно. Но положи руку на сердце, я не думаю, что разумно было бы такой декларацией ограничиться. Гораздо продуктивнее сосредоточить внимание на упомянутой проблематичности, которая по моему разумению вызвана не столько необходимостью дать адекватный ответ на вызов, бросаемый ортодоксами, сколько вытекает из специфических свойств самой безрелигиозной еврейской культуры. У культуры этой достаточно уязвимых мест, и если она действительно хочет заявить о себе в полный голос и исполнить свое призвание, то в первую очередь необходимо правильно оценить ситуацию, осознать, в чем кроется слабость и попытаться решить имеющиеся проблемы.

Для того, чтобы выявить причины той слабости, о которой мы говорим, необходимо вернуться по крайней мере на полтора столетия назад и посмотреть, какой смысл вкладывало в понятие "секуляризации" большинство тогдашнего еврейства.

Определяющим, полагаю, был тогда тот факт — и на это надо обратить самое пристальное внимание, — что светское мировоззрение проникло в нашу среду не только в виде безрелигиозных установок как таковых, но и в качестве новой, ранее принадлежавшей другим, культуры. Культуру эту, еще недавно чуждую, еврейский народ должен был принять и усвоить, сделав ее частью своего духовного мира. И потому секуляризация с неизбежностью поднимала вопрос об ассимиляции. Подчеркну, что тяга к растворению и слиянию с другими народами вовсе не обязательно вытекает из безрелигиозного мировоззрения — сомневающиеся могут обратиться к ярким примерам англичан, французов да и американцев. Но в контексте истории народа Израиля глубинный смысл секуляризации может быть понят только в связи с проблемой ассимиляции.

Итак, можно было бы считать, что мы договорились об основной установке: все, что евреи совершают, осознавая себя представителями народа Израиля и исходя из понимания своей групповой исторической ответственности, есть иудаизм по определению. Значит и результаты их творчества в любых областях автоматически становятся интегральной частью еврейской культуры. Еще раз повторяю, что я лично приветствовал бы такого рода дефиницию и во всем сердцем готов к ней присоединиться. Но есть один аспект, который плохо согласуется с этой теоретической установкой. Я имею в виду тот факт, что довольно значительная часть деятельности, в частности, творческой, евреев в секулярную эпо-

ху никак — даже в их собственных глазах — не отождествляет их с иудаизмом. Напротив, они вполне сознательно рассматривают себя в этих случаях, как часть нееврейского социума и нееврейской культуры. Причем, доля жизненной энергии, которую они вкладывают в нееврейскую (подчеркиваю еще раз, — по их собственному мнению) сферу, чрезвычайно велика”.

Далее профессор Швайд отмечает, что смелые заявления относительно сущности национальной светской культуры, ее блестящего будущего, ждущего нас возрождения на почве связи с землей, языком и вечным — не обусловленным обязательно религией в узком понимании слова — еврейским этосом, так вот, заявления такого рода раздуются не в первый раз:

“Жили когда-то на свете люди, вроде Ахад Га-Ама, Бялика, А. Д. Гордона, — список, разумеется, можно было бы и продолжить, — которые мечтали о расцвете в Израиле светской культуры, которая была бы не только подлинно национальной, но и обладала бы при этом богатым и разнообразным содержанием”.

И что же? Какова судьба этих возвышенных концепций? Почему, если вы сегодня спрашиваете ученика средней школы, — а я такого рода опыты проделываю довольно систематически, — какие из преподаваемых предметов определяют его причастность к еврейству, то ответ всегда один: уроки Танаха? Даже история, как выясняется, не в счет, даже литература или, скажем, язык иврит. Как же так получилось? Почему молодой человек, получающий образование в сегодняшней израильской школе, отказывается воспринять что-то, кроме Св. Писания, в качестве формообразующего элемента своего национального самосознания? Вот вопрос вопросов!

... На сегодняшний день мы в нашей системе образования явно не дотягиваем до того пункта, который позволил бы укрепить в сознании молодого человека связь между израильской (и еврейской) культурой в широком смысле слова и его самоидентификацией как еврея. Что, кстати, необходимо и для понимания культуры европейской. И поскольку у многих наших молодых “западников” национальное самосознание развито весьма слабо, они и западники-то получают весьма ущербные.

Все сказанное не оставляет никакого сомнения в том, что так называемой секулярной еврейской культуре в Израиле грозит опасность ассимиляции. А после определенной черты ассимиляция означает просто прекращение существования.

Здесь, по моему мнению, и находится источник глубокого духовного и культурного неустройства, основа кризиса. Поэтому

му всякий, заявляющий сегодня о приверженности безрелигиозной еврейской культуре, должен до конца осознавать драматизм сложившейся ситуации... Или нам удастся коренным образом пересмотреть подход к набору и содержанию преподаваемых дисциплин и донести до молодого поколения дорогие нашему сердцу идеи, или через весьма короткий период времени лозунг: "Да здравствует светский иудаизм!" — будет лишен всякого содержания".

Здесь самое время обратить внимание, что говоря о кризисе, Эли Швайд говорит о кризисе культуры, направления мысли, кризисе выношенной отцами-основателями идеи. Но это не единственное значение, которое может быть придано термину "секулярное еврейство". Прислушаемся к словам ведущего заседание профессора Иермиягу Йовеля:

"Теперь о смыслах, которым может быть нагружен этот термин (секулярное еврейство). Один из них, явно или неявно подразумевавшийся многими выступавшими здесь, следующий: секуляризм есть принципиальная духовная позиция, способная соперничать с позицией религиозной. Секуляризм позитивен и содержателен, он предлагает цельное мировоззрение, источник авторитета, базу, метод и путь принятия решений этического свойства. Он отводит человеку достойное место в обществе и мироздании вообще, не прибегая для подкрепления своей позиции, не ища оправдания в религиозной традиции прошлого".

Профессор Йовель говорит о предпочтительности секуляризма, о его адекватности человеку, который — согласно этому подходу — является началом и мерилем всех вещей. Секуляризм освобождает от создаваемого религией отчуждения, от установления "чужой власти" (власти внеположного нам Принципа) над нашей волей и разумом, утверждая вместо этого "свою власть", то есть автономию человеческой личности.

Говорит он и о цене, которую приходится платить за свободу от внешней догмы: это неуверенность, отсутствие безусловности и возможность ошибки. Подлинный секуляризм осознает свою проблематичность и готов заплатить необходимую цену, поэтому профессор Йовель предлагает называть его "рационализмом, осознающим свою конечность и ограниченность". Итак, речь здесь идет не об обороняющейся секулярной позиции, а о целостной позитивной установке, сознательно отказывающейся от устоявшегося религиозного мировоззрения. Здесь, по-видимому, и локализован упомянутый Эли Швайдом кризис. Однако, продолжает Иермиягу Йовель, есть у понятия "секуляризм" и другой смысл:

"Этот второй взгляд распространен гораздо шире, ибо первый на мой взгляд является уделом меньшинства и если им ограничиться, то никак нельзя утверждать, как это тут делалось, что в Израиле 70 процентов населения составляют светские. Ибо лишь самая малость из упомянутого количества действительно соот-

ветствует критериям предложенной мною выше дефиниции. Но вот второе истолкование секуляризма действительно является достоянием большинства. Звучит оно следующим образом: секуляризм есть альтернатива религиозному мировоззрению, придерживаясь которой я не обязательно ощущаю себя последовательным агностиком. Может, я и верю в Бога, может, я думаю, что Он есть. А если даже я и не верю, то во всяком случае не исключаю возможности такой веры. Традиция важна для меня и обладает нормативной силой, даже если я не могу толком объяснить, почему нужно верить в Бога или, скажем, зачем надо почитать родителей, почему надо следовать мнению мудрецов, живших задолго до меня. Тут есть некое нутряное ощущение, что-то эмоциональное... Я не представляю нечто, соперничающее с традиционной системой ценностей. Я считаю себя к ней принадлежащим. Но я не готов рассматривать ее в качестве всеобъемлющего контекста моей жизни. Я не согласен видеть в мире религиозных установок основное измерение моего существования, мерило для всего остального: для семейной жизни, любви, бизнеса, секса, наслаждения, страдания ... Нет, я не готов превратить религию в сеть, покрывающую все.

Я хочу отвести ей более скромное место, сделать ее одним из элементов, сократить, минимизировать. Как кто-то тут сказал раньше: "Ходим в синагогу и ездим на пляж". Это, кстати, соответствует классическому понятию "секуляризации", которое не имеет в виду полный отказ от религии, но только устранение ее от абсолютной власти над всеми сферами человеческого существования... И в этом смысле за светскими в Израиле безусловное большинство".

По правде говоря, в намерения составителя этого обзора входило, приводя классификацию профессора Йовеля, заметить, что вот, дескать, упомянутый Эли Швайдом кризис характерен именно для сферы сознательного последовательного секуляризма, в то время, как секуляризм второго рода, в силу его компромиссного характера, от кризиса избавлен. Но теперь, еще раз просмотрев текст выступления Хаима Безера, я думаю, что это не совсем так. Вот его слова:

"Что тут скажешь? Когда я пытаюсь анализировать ситуацию, то не могу не сравнить Галаху с Китайской стеной... Альберто Моравиа заметил как-то, что стена эта есть выражение страха. Древний Китай походил, по его мнению, на рака, у которого внешняя оболочка тела — твердый панцирь, а внутренности — дряблые и мягкие. В отличие от человека и млекопитающих

вообще, у которых наоборот внутренняя структура (скелет) задана жестко, в то время, как внешняя оболочка мягка и способна к изменениям. Боюсь, с глубоким прискорбием замечаю, господа, что еврейство ... галахической, так сказать, школы... подобно тому же раку, что и Китай...

В течение многих столетий все его силы были брошены на то, чтобы достичь стабильности. Чтобы не было никаких перемен, никакого развития — развитие пугает, оно ставит столь много под вопрос...

Это все так... Но с другой стороны я, как вы можете видеть, — еврей, который даже носит кипу. Трудно, очень трудно тому, кто родился внутри всего этого, да и жалко терять ту особую прелесть религиозного мира, о которой вспоминаешь, — если, конечно, она была, эта прелесть. Поверьте, это один из самых серьезных внутренних конфликтов. Я так никогда и не смог принять окончательного решения. Именно поэтому и не стал частью академического мира, потому что там ты не можешь не решать... Может, сегодня это уже и там стало возможным, но ... я всегда считал, что человек, пытающийся выработать четкие дефиниции, ученый, должен брать на себя груз принятия решений..."

По поводу путей преодоления наметившегося духовного кризиса секуляризма было высказано несколько мнений. Эли Швайд, в частности, считает, что было бы ошибкой представлять себе секулярный иудаизм как систему отрицаний установок религии. По его мнению, такого рода отрицания вовсе не вытекают из сути секуляризма, который не есть единая идеология, а скорее некий духовный настрой, главной характеристикой которого является отношение к земному существованию человека, как к стоящей перед ним задаче, требующей от него лично усилий по ее разрешению. Человек, как существо земное, несет таким образом ответственность за то, как он проходит свой жизненный путь. Такая установка ничего сама по себе не говорит о том, каковы основные ориентиры этого пути... Здесь возможен чрезвычайно широкий спектр мировоззрений, а значит — и спектр пазличных отношений к религии. В переориентации неплодотворной антиклерикальной установки светских кругов, в творческом усвоении традиции видит он выход. Приведем целиком заключительную часть его выступления:

"У светского мировоззрения нет никакой обязательной установки, предписывающей отчуждение от религиозной составляющей жизни, от символики и обряда, от понятий, связанных со святостью и от переживания благоговения перед святостью. Все это никак из принципов секуляризма не вытекает. И живым доказательством тому может служить значительная часть европей-

ского еврейства, как, впрочем, и не менее значительная часть еврейства США. Но действительно тот сорт секуляризма, который усвоил народ Израиля, живущий в Стране Израиля, представляет собой иллюстрацию противоположного рода. И немудрено. Группы, прибывшие сюда с первыми волнами алии, чтобы заложить основы для осуществления сионистского идеала, были представителями светских мировоззрений в основном марксистского или социал-демократического толка, с материализмом в качестве спасительной философской базы. Одним из главных их лозунгов была борьба с религией. Ортодоксальная часть населения со своей стороны отказывалась пойти навстречу, признать этих секулярных пришельцев. Здесь — истоки продолжающегося раскола.

Последовавший затем расцвет новой светской еврейско-израильской культуры, основы которой были заложены еще в то время, когда большинство населения страны принадлежало к сплоченному ортодоксальному лагерю и которая в значительной мере питалась изначальной антиклерикальной установкой, послужил закреплению концепции дихотомии — концепции двух противостоящих друг другу миров.

Я утверждаю, что описанный исторический процесс не только прискорбен сам по себе (потому что он наложил на все наше существование здесь, в Израиле, тяжелую печать, от которой мы и до сегодняшнего дня никак не можем освободиться), но и нанес чрезвычайный вред сформировавшейся в его рамках израильской светской культуре. Последняя сама заложила основы своего, очевидного теперь, духовного кризиса и должна теперь сгибаться под тяжестью проблем, которые она сама же и породила. Ибо не религиозники извне спровоцировали то недовольство, в результате которого столь многие — это не значит, что я в восторге от данного феномена — возвращаются к традиционному образу жизни. Необходимо отдавать себе отчет: вовсе не только соблазны разного рода, предлагаемые нашими еврейскими миссионерами и вовсе не только активно ведущаяся ортодоксами индоктринация тому причиной. Есть какая-то глубокая духовная ущербность, присущая нашей светской культуре, ущербность, порождающая глубокую неудовлетворенность.

Ибо выяснилось, что культура эта была хороша в процессе строительства страны, борьбы за дело сионизма, за построение в Израиле социалистического общества, но после достижения це-

ли... И особенно после того, как выявились некоторые милые проблемки, связанные с воплощением в жизнь высоких идеалов... когда положительная идеология, ведшая вперед нерелигиозный лагерь, пришла в упадок, — тогда-то и стала очевидной слабость новой культуры. Ибо идеалы ее с самого начала — и об этом, кстати, заранее предупреждали люди вроде Бубера, Гордона, Бялика и многие другие еще до них — могли служить для формулировки того или иного глобального мировоззрения, но в них мало проку, как только речь заходит о конкретных духовно-нравственных проблемах отдельного человека. И потому, когда глобальная идеологическая схема потеряла актуальность, духовная жизнь широких слоев нерелигиозного общества оказалась лишенной всякого содержания. Ощущение, что светский человек, якобы по самой своей природе, обязан быть полностью отчужден от всего, связанного с идеями святости и трансцендентности, от всего, что выше просто человеческого, будто светскость воздвигает непреодолимую преграду между ним и Небесами, это укоренившееся ощущение как бы заранее отнимает возможность преодолеть нынешний кризис.

И еще раз: эта ложная дилемма — либо я остаюсь на месте с чувством полной духовной пустоты, либо я “возвращаюсь” в лоно ортодоксии — создана усилиями не только религиозного лагеря. Светские тут тоже внесли значительный вклад. И потому здесь необходима по моему разумению — если мы, конечно, не хотим, чтобы вопрос о нерелигиозном иудаизме выродился в пустое провозглашение лозунгов — существенная переориентация в том, что касается отношения к содержанию религиозной веры и ее обрядово-символической составляющей. Я имею в виду не то, что называют “возвращением к вере отцов”, а п р о д в и ж е н и е в е р е д , для того, чтобы ответить на вызов религии на высоком идейно-содержательном уровне, то есть на том уровне, где оказываются неприменимы понятия и установки, имеющиеся нынче в распоряжении, распространенной в Израиле светской идеологии.

Подведем итог.

Первое: светский иудаизм (нерелигиозное еврейство) безусловно существует. Второе: течение это стоит перед лицом двух серьезных проблем, которые оно — если хочет существовать и дальше — должно решить. Одна проблема состоит в постоянной (в том числе и в Израиле) угрозе культурной ассимиляции. Дру-

гая — в полном и чрезвычайно опасном отчуждении нашего секуляризма от всего, что связано с религиозным аспектом бытия”.

Рецепт, предложенный профессором Швайдом, оказался, однако, неприемлемым для Игалья Элама. Разумеется, говорит он, традиция есть важный составной элемент нашей культуры, мы живем не в безвоздушном пространстве, мы все принадлежим к тому или иному племени, языку и прочее, тут не о чем спорить. Но сознательно делать ставку на ту или иную первоориентацию в национальном, религиозном или каком угодно другом духе? Приведет ли это к подъему, к возрождению?

“Нет! Это бессмысленно! Ибо никакое другое творчество, кроме совершенно с в о б о д н о г о невозможно. Я должен быть свободен! ... Все, что мы делаем... значительная часть того содержательного, что совершается сегодня в мире, совершается благодаря наличию свободы.

И не надо излишне беспокоиться о злоупотреблениях свободой — через них ведет дорога к пониманию того, как ей надлежит пользоваться. К чему я веду? Сейчас это проявится. Позвольте привести пример из истории нашей культуры — пример с Бердичевским. Он в свое время, в конце прошлого-начале нынешнего века, принадлежал к числу тех сионистов крайнего светского крыла, которые тем не менее внесли значительный вклад в воспитании у сионистской молодежи национального еврейского сознания. А ведь он делал заявления типа: мы — наследники последних поколений, но не примем в наследство их ящики. И — все, оборвал фразу. И не разъяснил о каких ящиках идет речь — о книжных шкафах или, может, о гробах? И еще одна фраза, которую я точно наизусть не помню — Элиезер, наверное, может точнее процитировать — что-то, вроде: мы — последнее поколение уходящего иудаизма или переходное поколение... Я хочу сказать, что это был человек, который не боялся последовательно идти до конца, который ради торжества принципа суверенности человека готов был сказать: хоп, хватит. И если требуется порвать с прошлым (если нет другого выхода, как это действительно случилось на его жизненном пути), то он порвет с прошлым во имя абсолютной свободы творчества.

И тут же — какой парадокс. Бердичевский, который несомненно в меньшей, чем Ахад Га-Ам степени, был причастен к сокровищнице еврейской культуры, смог внести здесь большой вклад. Я имею в виду труд, который он вложил, те сознательные и последовательные усилия, которые были им направлены на закладывание основ будущей, особой израильской культуры. Я в любом

случае готов принять и цену Ахад Га-Ама, как литератора и человека, обладавшего цельным органическим мировоззрением. Но парадокс заключается в том, что Ахад Га-Ам не посвятил себя собственно "еврейскому ремеслу" в такой степени и с такой интенсивностью, как сделал это Бердичевский — человек максимально свободный и открытый".

Элем, впрочем, не рассматривает свою готовность к изменениям, готовность, если надо, рвать с прошлым, как нечто, свойственное лишь Новому времени. Он подчеркивает, что на всем протяжении еврейской истории происходило непрерывное развитие, споры, разногласия, достижения компромисса, разрывы. И все — в контексте конкретных условий той или иной исторической эпохи. Что же касается до групп, которые пытались сохранить в "чистоте" свой усеченный вариант иудаизма, то все они раньше или позже откололись, потеряли связь с еврейством. И это в давние времена, — подчеркивает писатель, — когда основа цивилизации еще никоим образом не была секулярной. Что уж говорить про наши дни.

Надо отметить, что хотя ссылка на еврейскую историю и важна для Элама, она вовсе не является для него определяющей. Он подчеркивает, что даже если бы исторический опыт нашего народа свидетельствовал о противоположной тенденции (что, к счастью, не так), он все равно бы выбрал свободу и открытость изменениям:

"Я, собственно, хочу сказать следующее: с моей точки зрения нет ничего такого особо замечательного в модели, реализующей зажатость и неизменность. А то получится, что крокодилы, сформировавшиеся раз и навсегда миллионы лет тому назад и довольно успешно справляющиеся с жизненными проблемами, возникающими в их болоте, стоят выше человека. Почему я собственно должен ими восторгаться? Я могу, конечно, испытывать по поводу крокодила умеренный восторг, вызванный способностью данного животного к адаптации, но я не испытываю по этому поводу священного трепета и не собираюсь превращать его специфические качества в значимый критерий для оценки других явлений.

Я понимаю, что некоторым из здесь присутствующих аналогия с крокодилом представляется неоправданной, но я просто все время разными способами пытаюсь выразить следующее: я не признаю никакого критерия, который в своей основе противоречит внутренней свободе и суверенности, тому грузу ответственности, который я сам принял на себя..."

Выслушав две этих вроде бы противоположных мнения, трудно избавиться от ощущения, что в них все-таки довольно много общего, и быть может, если бы речь шла не о двух отдельных выступлениях на симпозиуме, а о диалоге профессора Швайда и писателя Элама, то в результате обсуждения, уточнения позиций тут можно было бы прийти к некоторому

согласию. Во всяком случае подчеркиваемая и здесь, и там — пусть и с разной интонацией — необходимость п р о д в и ж е н и я в п е р е д на такую возможность намекает. Хотя не исключено и обратное: именно расстановка акцентов, нюансы, эмоциональная склонность к традиционному в противоположность (тоже эмоциональному) от него отталкиванию — все эти тонкие различия могут оказаться решающими, сводя на нет шансы на взаимопонимание.

Если Эли Швайд призывает к переориентации по отношению к религиозному наследию, а Игаль Элам, наоборот, видит единственный шанс в неуклонном проведении, так сказать, “свободного курса”, то картина, нарисованная профессором Иермиягу Йовелем, гораздо менее драматична. Он говорит не о кризисе, а об осуществлении синтеза, для которого, по его мнению, сейчас есть благоприятные возможности:

“Одним из существеннейших параметров нашей самоидентификации, я имею в виду собравшихся в этом зале, да и многих других евреев в Израиле и за рубежом ...ну, хорошо, чтобы не делать рискованных обобщений, скажу так: существеннейшим параметром д л я м е н я л и ч н о является причастность к современной рационалистической культуре, берущей свое начало из эпохи Просвещения. Спиноза лишь один из ее провозвестников, были и многие другие.

Речь идет не только об абстрактных принципах этой культуры, но о всей порожденной ею ткани повседневной жизни... соответствующей промышленной и общественной структуре века технологии. Мы усваиваем его вкусы, стиль, даже чувства наши и переживания во многом определяются фактом причастности к современному обществу. Это неотделимо от нашей личности и это важный элемент нашей традиции, полученного нами духовного наследства. Локк, Кант и Ньютон занимают в моей личной традиции не менее важное место, чем Маймонид и другие гиганты еврейской мысли...

Таков один пункт моего “удостоверения личности” ... Другая же линия самоидентификации связана с собственно еврейскими культурой, традицией и преемственностью. Обратите внимание, я говорю “еврейскими”, а не “израильскими”. Вопреки тому, что тут говорилось (в частности Хаимом Безром, при всей моей к нему симпатии) я полагаю, что понятие “израильской культуры” не менее проблематично, чем понятие “еврейства” — и там, и там секулярных евреев поджидает достаточно мин ... вопрос только в том, на какой из них мы подорвемся, а уж подорвемся — то точно. В общем, я предпочитаю пользоваться понятием “еврейство”, хотя бы потому что история “израильянства” пока

слишком коротка... Так что если я не знаю, что такое "еврейство", то насчет "израильянства" могу сказать еще меньше...

Итак, "еврейство" есть второй пункт в моем удостоверении личности, от которого я также не собираюсь отказываться. Я не готов видеть в нем параметр, характеризующий в с ю м о ю л и ч н о с т ь , но я и не могу самоидентифицироваться, не при бе г а я к н е м у . То есть та же ситуация, что и с первым пунктом. Теперь кое-кто будет утверждать, что пункты эти друг друга исключают. Но кто, спрашивается, эти "кое-кто"? Ортодоксы, те же самые ортодоксы, которые говорили это Спинозе. И ответ мой им будет такой: может быть, во времена Спинозы элементы эти действительно были взаимоисключающими, потому что тогда не существовало еще общественно-политической, да и понятийной реальности, которые сделали бы возможным осуществление синтеза. Но сейчас такая реальность налицо. Она проблематична, никто не спорит, но я готов бороться за возможность реализации сделанного мною личного выбора...

...Мир еврейства есть для меня в первую очередь система текстов и воспоминаний. Текстов и воспоминаний, а не набор нормативов, опирающихся на авторитет Синайского откровения. Нормативную компоненту я не принимаю, а вот тексты и воспоминания — это другое дело. Ибо воспоминание никогда не статично, его всегда к т о - т о конкретный вспоминает, то есть истолковывает заново. Так же и с текстами: их читают и одновременно непременно толкуют в п р о ц е с с е ч т е н и я . И я тоже хочу прочитать и понять эти тексты п о - с в о е м у , как это подбавляет автономному еврею, живущему в государстве, которое он хочет видеть либеральным, открытым и плюралистическим".

Говоря о плюрализме, профессор Йовель имеет в виду не только сосуществование религиозного и секулярного пути, а также представленность различных течений иудаизма — в том числе консервативного и реформистского, — но и возможность широкого концептуального спектра внутри самого секуляризма. Здесь, с одной стороны, можно встретить готовность принять некоторые элементы традиции, отбросив их нормативную составляющую, а с другой — как у Амоса Эйлона — бытует мнение, согласно которому, уж если эта составляющая отброшена, то нет никакого смысла сохранять пустой, лишенный содержания, ритуал.

"Плюрализм, — говорит Иермиягу Йовель, — заключается в том, чтобы понять и ту, и другую точку зрения, обеспечив возможность разнообразного истолкования еврейской традиции, ... принять и тех, кто готов, подобно мне, произнести при случае

соответствующее традиционное благословение, и тех, кто подобно Эйлону, не согласен на это”.

Как читатель наверняка заметил, свобода истолкования “текстов и воспоминаний” является важным условием для осуществления предлагаемого синтеза. В этой связи профессор Йовель ссылается на пример Маймонида:

“...Давайте вспомним об одном из величайших сынов Изра-иля, — а в моих глазах он просто самый великий, — о Рамбаме. Велик он не только благодаря знаменитому своему “Кодексу”, но и благодаря другой книге: “Наставник заблудших”. Я бы даже сказал, что он велик именно благодаря этому, казалось бы, невозможному, парадоксальному и воистину чудесному сочетанию двух столь разных книг. Так вот, Рамбам не верил в большинство вещей, в которые верят религиозные евреи. Для него рав Перец был бы просто совершеннейший невежда, держащийся за грубые предрассудки. Надо сказать, что и ко многим повыше рава Переца, считавшимся утонченными теологами — будь то еврейскими, христианскими или мусульманскими — Маймонид относился сходным образом. Настолько чистой и возвышенной была его концепция Бога, что речь уже вряд ли даже шла о личном Боге, — Боге, к которому можно обращаться с молитвой. Мы сегодня слышали, как Лео Штраус объяснял, что учение Маймонида было учением для избранных, учением зотерическим. Но тот же Рамбам заявлял: Тора говорит на языке, понятном человеку. Каждому человеку свойственно восприятие текстов, соответствующее его уровню понимания. И если большинству свойственно прибегать к воображению скорее, чем к разуму, то они и воспримут Писание с помощью воображения, поняв метафору как иносказание, аллегорию. Те же немногие, которые способны воспринять идеи в чистом виде — что, заметим, является полной противоположностью тому, что в 90 процентов случаев называют “религиозной жизнью” — воспримут их в чистом виде, однако вовсе не обязательно при этом перестанут соблюдать ритуальные предписания и читать традиционные молитвы — они просто будут понимать их по-другому, придадут им другое, философское, значение. Такова была — как я ее трактую — и позиция Маймонида.

Посему я не спешу присоединиться к ребятам из кибуца, о которых нам тут рассказали, решившим изменить текст сиддура, потому что в своем нынешнем виде молитвы мало что говорили

их сердцу. Я занимаю в этом вопросе совершенно иную позицию: если уж я принимаю какой-то ритуал, если у меня нет внутреннего сопротивления участию в нем, то почему бы не исполнить его по всем правилам, без ненужных новаций, ну, разве что, самую малость подчистить, убрать, скажем: "Излей ярость Твою на народы..." Но такие места редки и в общем незначительны, тут не стоит преувеличивать. А то полемика нас часто заставляет выпячивать какие-то отдельные детали, так же, как соперники наши упорно выпячивают что-то другое. Не надо терять ощущения действительной пропорции.

Совершенно не обязательно, одним словом, перерабатывать текст, можно вместо этого наполнить его новым содержанием".

Таков спектр высказанных мнений по внутренней проблематике секулярного иудаизма. Но на симпозиуме, кроме того, обсуждался и не менее важный вопрос о взаимоотношениях секуляризма с ортодоксальными кругами и о месте религии в еврейском государстве.

Наиболее оптимистическая оценка тут принадлежала профессору Швайду, видящему определенные признаки сближения двух лагерей: не только светские демонстрируют возможность сочетания секулярных и традиционных элементов в рамках единого мировоззрения, но и религия, по его мнению, за последние столетия претерпела существенную секуляризацию, причем:

"... Речь вовсе не обязательно идет о том, что вера "сдает позиции", бывает и по-другому: религия у с в а и в а е т нечто воистину ценное, что присуще гуманистическому мировоззрению, превращая это в неотъемлемую принадлежность своего собственного духовного мира.

Явление это еще довольно необычно для израильского сознания. Но вот скажем, в протестантизме оно уже приобрело довольно широкий размах, и тот, кто знаком с тенденциями, характерными для новой христианской теологии (от Банхоффера до Эрликокка) знает, что многие видят в секуляризации процесс, начавшийся еще со времен Танаха-Библии, и более того, считают, что сама Библия и положила начало этому процессу. Таким образом, в идеале "светский человек" и есть человек; это человек достигший подлинной духовной зрелости, а значит "секулярность" обладает высшей ценностью даже с чисто религиозной точки зрения..."

В государстве же профессор Швайд видит приемлемую для обеих сторон рамку для налаживания сотрудничества, ибо именно государство Израиль и есть та ценность, которая признается как светскими, так и рели-

гиозными кругами. Тут он, учитывая возможные возражения, считает необходимым пояснить:

“Многие утверждают, будто религиозная часть израильского общества, в силу ее приверженности специфической нормативной системе взглядов, якобы не признает обязательности для себя законодательных норм секулярного государства. В интересах истины считаю необходимым недвусмысленно заявить: утверждение это представляет реальную ситуацию не только излишне упрощенно, но и просто по сути неверно. Разумеется, существуют ультраортодоксальные круги, для которых само словосочетание “суетское государство” звучит вопиюще. Но если говорить о подавляющем большинстве религиозных евреев Израиля, а уж тем более о тех, кто близок по воззрениям к национально-религиозной партии (Мафдал), то они несомненно признают обязывающий характер израильского законодательства.

Вы скажете, что проблема в действительности состоит в том, какое место в иерархии авторитетов отводит традиционное, укорененное в Торе мировоззрение, государству, как таковому. Ну что ж, тут следует разобраться. Ясно, кому в этой иерархии отведена высшая ступенька: для религиозного еврея верховным законодательным авторитетом была и остается Тора. Предположим на секунду, что в Израиле принимается закон, предписывающий нарушить те или иные религиозные предписания. Спросите любого человека, подчинится ли он этому постановлению? Ответом, разумеется, будет твердое “нет”. Думаю, кстати, что точно так же реагировали бы в аналогичной ситуации и католик, и протестант, живущие где-нибудь в Европе или в Америке. И, пожалуй, принятие подобного закона в любой стране воспринималось бы как нарушение демократических принципов.

Итак, высшая ступенька в законодательной иерархии отдана Торе. Но это не снимает вопроса о месте и авторитете государства. Недосказанность здесь является одним из факторов, порождающих время от времени очаги напряженности. Я бы хотел дать сейчас на поставленный вопрос совершенно недвусмысленный ответ. Ответ этот гласит: принципиальные положения самой Галахи указывают на то, что в о п р е д е л е н н ы х о б л а с т я х государство, как таковое, обладает легитимной законодательной властью во всей ее полноте, то есть эквивалентной власти Торы. И потому тот, кто нарушает соответствующие государственные постановления, преступает не только их, но и заповедь Торы.

Этим я вовсе не хочу сказать, что вообще нет почвы для возникновения острых моментов во взаимоотношениях религиозных и светских властей. Конечно, такая почва имеется — возьмите к примеру недавние проблемы с записью принявших иудаизм (прошедших гиюр) евреями в документах, да и другие трудности в том же роде. Но главное — это то, что есть принципальная галахическая основа для сосуществования синагоги и государства. А что до конфликтов, то они естественны и присущи законодательному процессу любой подлинно демократической страны, стремящейся учесть различные точки зрения. И возникают они вовсе не обязательно при столкновении государственной машины с религиозным мировоззрением, — с тем же успехом конфликт может быть результатом столкновения с мировоззрением светским. Ведь нерелигиозный человек тоже может в определенный момент решить, что государство обязывает его поступать противно убеждениям. Мы сталкивались уже с примерами такого рода — достаточно вспомнить хотя бы ливанскую войну и тех солдат, которые считали, что принимать в ней участие — значит идти против совести.

Непредвзятое рассмотрение показывает, что подобные дилеммы неизбежны и составляют, повторяю, неотъемлемую принадлежность демократического общественного устройства. По моему глубокому убеждению, именно в этом контексте и следует рассматривать взаимоотношения государства с подавляющим большинством религиозной части населения”.

Другие выступавшие не разделяют оптимизма Эли Швайда. По словам Игаля Элама, к примеру, упомянутое “усвоение ценностей, присущих гуманистическому мировоззрению”, на практике никак не проявляется. Он утверждает, в частности, что галахические круги не выдержали испытания современной ситуацией, не смогли дать ответа в духе религиозного гуманизма на основные вопросы, стоящие перед еврейским народом. С ним согласен Хаим Безр:

“Вот только сегодня купил я в Иерусалиме, в одном из магазинов наших проповедников возврата к религии, брошюрку под названием “Искры”, так там т ф л и н изображен в виде этакого космического корабля ... Или еще одна популярная тема: “Компьютер на службе Галахи”. В общем, скрижали Завета в сочетании с самым современным оборудованием. А вот еще примета времени: накануне пасхи в Бней-Браке продавали замечательный прибор под названием “На волне червяка”, состоящий из источника флюоресцентного свечения и мощной увеличивающей

линзы. Прибор предназначен для обнаружения червей, скрывающихся в листьях салата.

И это еще не все. Кому любопытно, может ознакомиться с бесконечными дебатами великих мужей Израиля о том, надо ли вешать мезуз в лифте, или с рассуждениями одного небезызвестного шута горохового, который в течение нескольких лет исследовал вопрос — и даже принимал по этому поводу галахические постановления, — как быть космонавту во время длительного полета? Ведь для него каждый виток — это вроде дня, так что же, зажигать субботние свечи через каждые семь витков, а ханукальные через каждые 360?

Так что ничего не скажешь, мир Галахи отвечает на вызов современности, но уж больно постыдным образом.

Не выдержал мир Галахи и испытания силой. Вдруг получилось так, что Израиль обрел мощь, он теперь в состоянии властвовать над другими. И что же? Ортодоксы выуживают законоположения, которые может и обладали какой-то привлекательностью в ту эпоху, когда евреи находились в подчиненном положении, но теперь... К примеру, берет некто Йаир Гильбершем предписание из книги Второзакония (7:2): "Не щади их", — относящееся к покоряемым обитателям земли Ханаанской, и объясняет читателям одной из газет Бней-Брака, что это надо понимать так: "Не выказывай им никакого благоволения". Скажем, рабочий-араб сделал что-то для тебя и сделал это хорошо, так не вздумай сказать ему: "Отлично сработано, дружище". И чаевых не вздумай давать, потому что это тоже знак благоволения. Тут уже целый набор разных рекомендаций разработан относительно того, как властвовать над другими. На наших глазах тенденция эта привела к созданию еврейского подполья. И она ясно свидетельствует: галахический иудаизм не знает, как справиться с проблемой..."

Беэр сомневается и в том, что еврейское государство может служить подходящей рамкой для сотрудничества между секулярными и религиозными кругами, так как последние по его мнению, на самом деле, государство это в лучшем случае терпят. Нетрудно заметить, что говоря об ортодоксах, Эли Швайд и Хаим Беэр словно бы имеют в виду совершенно разных людей, создают совершенно разные образы мира ортодоксии, опираясь, по-видимому, на разный личный опыт. Вот каков опыт Беэра:

"... Так говорит гаон из Бриска (эта цитата приводится в пособии для учителей "Бет Яакова"): "Государство" — это эллинская, чуждая нам идея. Нам до него нет никакого дела". Или вот высказывание другого их мудреца и авторитета рава Ротера ...

приведенное в той же книге: “Тайна нашего существования никак не связана со страной, в которой мы живем, с языком, на котором мы говорим. Тайна нашего существования – в... нашей святой Торе, которая всегда с нами. Никому и ничему не дано разорвать связь между нами. Мы не нуждаемся в родине, чтобы поддерживать наше существование. В пустыне мы получили Тору – и даже в пустыне сможем исполнять ее предписания, ибо в ней наша жизнь и долголетие...”

Этот подход, говорит Хаим Безр, характерен для одного фланга ортодоксии, фланга Нетурей Карта. Другой же фланг представлен учением рава Кука и его последователей. Здесь – в результате столкновения с феноменом массового безверия – сформировался подход к нынешнему государству, как к временно необходимой, обусловленной всемирно-исторической схемой Спасения, ступени на пути к наступлению мессианского Царства, – так сказать, теория государства предмессианских времен. Такой подход позволяет примириться с нынешним государством Израиль в качестве временного явления на пути к более высокому предназначению, к исполнению трех заповедей, данных израильтянам, когда они входили в землю Ханаанскую: построить Храм, уничтожить Амалека и поставить над собою царя. Здесь нет и речи о признании демократической структуры, утверждает Безр, ибо источник авторитета и полномочий по-прежнему находится в н е н а р о д а : он передан в руки специфической мессианской историографии. Безр продолжает:

“...Разногласия между Гуш Эмуним и людьми рава Кахане вкупе с адептами Храмовой горы состоят не в том, надо ли эти три заповеди исполнять, а лишь в шкале предпочтений. Рав Куксын считает, что прежде всего необходимо царство, а потом уже все остальное, ибо у мицвот имеется определенная иерархия. Другие же утверждают, что нет такой иерархии, можно приступить к делу и без царства... Итак, с одной стороны – мессианская группа... а с другой – Нетурей Карта... Таковы крайние точки спектра. Кстати, когда секретаря общины х а р е д и м спросили, каково его отношение к современному Израилю, он ответил, что даже если рав Вайс станет тут премьер-министром, а Сатмарский рабби министром обороны, они все равно обратятся к народам мира и возвратят им мандат на управление... На вопрос, кому возвратят, не англичанам ли, он сказал, что хоть и англичанам”.

Это что касается полюсов.

“Середину же спектра заполняет (по мнению Безра) мощная группа циников-прагматиков. Условно говоря, это лагерь Агудат Исраэль, видящий в государстве просто еще один источник финансирования, нечто вроде банкомата. Такое устройство, из которо-

го можно тянуть и тянуть, пока оно не слопаёт твою банковскую карточку”.

Ни одна из этих групп не принимает всерьёз демократической структуры, секулярного закона, все они тем или иным способом пережидают, пока, наконец, Бог не воцарится на земле и не покончит с нашими временными институтами.

Амос Эйлон тоже не замечает особых признаков сотрудничества. Он подчеркивает исходящую от ортодоксальных кругов угрозу, указывая на то, что пока светские тут спорят, размышляют, ищут себя, пытаются выяснить, что значит “быть евреем”, религиозные группы, хоть и не относятся к государству всерьёз, тем не менее прекрасно используют его демократические институты, ведя довольно успешную борьбу за власть и влияние. С его точки зрения, не стоит слишком всерьёз принимать религиозные концепции, как это делает Безр, и считать, что именно они стоят за теми или иными действиями ортодоксов. Последние, говорит он, тоже люди, а поэтому движимы в основном мотивами куда более элементарными — стремлением к силе и власти.

Не было единодушия среди выступавших по вопросу о желательном характере еврейского государства. Все они защищали демократическую структуру, но если одни готовы были примириться с компромиссным характером этой демократии, то другие выражали недоумение: как вообще можно говорить о каком-то особом “еврейском государстве” — для них это что-то вроде “еврейской физики”. Вот что говорит Хаим Безр:

“Теперь еще надо задать себе вопрос: ...о каком государстве идет речь? Если о диктатуре, то там, разумеется, все возможно. Но если о государстве демократическом, то оно не может быть “еврейским” или “галахическим” — это просто несовместимо.

Коренной вопрос состоит в том, где для нас источник авторитета и полномочий. При демократии таким источником является сам народ, в случае “государства Галахи” — он вне народа, на небесах, или, скажем, делегирован толкователям Торы.

... Характерно еврейское, специфически еврейское... Мне это напоминает, как однажды, совсем молодым еще человеком, оказался я в Лондоне. Английский мой был не слишком, без тонкостей... Увидел я вывеску, на которой было слово КОШЕР. Вошел внутрь, а там выяснилось, что имеется в виду В СТИЛЕ КОШЕР, то есть только “в стиле”, а не на самом деле. Так и государство “с еврейской спецификой”... Это первый трэф, которым меня в жизни накормили... Вроде той вывески... И не то, и не се, а так, гибрид какой-то...”

Об истории формирования этого любопытного гибрида размышляет писатель Амос Эйлон:

“Я уже говорил выше, что понятие “еврейский” не поддается

попыткам удовлетворительной дефиниции, и в этой связи хочу еще раз напомнить вам, как человек, занимавшийся историей сионизма, что это государство вовсе не мыслилось его отцами-основателями, как специфически "еврейское". Большинство мыслителей и вождей раннего сионизма были укоренены в либеральной традиции XIX века, были пророками светского государства. Либиенблум, Пинскер и Бен-Иегуда входили в резкие столкновения с ортодоксами, в то время как Герцль пытался последних, по его выражению, "нейтрализовать".

Герцль, кстати, совершенно не хотел создания "еврейского государства" — он говорил о "государстве евреев", что далеко не одно и то же. Имелось в виду государство светское и плюралистическое, новое общество, в котором мы, евреи, наряду со всеми остальными, чувствовали бы себя нормально. Подобно большинству своих коллег, Герцль не принимал всерьез арабского национализма и, посетив Палестину, арабов попросту не заметил — они растаяли в воздухе, как в сказках Тысячи и Одной ночи.

Но Герцль не заметил не только арабов — он не смог правильно оценить и проснувшиеся в еврейской среде эгоцентрические и этноцентрические силы, силы, высвободившиеся сначала, как следствие национального возрождения, а потом чрезвычайно окрепшие, как реакция на Катастрофу. Последней он не мог предвидеть, хотя приближение некоей неясной трагедии ощущал всем своим существом. Сегодня мы понимаем, что Герцль и другие преувеличивали влияние либеральной составляющей сионизма, недооценив те темные атавистические силы, ту стихию иррационального, которую тот же сионизм вызвал к жизни. Несмотря на эту их — столь очевидную сегодня — недалекость, стоит вспомнить, чего же все-таки отцы-основатели хотели.

В том, что первые сионисты провозглашали своей целью либеральное государство, нет ничего удивительного — они были детьми либеральной и антиклерикальной эпохи, породившей и другие национальные движения в Европе. В своей книге "Альтнхейланд" — многие это, видимо, забыли — Герцль не говорит даже о г о с у д а р с т в е . Устами своего героя Литвака ... он провозглашает "вольную республику": "Мы не похожи на другие современные государства, мы скорее этакая "вольная республика", основанная на добровольном объединении ее членов".

Табенкин, находившийся на другом полюсе политического спектра сионизма, тоже не стремился к образованию "нормаль-

ной национальной государственной структуры” — он мечтал о республике свободных кибуцев. Деятели Второй и Третьей алии вдохновлял, в свою очередь, еще один идеал, — постоянно возвращающийся и столь же постоянно проваливающийся идеал всех революций, — создание Народного Совета, как органа прямой демократии.

Даже деятели движения Мизрахи не хотели “еврейского государства”. Рассказывают историю про раввинов, посетивших во время одного из конгрессов Теодора Герцля. Проведя у него дома несколько часов, раввины возвратились с ликованием. “Чему вы радуетесь? — спросили у них. — Ведь он ест тrefное и не потрудился даже обрезать собственного сына!” — “Это-то и хорошо, что Герцль не религиозный, — ответствовали раввины, — в противном случае нам пришлось бы заклеить его как лжемессию”.

Таким образом, утверждает Эйлон, стремление жить в секулярном и б е р а л ь н о м “государстве евреев” (а не “еврейском государстве”) есть не только исконно сионистское стремление; оно соответствует и ответственному религиозному мировоззрению:

“Я — за диалог и с религиозными, и даже с ультраортодоксами. Единственное, в чем я отказываю Галахе, так это в принудительном авторитете. Я — за то, чтобы в стране правил закон, а не Галаха. Я полагаю, что свободное общество вправе жить под сенью тех законов, которые оно само для себя, в рамках демократического законодательного процесса, устанавливает. Я не принимаю такого положения, когда избирательное право, так сказать, распространяется и на мертвых.

Более того, я убежден, что большинство израильтян разделяют такую позицию ... Эта страна гораздо более светская, чем это кажется тем, кто про нее пишет... Вы, естественно, спросите, почему подобная тенденция не находит себе политического или парламентского выражения. Причина здесь ... в том, что к нашему несчастью, в стране существует разрыв между тем, что я бы назвал “государством законодательства”, и тем, что является “государством реальности”...

Первое постоянно пытается свести на нет эмансипацию, принимает псевдорелигиозные законы и вообще во многих смыслах отбрасывает нас к Средневековью. В противоположность ему наше “государство реальности” имеет ярко выраженный светский характер. Конечно, Иерусалим и тут является чем-то особенным, Иерусалим — это не Израиль, это другая планета. А вот те, кто живет в приморских районах, прекрасно знают, что тамошние

светские израильтяне ежедневно голосуют за свободный секулярный образ жизни. Голосуют ногами, по субботам — колесами, а по вечерам — во всевозможных ресторанах — своими желудками. Это и есть та страна, про которую действительно можно сказать, что она светская, что она либеральная и что она свободная.

Именно в рамках этого “государства реальности” родилась наша современная культура, произошло чудо возрождения языка ... стали возможными ... те способы самовыражения, которые характеризуют нашу жизнь, как израильтян, позволяют нам переживать ее сегодняшнее биение. Впрочем, не только сегодняшнее — этому “государству реальности” уже почти сто лет, и на характер моих сверстников оно оказывает не меньшее, не побоюсь даже сказать — большее влияние, чем многовековое национальное наследие.

Что же до разрыва между “законодательством” и реальностью... Я считаю, что причины его надо искать в нашем политическом устройстве, которое дало решающий голос десяти, ну, самое большее — пятнадцати процентам депутатов Кнессета.

Я, разумеется, не хочу преуменьшать роль определенных психологических факторов, вызвавших в течение последних тридцати лет настоящий взрыв еврейской ностальгии, очень серьезных факторов, побудивших таких светских деятелей, как Голда Меир и Леви Эшкол, открыть для себя ностальгический “идишкайт”, когда им перевалило за шестьдесят. Велика здесь, безусловно, роль Катастрофы.

... В новой биографии Ханы Арендт описана ее беседа с Голдой Меир, во время которой — дело происходит в 1962–1963 году! — Арендт жалуется на религиозное засилье в Израиле и говорит, что засилье это угрожает свободе. А Голда ей отвечает: “Я не свободу люблю, я еврейский народ люблю”. Это тогда потрясло Арендт, и немудрено... Так что я не преуменьшаю упомянутых факторов культурно-психологического плана, вызвавших, в конце концов, кризис в поколении отцов-основателей и в следующем за ним поколении. И все-таки решающая роль принадлежала здесь соображениям политического характера, была здесь, да и есть до сих пор все та же борьба за власть...

Увы, наша политическая система, обеспечившая нам достойные человека права... уже давно не соответствует наличной действительности...”

Амос Эйлон указывает на критический момент в истории Израиля, когда,

по его мнению, была упущена возможность реализовать либеральные государственные установки отцов сионизма:

“Во время осады Иерусалима в 1948 году меня послали с донесением на командный пункт Хаганы. Он находился в здании Сохнута на Керен Кайемет. Я был совсем молодым пареньком. Прибыл. Прошел по длинному полутемному коридору и по ошибке открыл не ту дверь. В комнате сидел Лео Коэн, хороший знакомый моих родителей. Он спросил меня — за окном в это время рвались мины и снаряды: “Ты что тут делаешь?” — “Ищу командный пункт, — отвечаю, — должен передать пакет”. — “А, это не здесь, — говорит Лео, — тебе надо в подвал спуститься”. Тогда и я спрашиваю, в свою очередь: “А ты что здесь делаешь?” — “Я? — удивился он. — Как что, пишу конституцию для Государства Израиль”.

Эту сцену я навсегда запомнил. Надо сказать, что задним числом она представляется куда более сюрреалистической, чем выглядела тогда. Эх, если бы в свое время была принята Конституция, мы бы не оказались в том положении, в котором оказались. Конституция, какой ее представлял себе Лео Коэн и которую политический истеблишмент Израиля отверг, исходя из соображений, связанных со стремлением удержать власть... Именно исходя из этого, а не то, что, Боже упаси, по причинам идеологического характера.

Конституция такого рода позаботилась бы об отделении религии от государства. Но она не была утверждена потому, что Бен-Гурион, то есть человек, обладавший достаточным влиянием, чтобы добиться такого отделения в рамках либерального законодательства, вынужден был создать коалицию. Выбор представлялся такой: либо с левой партией Мапам, либо с общими сионистами. Но союза с Мапам он не хотел по внешнеполитическим причинам, а союза с общими сионистами, наоборот, по соображениям внутривнутриполитическим. Так и получилось, что в ту минуту самой удобной оказалась коалиция с равом Маймоном.

Рав Маймон, судя по всему, был согласен на что угодно: хоть в Варшавский пакт вступить, хоть в НАТО, хоть коммунизм тут устроить, хоть капитализм — главное, чтобы автобусы по субботам не ходили. Для Бен-Гуриона это было маленькой ценой, и он с готовностью ее заплатил...

Ну ладно, пусть нет конституции, но хотя бы вовремя провели реформу избирательной системы, ввели бы голосование лично за каждого кандидата, а не по партийным спискам — и этого было

бы достаточно, чтобы свести на нет нынешний разрыв между сферой реальности и сферой законодательства...”

Эйлон считает, что политика компромисса в законодательной области не оправдала себя, и ратует за твердое отстаивание последовательной секулярной позиции:

“Запугали нас в свое время, что так называемая “война” светской и религиозной культур якобы приведет к расколу в народе. Боюсь, что то, что мы получили в результате, пав жертвой стремления к “консенсусу”, есть еще худший раскол. Отсутствие основных гражданских свобод — вот главное упущение последних сорока лет ... Но еще не поздно. В обществе сейчас чувствуется сильная неудовлетворенность, да и большой интерес к нашему симпозиуму тоже о многом свидетельствует. Я понимаю, что очень трудно бороться за то, за что я призываю вас бороться... Трудно бороться во имя рационального принципа против того, что есть проявление иррационального...

Но я думаю, что борьба имеет смысл, более того, она жизненно необходима. И не надо забывать, что происходит она прежде всего в наших душах. Покойный Гершом Шолем однажды заметил — уж не знаю, всерьез или иронически, — что если евреи на протяжении стольких веков, вопреки всем тяготам и ужасам, вопреки колоссальным жертвам упорно плодились и размножались, то видно и вправду кто-то где-то их для чего-то избрал. Но для чего? Что стоит за неопределенным “для чего-то” Шолема? Неужели для того, чтобы создать еще одну Албанию с хомейнистским уклоном? Вооруженное до зубов гетто, сочетающее шовинизм с религиозным хомейнизмом? Религию с культом земли? И ради этого нас кто-то избрал? Я отказываюсь в это верить. Но если это, не дай Бог, действительно так, если действительно таково наше призвание, то я предлагаю взвесить: не является ли цена, которую пришлось заплатить евреям (да и арабам) и еще придется заплатить в будущем, слишком высокой для такой цели?..”

С некоторой неуверенностью заканчиваю я на этом обзор материалов Симпозиума. С неуверенностью потому, что точка пришлась на резкое и, в общем, не оставляющее особых надежд на гармоническое разрешение ситуации выступление Амоса Эйлона. С трудом подавляю желание как-нибудь по-другому организовать материал, предоставив заключительное слово Эли Швайду с его концепцией взаимообогащения и взаимопроникновения религиозной и светской культур в рамках израильского государ-

ства или Иермиягу Йовелю с его программой осуществления синтеза на личном уровне. Увы, как ни переставляй цитаты из выступлений, все равно полного "равновесия" не соблюсти — разве что напечатать их параллельно, отведя каждому по доле страницы, но последнее приведет к излишним типографским трудностям и вряд ли будет одобрено редакцией. Потому оставляю все, как оно сложилось...

У такого, в значительной мере случайно сложившегося заключительного аккорда есть по крайней мере одно преимущество: драматичностью своей он вполне соответствует напряженности и проблематичности духовной ситуации в стране.

*Сергей Рузер — окончил мехмат МГУ; в Израиле с 1987 года, живет в Иерусалиме; переводчик, автор цикла рассказов, один из которых опубликован в журнале "22".*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

Новая книга

**НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ — СОРОК ВОСЕМЬ"**

*(сборник фантастических пьес)*

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Цена 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow—Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

## РУССКИЙ ВОПРОС

*“Различие между нелегальной и легальной печатью, это печальное наследие эпохи крепостнической, самодержавной России, начинает исчезать”.*

*В. И. Ленин*

*“Партийная организация и партийная литература”*

Язык “перестройки” и перестройка языка. Вопрос о том, сам ли Горбачев написал книгу или подписал написанное другим (-и), представляется мало-значительным: готовность принять на себя всю меру ответственности за сказанное важнее наличия (или отсутствия) у Горбачева литературных способностей и амбиций. Выбор определенной системы высказываний не менее красноречив, чем аутентичная речь. Если перед нами и не собственный язык Горбачева, то, по крайней мере, язык, которым он хочет говорить, описывать и объяснить мир.

В сравнении с предыдущей — “Избранные речи и статьи” (1985), — новая книга Горбачева поражает радикальной сменной интонации, новым словарем и новым жанром — от собрания произнесенных по разным поводам и в разное время речей к единому повествованию, от установки на слушателя к установке на читателя.

Чтобы оценить действительные размеры этой жанрово-лек-

*Майя Казанская*

### МАРКСИЗМ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

(Об историческом значении работы М. С. Горбачева “Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира”)

сической перестройки (она же "новое мышление"), необходимо ясно представлять, в какой традиции работает Горбачев, точнее — какую традицию он нарушает.

Династия советских вождей после Ленина и до Черненко — держалась в рамках ритуально-безличного, анонимного высказывания, чья иератическая анонимность и безличность уже сама по себе символизировала объективную, научную и абсолютную истину. Горбачев порывает с этой традицией и взрывает ее, систематически прибегая к "Ich — Erzählung" — "Я — Повествованию":

*"Я лишний раз ощутил, что мои раздумья совпадают с настроем товарищей по партии (...) после этого своего выступления почувствовал и другое: не всем мой доклад понравился (...)"* (с. 20—21); *"Мне нравится это слово — прибавить. Для меня оно не просто девиз, а повседневное состояние..."* (с. 24—25); *"Этот образ пришел мне как-то на ум в ходе одной из бесед"* (с. 203); *"Еще во время учебы в Московском университете я интересовался историей Соединенных Штатов..."* (с. 220).

Такой интимно-исповедальный тон тем более поразителен, что Горбачев, в основном, изъясняется на "советском" языке, столь же родном для него, как собственно русский.

Этот все еще живой "советский" язык определяется следующими признаками: 1. Советский язык описывает не реальность, но идеальное представление о ней. Это идеальное представление исходит от власти и господствующей идеологии. 2. Любое изменение в этом языке свидетельствует об изменении представлений о реальности, то есть об изменении в идеологии или политике власти. 3. Отсюда вытекает абсолютная и сознательно поддерживаемая консервативность советского языка. Его неизменность призвана утвердить неизменность идеальной действительности. 4. Отношение между десигнатом и денотатом (означающим и означаемым) в советском языке регулируются специфическим истолкованием реальности, что порождает разветвленную и жесткую систему терминов, метафор, метонимий, клише и т. д. Иными словами, это язык строго ритуализованный и сурово табуированный. "По-советски" нельзя, например, сказать "сталинский террор" или "уничтожение крестьянства", но можно: "культ личности", "нарушения социалистической законности", "перегибы в колхозном строительстве" и т. п.

Горбачев, конечно, пользуется советским языком. Более того, советский язык поставляет ему основное речевое "сырье", орга-

низует “морфологию” (набор клише, формул, идиом и т. д.) и “синтаксис” (правила их сочетания).

Примером может служить хотя бы такой фрагмент из книги: “Мы располагаем прочным материальным фундаментом, большим опытом, духовным кругозором для того, чтобы целеустремленно и непрерывно совершенствовать наше общество, добиваясь все более высокой отдачи — как количественной, так и качественной — от всей нашей деятельности” (с. 5).

“Прочный материальный фундамент”, “целеустремленно и непрерывно”, “высокая отдача”, “количественно и качественно” — все это нормативные, так сказать, грамматические единицы советского языка, или, прибегая к лингвистическим категориям И. В. Сталина, “основной словарный фонд”.

Изменения, однако, произошли в самом главном — идеологической функции языка. Эта функция, превращающая действительность в фикцию, оставаясь по-прежнему идеологической, становится более рационально приемлемой, поскольку книга прямо и откровенно посвящена не идеальной действительности, но идеалу действительности, то есть тому, какой должна стать жизнь в результате перестройки, а также самой перестройке как средству осуществления провозглашенного идеала. В этом плане показателен отказ Горбачева от статистических аргументов и количественных доказательств: “я сознательно не перегружал книгу фактическими данными, цифрами, подробностями... Это — книга о наших замыслах, о том, как мы собираемся их реализовать...” (стр. 3) (Здесь и далее подчеркнуто мною — М. К.).

В советском языке всякого рода “фактические данные, цифры, подробности” (проценты роста и прироста, количество чугуна или машин стиральных на душу населения и т. п.) — такая же неотъемлемая часть словаря, как сами слова.

Независимо от того, насколько цифры соответствуют (или не соответствуют) реальному положению дел, — свое языковое предназначение они выполняют всегда: *их роль — это роль настоящего времени*, манифестация наличного, свидетельство уже достигнутого (“прочный материальный фундамент”) или достижимого в ближайшем будущем (“перспективные цифры пятилетнего плана”).

“Сознательный отказ” от цифровой магии — это косвенное признание исчерпанности, кризиса советского языка как средства описания.

Такой отказ тождествен по смыслу острой критике, которой Горбачев подвергает предшествующий период:

“Разумеется, перестройка стимулирована в значительной мере нашей неудовлетворенностью тем, как шли дела в стране в последние годы... Темпы прироста национального дохода за последние три пятилетки уменьшились более чем вдвое, а к началу 80-х годов они упали до уровня, который фактически приблизил нас к экономической стагнации” (стр. 3; 13).

Но самые радикальные сдвиги произошли в сфере лексики. Эмоциональная атмосфера новой горбачевской лексики отчетливо, если не осознанно, противостоит безоблачно-оптимистическому климату традиционного советского языка. Ее преимущественная тональность — драматическая, когда речь идет о прошлом (или недостатках в настоящем) советского общества, трагическая и даже апокалиптическая, когда речь заходит о возможном будущем человечества.

Лед тронулся. Наше изумление еще более возрастет, когда мы обнаружим, что драматический словарь Горбачева выстроен из терминов и понятий философии экзистенциализма:

“Отчужденность — это зло” (с. 234); “начало все более проявляться отчуждение человека от всенародного достояния” (с. 44); “Человек защищен от стихии жизни и мы гордимся этим” (с. 26); “Вступив в ядерный век, (...) человечество лишилось бессмертия” (с. 140); “...послезавтрашний день может и не наступить вовсе” (с. 143) и т. д.

В высшей степени примечательно употребление Горбачевым классического экзистенциалистского понятия “отчужденность”. В первом случае — “Отчужденность — это зло” — оно призвано подчеркнуть нестерпимость и опасность существующих между Советским Союзом и США отношений. Во втором случае — “...начало проявляться отчуждение человека от всенародного достояния” — термин уже относится не к человеку вообще, но к советскому человеку и описывает ситуацию внутри самого советского общества “догорбачевской” эпохи, так что в целом фраза представляет собой версию фундаментального положения экзистенциализма — “отчуждение личности от общества”.

Любопытна “биография” самого термина “отчуждение” в советской культуре. Его появление здесь датируется шестидесятыми годами. Категория “отчуждения” и вместе с ней экзистенциалистская философия легализуются в эти годы двумя путями. Появляется, во-первых, поток критической литературы (статьи и сбор-

ники), опровергающей буржуазный экзистенциализм с позиций марксистско-ленинского мировоззрения.

Для широких кругов советской интеллигенции, не имевшей доступа к первоисточникам, эти публикации обладали только одной ценностью: советские авторы обильно цитировали "идейных врагов", так что по цитатам можно было составить некоторое представление об экзистенциализме вообще и частных отличиях Сартра от Хайдеггера, Хайдеггера от Ясперса или Камю от Сартра.

В то же время возник другой, менее унижительный для интеллектуального достоинства путь приобщения к новой философской культуре Запада.

Группа молодых советских философов-неомарксистов (Батищев, Ильенков, Давыдов, Гулыга), заявившая о себе в конце 50-х — начале 60-х годов, опираясь на то, что категория "отчуждения" впервые встречается в работах молодого Маркса, попыталась ввести в советский общекультурный и специально философский оборот и сам термин, и его философское окружение. В таком контексте многозначительная фраза Горбачева о том, что в "доперестроечный", то есть брежневский период, в советском обществе "начало проявляться отчуждение человека от всенародного достояния", восходит не только к общеэкзистенциалистской аксиоме, но и к собственно марксову положению об "отчуждении человека от средств производства" в капиталистическом обществе.

Советскому неомарксизму не суждено было развиваться. Тем не менее, хотя из брошенной искры и не возгорелось пламя, скорбный труд неомарксистов не вовсе пропал.

Идейно, профессионально, психологически связанные с неомарксизмом и неомарксистами молодые гуманитарии — философы, публицисты, критики, историки культуры (Аверинцев, Гайденок, Палиевский) — в течение второй половины 60-х — первой 70-х годов публиковали впечатляющее количество статей, рецензий, монографий, посвященных современной западной художественной и философской литературе, эстетике, "массовой культуре" и т. д. В результате, экзистенциализм приобрел в интеллигентской среде статус "философии жизни", противостоящей официальной идеологии; экзистенциалистская терминология, анахронически смешанная с фрейдистским жаргоном, превратилась в интеллигентский сленг ("экзистенциально", "комплекс непол-

ноценности", "отчуждение", "пограничная ситуация", "общество потребления" и т. п.) .

Если к этому "джентльменскому набору" прибавить цитаты из дилогии Ильфа и Петрова и поэтов в диапазоне от полузапретных Мандельштама, Пастернака и Ахматовой до неугодных Евтушенко, Вознесенского и Ахмадуллиной, — то мы получим близкий к оригиналу "словесный портрет" советского интеллигента 60-х годов.

А вот лексические "жесты" Горбачева. В главе VII, посвященной "Проблемам разоружения и советско-американским отношениям", Горбачев задается вопросом:

"Что же, *"лед тронулся"*, отношения вступают в какую-то более спокойную и конструктивную фазу?" (с. 220) .

Кавычками Горбачев показывает, что *"Лед тронулся"* — это цитата. Но для западного читателя ни цитата (*"Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Командовать парадом буду я!"*), ни указание на ее источник (И. Ильф и Е. Петров, *"Золотой теленок"*) не представляют интереса, поскольку не несут никакой дополнительной информации. Иное дело — читатель советский, особенно поколения Горбачева (или несколько моложе): он не нуждается ни в комментариях, ни даже в припоминании, ибо Ильф и Петров — часть его собственной жизни, опыта и языка.

К сожалению, в книгу не вошла речь М. С. Горбачева, произнесенная 16 февраля 1987 года на форуме "За безъядерный мир, за выживание человечества". Эта речь дает нам образцы еще большей, чем в книге, откровенности лексических навыков. Здесь мы находим, к примеру, такую фразу:

"Хочу еще раз сказать о Рейкьявике. Это был не провал, а прорыв".

Среди советских интеллигентов — читателей Горбачева найдется — я уверена — немало поклонников и знатоков поэзии О. Мандельштама, способных сразу разглядеть за патетической формулой Горбачева ее первоисточник:

Нам союзно лишь то, что избыточно,  
Впереди — *не провал, а промер,*  
И бороться за воздух прожиточный —  
*Это слава другим не в пример.*

Воздадим должное изобретательности и вкусу "соавторов" и сотрудников Горбачева: они не только сохранили орфоэпический

облик слов ("про-мер" — "про-рыв"), но и размер (анapest) мандельштамовской строки:

Впереди — не провал, а промер...  
Это был не провал, а прорыв.

Нет сомнения и в том, что строчка из Мандельштама попала сюда не случайно: весь пафос "Стихов о неизвестном солдате" учитывался цитирующим (-и). Пророческий ужас Мандельштама перед массовым уничтожением в какой-то грядущей всемирной войне и был выбран как наиболее адекватный фон для панорамы атомного апокалипсиса:

Миллионы убитых задешево  
Протоптали тропу в пустоте...  
Небо крупных оптовых смертей...  
Эй, товарищество — шар земной!

Не ускользнули, видимо, от внимания составителей речи и про-ороческие черты, роднящие поэта с провозвестником "нового мышления для всего мира":

Я — не Битва Народов. Я — новое, —  
От меня будет свету светло.

Но и этого мало. Только человек, совершенно незнакомый с русской литературой, не поймет, что на обличовку фразы:

"...нельзя не признавать, что "ядерная охранная грамота" не безотказна и не бессрочна", —

пошла "Охранная грамота" Б. Пастернака.

Примечательно, что в той же VII главе, где "Лед тронулся", мы встречаем термин "комплекс неполноценности" и, — что еще примечательней, — находим его в параграфе под вызывающим названием: "Отчужденность — это зло" —

"Прямо сказали: пора кончать с комплексом неполноценности" (с. 234).

Повод, по которому генсек прибегает к фрейдистскому термину, не менее примечателен, чем его употребление. Речь идет о советском комплексе неполноценности по отношению к технологической мощи США. Откровенности признания соответствует неординарность выражения.

...Итак, рефлексия ("я ощутил", "мне нравится", "пришел мне как-то на ум"), "отчужденность", "комплекс неполноценности", "лед тронулся", а вот уже и Мандельштам с Пастернаком...

Количественно не впечатляющий, семантически этот ряд предельно напряжен: здесь каждое слово — маркировано, за каждым — эпоха, социальная среда, культурный уровень. Какая личность скрывается за этим рядом? Какая психология извлекается из этой лексикографии?

Ответ очевиден: перед нами советский интеллигент—"шестидесятник", либерал, диссидент и западник, разделяющий идеологические и культурные увлечения, заблуждения и пристрастия поколения. Даже столь характерные для "шестидесятника" горечь и разочарование, драматизм, если не трагизм, мироощущения отчетливо слышны в рассуждениях Горбачева, о чем бы он ни говорил. Более того, именно горечь и разочарование, как в том прямо и неоднократно признается сам генеральный секретарь, были главным стимулом "перестройки", а трагическое видение мира — основой "нового мышления".

Чудо, о котором поколения русских либеральных интеллигентов мечтали так долго, что перестали надеяться, — это чудо свершилось: к руководству страной пришел интеллигент и либерал нового типа — 60-х годов XX века.

И все же для такого оптимистического вывода у нас пока мало данных, я имею в виду — лингвистических данных. Если количество и не обязательно переходит в качество, — оно всегда о нем свидетельствует.

**От морали к нравственности.** Кроме драгоценных диссидентско-либеральных "нот", в общей полифонии книги обнаруживается еще один слой, куда более мощный. Он тоже выламывается из "советского языка", но принадлежит лексике, которую — предварительно и в общем виде — мы бы охарактеризовали как "моральную". Ее самое репрезентативное слово — по частоте появления и содержательной нагрузке — **"н р а в с т в е н н о с т ь"** ("ы й", "а я"). Слово "нравственность", в свою очередь, выступает обычно в паре или рядом со словом "перестройка". Поскольку же саму "перестройку" Горбачев объявляет "революци-

ей\*, уясняется, тем самым, и характер революции: это революция нравственная, “революция духа”.

“Люди, обладавшие чувством справедливости, большевистской принципиальностью, критиковали укоренившуюся практику ведения дел, с беспокойством отмечали симптомы *нравственной деградации*, эрозии революционных, социалистических ценностей (...)” (с. 19); “(...) писатели, деятели кино и театра поддерживали *веру* в идейные завоевания социализма, *надежду* на *духовное возрождение* общества, (...) воспитывали в людях *нравственную готовность* к перестройке” (с. 19); “Но одновременно мы взяли за изменение *нравственно-психологической обстановки в обществе*. (...) В “котле” перестройки переплавится общество и прежде всего сам человек. Это будет *обновленное общество*” (с. 23–24); “Сегодня наиважнейшая задача — подымать человека *духовно*, уважая его внутренний мир, укрепляя его *нравственные позиции*” (с. 24); “(...) будут полностью задействованы *нравственные рычаги*” (с. 60); “(...) пришел в движение *нравственный потенциал* общества. *Разум и совесть* в гармоничном порыве начали отвоевывать позиции у *разъедавших душу* пассивности и равнодушия” (с. 73); “Главной темой нашего обмена мыслями (на “Иссык-Кульском форуме” — М. К.) была проблема: гуманизм и политика, *нравственное* и интеллектуальное начало в политической деятельности в ядерную эпоху” (с. 158) и т. д.

В литературном русском языке понятия “мораль” и “нравственность” не тождественны, тем не менее, четкой семантической границы между ними нет, в принципе они взаимозаменяемы, и употребление одного слова в значении другого легитимно и встречается на каждом шагу. В отличие от этой общезыковой ситуации “догорбачевский” советский язык пользовался исключительно словом “мораль”. С первых же лет революции и советской власти мораль как таковая признавалась не универсальной общечеловеческой ценностью, но функцией исторического времени и классовых интересов. В соответствии с этим мораль делилась на прогрессивную (“революционная мораль”, “пролетарская мораль”) и реакционную — “мораль господствующих классов”, “буржуазная мораль”.

В послесталинский период мораль “революционная” и “пролетарская” преобразовалась в общее понятие “советской” или “коммунистической” морали, что должно было утвердить завершенность процесса построения социализма и советского общества.

---

\* “Перестройка — многозначное чрезвычайно емкое слово. Но если из многих его возможных синонимов выбрать ключевой, ближе всего выражающий саму его суть, то можно сказать так: перестройка — это революция” (с. 46).

При этом советская (она же коммунистическая) мораль неизменно противопоставлялась морали западной. Иными словами, "буржуазная мораль" была вытеснена на "буржуазный Запад", а недостатки, пороки и срывы в поведении отдельных советских граждан теперь объяснялись "пережитками (родимыми пятнами) прошлого" или проникновением ("тлетворным влиянием") Запада в сознание идейно нестойких ("идеологически разоружившихся") членов советского коллектива.

"Моральный кодекс строителя коммунизма", "коммунистическая мораль", "советская мораль", "моральный облик советского человека", "моральные нормы советского общества" и т. п. — такие клише покрывали весь спектр этических отношений в обществе. Эtos этих клишированных формул, однако, отнюдь не столь элементарен, как может показаться. Он заключается в том, что общество в целом полагается полноправным и естественным вместилищем и средоточием морали ("добра"), в то время как источником и носителем "греха" и "зла" может быть только отдельный человек или сообщество "оторвавшихся от коллектива" "отдельных лиц".

Радикальность "перестройки", которой подверг Горбачев один из самых устойчивых и фундаментальных секторов советской идеологии и советского языка, мы видим, прежде всего, в тотальном вытеснении слова "мораль" словом "нравственность"\*.

Языковой ломке соответствует столь же радикальное изменение этической концепции: по Горбачеву источником нравствен-

---

\* Приведем типичный пример "догорбачевских" рассуждений "на моральную тему", пример тем более любопытный, что рассуждение это принадлежит тому единственному из советских вождей (не считая Ленина, понятно), которого Горбачев считает своим предшественником и "духовным отцом" — Н. С. Хрущеву: "Надо воспитывать людей в духе коммунистической морали, в духе правдивости перед партией и народом. Чем больше и острее мы будем критиковать наши недостатки и ошибки людей, которые заражены всякого рода пережитками прошлого, тем быстрее мы будем вытравлять из нашей среды, из нашего здорового организма все то, что мешает нам еще успешнее двигаться вперед по пути строительства коммунизма". (Из речи Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КП Украины 28 января 1961 года.)

Как видим, в данном фрагменте практически полностью представлена и общая этическая концепция, и ее конкретные лексико-семантические блоки: общество — "здоровый организм", "большими" ("зараженными") могут быть только отдельные "клетки" ("ошибки людей"), причем болезнь диагностируется однозначно: "пережитки прошлого".

ной порчи явилось именно общество, а надежда на его исправление и улучшение целиком возлагается на отдельного человека ("...процесс обновления начинать надо с себя" /с. 53/).

**Чистилище.** Этическое восстание Горбачева окружено косной массой нормативного советского языка. Но ведь лексическая новизна воспринимается тем острее, чем рутинней окружение. Так, например, "чувство справедливости", принадлежащее, в сущности, словарю "абстрактного гуманизма", соседствует с "большевистской принципиальностью", "нравственная деградация" — с "революционными социалистическими ценностями", "духовное возрождение общества" и "нравственная перестройка" помещены в одну фразу с "идейными завоеваниями социализма"; в словосочетании "разум и совесть" легко опознается знаменитый афоризм: "Партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи". Тем неожиданной сочетание этой железобетонной формулы с "гармоничным порывом" и надрывом в конце фразы: "... начали отвоевывать позиции у *разъедавших* душу пассивности и равнодушия".

И тут сразу следует сказать, что новую горбачевскую лексику можно называть "новой" только в сравнении с советским языком.

Присмотримся, например, к построению такого высказывания: "(...) писатели, деятели кино и театра поддерживали *веру* в идейные завоевания социализма, *надежду* на духовное возрождение общества..." Из традиционной православной формулы "вера, надежда, любовь", предписывающей обязательный набор религиозных чувствований\*, в горбачевской фразе отсутствует только "любовь", но и она легко восстанавливается, поскольку сохранен ритуальный порядок слов: вера ("в идейные завоевания социализма"), надежда ("на духовное возрождение").

Не менее характерно слово "поочиститься" в такой фразе:

"Поочиститься надо всем, а у кого не получится — помочь. Главное — все делать по совести" (с. 53).

"Поочиститься" — грамматически возможная, но неосуществимая в русском литературном языке форма. Ее просторечный

---

\* Сочетание "вера, надежда, любовь" закреплено святыми, где в качестве женских имен оно приурочено к одному дню ангела (именинам), 18 сентября по старому стилю (29 — по новому).

облик, однако, не может (а видимо, и не призван) скрыть нормативный инфинитив: "очиститься". Слово же "очиститься" в языке закреплено за одним-единственным сочетанием: "очиститься от грехов". Учитывая возвратный залог глагола ("поочиститься") и его отчетливо религиозный характер, мы устанавливаем то базовое понятие, которым продиктован горбачевский призыв: "самоочищение". Наш вывод тем более справедлив, что Горбачев сам прибегает к этому слову, причем за три фразы до процитированной выше:

"Партия (...) сумела возглавить и развернуть процесс обновления общества, и начала она *с себя, с самоочищения*".

Как только сугубо индивидуальный процесс ("само-") перенесен на коллективную личность — партию, становится ясно, какие два понятия советского языка призвано вытеснить "самоочищение": это "самокритика" и "чистка партии".

Поставленная рядом с "самоочищением", "самокритика" неожиданно обнаруживает свои церковно-религиозные истоки: это вид публичного коммунистического покаяния, признание своих ошибок ("грехов") перед лицом секулярной церкви — партии. В противоположность "самокритике", "самоочищение" мыслится как переживание приватное, уединенное, только результат которого объявляется людям. "Самоочищение" партии, таким образом, предусматривает "нравственную перестройку" каждого из ее членов, что, в свою очередь, исключает необходимость насильственной "чистки" извне, проще говоря, — обращенного на партию террора. Этот, уже чисто политический аспект Горбачев подчеркивает неустанно, причем залогом бескровного характера "перестройки" служат не только заверения и обещания, но и новая, "благостная" лексика:

"(...) будет *несправедливым* отказать кому-либо в *праве* перестраиваться. (...) Надо *нам всем*, начиная с Генерального секретаря и до рабочего, менять мышление. (...) Необходимо преодолеть консерватизм *в самих себе*" (с. 62).

Эти воистину беспрецедентные рекомендации сам Горбачев объясняет стремлением "возродить живой дух ленинизма" (с. 62).

Вдумаемся, однако, что на самом деле означают апелляции к очищению и самоочищению? Перед каким духом равны и равно должны отчитываться ("менять мышление") и Генеральный секретарь и последний рабочий? Перед партийным духом? Но ведь и

партия "самоочищается"!... Кроме того, мы сразу спотыкаемся о разнородность понятий: очищать можно душу (в крайнем случае тело), но никак не мышление!

Все становится на свои места, когда за очищением и самоочищением, генсеком и рабочим, а также за столь любимыми Горбачевым, но крайне туманными "общечеловеческими нравственными ценностями", мы допустим существование совершенно иной системы — *религиозных нравственных ценностей*; иными словами, равенство — перед Богом, братство — во Христе и свободу — в Духе, пусть даже в угоду старой традиции названном "живым духом ленинизма".

Первый среди равных, испытавший на себе благотворное влияние этой новой духовности, — сам Горбачев:

"По себе вижу, как все мы меняемся в ходе перестройки" (с. 62).

Миру — міръ. Было бы, однако, ошибкой полагать, что отход от марксистской антропологии (вторичность индивида по отношению к обществу) в пользу антропологии религиозной, опирается у Горбачева на то, что принято называть "христианским персонализмом" — представление о свободе как метафизической характеристике и неотъемлемом достоянии личности. Коллективистский этос по-прежнему присутствует в построениях Горбачева, но это другой коллективизм, не коммунистический:

"Мы ведем перестройку все вместе, всем миром" (с. 62).

Слово "мир", особенно в словосочетании "всем миром", в том значении, какое оно имеет в русской историко-культурной традиции, на иностранных языки непереводимо. "Мир", а точнее — "міръ", — основополагающая категория славянофильской идеологии: "крестьянская община" как социологический термин, но, одновременно, высшая нравственная ценность, органический коллектив, носитель народной мудрости и социальной справедливости, мистическое вместилище народного духа. Именно в таком значении противопоставляли русский "міръ" индивидуалистическому буржуазному Западу славянофилы и "почвенники", и Герцен, и революционеры-народники. Последние, как известно, видели в русском крестьянском "міре" идеал естественного, "природного" социализма — в отличие от теоретического ("головного") социализма Запада. Уместно вспомнить, что теоретическое и политическое рождение большевизма датируется работой В. И. Ленина "Что такое "друзья народа", и как они воюют против социал-демократов?", на-

правленной против идеологии и мифологии народничества и утверждавшей капиталистическое, то есть западное, развитие России как уже свершившийся и непреложный факт.

Перед нами, таким образом, весьма странная, если не парадоксальная ситуация: генеральный секретарь КПСС возвращает советский (коммунистический) коллективизм к его национально-русским "корням" и культурной "почве". Убеждает в этом не только употребление одного идеологически маркированного слова ("мир"), но и весь его контекст: "Главная задача — включить в перестройку все общество. Социализм в нашем обществе развивается на своей собственной базе. Мы не ставили так вопрос, будто перестройку надо вести с другим народом, с другой партией, с другой наукой, с другой литературой и так далее. Нет. Мы ведем перестройку все вместе, всем миром. Весь интеллектуальный потенциал надо привести в действие" (с. 62).

Чтобы правильно прочесть этот многозначительный отрывок, необходимо держать в уме, во-первых, расшифровку понятия "перестройка", данную самим Горбачевым, — "Перестройка — это революция"; а во-вторых, горбачевское же разъяснение характера революции: это "революция сверху". Иными словами, как всякая "революция сверху", "перестройка" не должна и не хочет менять социально-экономическую структуру, то есть по-прежнему остается революцией социалистической. Но: "Социализм в нашем обществе развивается на своей собственной базе", иначе говоря, — отличается от социализма как мирового явления и процесса. А дальше следует прямая, насколько это возможно, полемика с той теорией и практикой социалистической революции, которые заложили фундамент советского общества в 20-е—30-е годы, на десятилетия вперед определили его облик, и в соответствии с которыми как раз и нужно было создавать "другую" (не буржуазную) науку, "другую" ("пролетарскую", "советскую") литературу, "другой" ("советский") народ и так далее. "Нет, — говорит Горбачев. — Мы ведем перестройку все вместе, всем миром". Значит: вместо революции на классовой основе, разделяющей общество — революция объединяющая, или, с учетом специфической лексики, революция национальная; вместо внешнего врага, классового и зарубежного — враг внутренний (в духовном смысле) — "нравственная порча", короче — вместо социальной революции — революция, словами Горбачева, "нравственно-психологическая", вместо нового общества и нового че-

ловека, которые были целью Октябрьской революции, — “это будет обновленное общество” и, соответственно, обновленный человек. (“В “котле” перестройки переплавится общество и прежде всего — сам человек. Это будет обновленное общество”).

Между “новым” (обществом, человеком) и “обновленным” (обществом, человеком) действительно существует принципиальная разница. “Обновленный человек” — это человек “почистившийся”, человек преображенный. Демиургии (“новый мир”) противопоставляется теургия, “чуду творения” — “таинство преображения”.

Что наше толкование не произвольно, но соответствует подлинному смыслу горбачевских высказываний, доказывает все тот же текст. Развивая идею обновления, Горбачев рассуждает:

“... Это будет обновленное общество. Вот за какое серьезнейшее дело мы взялись. Дело очень трудное. Ведь все можно по-разному интерпретировать и оценивать. Есть старая притча. Подходит путник к людям, которые возводят какое-то сооружение, и спрашивает у работников: что это вы делаете? Один раздраженно отвечает: да вот, гляди — с утра до ночи *чертовы* камни таскаем... Другой встал с колен, распрямился и с гордостью сказал: видишь, Храм строим!” (стр. 24).

Нам не удалось установить источник этой притчи, невозможно определить, какому народу или культуре она принадлежит, — христианской, исламской, буддийской? Скорее всего, данная “художественная иллюстрация” придумана *ad hoc*. Как бы то ни было, ее наличные жанр, стиль и язык куда важнее сомнительной аутентичности. А с этой точки зрения перед нами явное религиозное поучение и по смыслу, и по лексике: “*чертовы* камни...”, “встал с колен, распрямился”, то есть выпрямился духовно, “Храм” с большой буквы. Все это ясно показывает, каким видится генеральному секретарю “обновленное” в результате перестройки советское общество: “Храм” как образ, слово и понятие так же призван вытеснить “сияющее (“светлое”, “великое” и т. п.) здание коммунизма” (прозаический вариант: “великие стройки коммунизма”), как “нравственность” вытеснила “коммунистическую мораль”.

Совесть нашей эпохи. Замена “морали” “нравственностью” объясняется отнюдь не тем, что, как уже говорилось, по нормам русского языка два эти слова взаимозаменяемы, и скомпромети-

рованность одного ("мораль") позволяет использовать безупречную репутацию другого в той же "должности" и функции — идеологического термина. На самом деле семантические валентности понятия "нравственность" отнюдь не свободны, слово глубоко укоренено в русской культурной традиции (что, вероятно, в свое время послужило доводом в пользу "морали") и до сих пор служит своего рода постоянным эпитетом при русской литературе. Утверждение и убеждение, что от всех остальных европейских литератур русская отличается, прежде всего, "нравственностью" проблематики, тематики, систем ценностей, самого типа писателя и читателя и т. д. и т. п., — стало общим местом, культурным штампом русского и русско-советского общественного сознания. Проследить связь этого "символа веры" русской культуры со славянофило-почвеннической мессианской утопией и культом народа — "источника и хранителя моральных ценностей" (выражаясь советским языком), — не представляет труда.

Широкое употребление Горбачевым слова "совесть" и близких к нему по смыслу слов "честь", "справедливость", "порядочность" и т. п., а также контексты, в которых встречается данный лексический слой, — доказывает, что он ориентируется и на эту культурную традицию:

"Сегодня наиважнейшая задача — поднимать человека духовно, уважая его внутренний мир, укрепляя его нравственные позиции. Весь интеллектуальный потенциал общества, *все возможности культуры* мы стремимся поставить на службу формирования социально активной личности, духовно богатой, *справедливой и совестливой*" (стр. 25); "Главное — все делать по *совести...*" (стр. 53); "...Но главное — чтобы была *правда*" (стр. 72); "Надо жить по *совести...* Все остальное *образуется*" (стр. 104); "Мы должны взглянуть на себя и с точки зрения того, по *совести ли живем и действуем...* Научимся работать лучше, *честнее жить, порядочней себя вести...* Перемен не хочет тот, кто считает, что у него уже есть то, что ему нужно, и зачем ему перестраиваться? Но если у человека есть *совесть*, если он не забывает о благе своего народа, то он не может, не должен так рассуждать" (стр. 26).

Актуальный политический смысл горбачевской проповеди с исчерпывающей полнотой раскрывает "Толковый словарь" Вл. Даля. В словарной статье, описывающей значения слова "совесть" и его производных, говорится: "*Совестный*, к совести относящ.; *Совестное дело*, подлежащее суду совести, а не гражданскому за-

кону (...) *Совестить* кого, *усоветать*, стыдить, заставить стыдиться, стараться привести к сознанию проступка и к раскаянию. -ся (то есть "совеститься" — М. К.), терпеть упреки совести вследствие дурного поступка или стыдиться, сознавать вину свою, грех свой и каяться в самом себе".

Семантическое поле "совести", очерченное Далем с учетом русской социальной практики своей эпохи, ни в чем не отклоняется от концепции "перестройки": "перестройка" — это нравственно-психологическая революция, *не создающая новых политических институций* (по Далю — "гражданских законов"), но вызывающая к "стыду", "сознанию проступка" и т. д. Ср. у Горбачева: "Но если у человека есть совесть, если он не забывает о благе своего народа, то он не может, не должен так рассуждать".

"Совесть", кроме того, как явствует из Даля, тесно примыкает к понятиям религиозно-церковной этики ("сознавать вину свою, *грех* свой"), что прямо соотносится с горбачевским призывом "поочиститься", или, по Далю, "каяться в самом себе".

Но корни "нового мышления" залегают глубже Даля и его "Толкового словаря" (1-е издание 1863—1866 гг.). Прослеживая их подпочвенные ходы, мы упираемся прямо в раскол, только не русской социал-демократии на большевиков и меньшевиков, а в раскол русской церкви, в старообрядчество и староверие.

В качестве иллюстрации позволим себе сослаться на сатирический листок "Известия новейших вре́мен", приведенный И. Юзовым в статье "*Политические воззрения староверья*" ("Русская мысль", 1882, № 5, с. 197). "Эти "Известия", — пишет Юзов, — очень часто читаются ими (то есть старообрядцами, особенно принадлежащими к секте "бегунов" — М. К.) и обыкновенно висят на почетном месте около образов, вклеенные в рамку и под стеклом. Пишутся они печатными славянскими буквами: первая половина каждой фразы красными, а вторая черными чернилами:

Грех — умер.

Правда — пропала.

Истина — охрипла.

Совесть — хромает.

Вера — в Иерусалиме осталась.

Надежда — на дне моря с якорем.

Любовь — больна простудюю.

Невинность — под спудом.

Добродетель — таскается по миру.

Благодеяние — под арестом.  
Помощь — оглохла.  
Совет — с ума сошел.  
Честность — умирает с голоду.  
Кротость — в горячке.  
Искренность — убита.  
Правосудие — в бегах.  
Справедливость — из света выехала.  
Благодать — на небо взята.  
Труд — питается милостынею.  
Ум-разум — на каторжной работе.  
Закон — лишен прав состояния.  
Терпение — осталось одно, и то скоро лопнет.  
А м и н ь

Задание читателю, изучающему труд М. С. Горбачева: подчеркнуть красным слова, уже вошедшие в оборот "нового мышления", а черным — еще не вошедшие.

Старое и новое. Сам термин — "новое мышление", воистину нов. В советском языке вообще и в языке советских вождей в частности такая универсальная абстракция, как "мышление", отсутствует. Зато в нем (термине) в полной мере выявлена другая типичная черта советского языка — внутренняя полемика, скрытая оппозиция, антонимичность: "*новое мышление*" подразумевает наличие мышления "*старого*" и направлено против него.

Своеобразный свет на то, что следует понимать под "старым мышлением", проливает часто употребляемое Горбачевым слово "*философия*" в роли частичного синонима "нового мышления".

В советском языке понятие "*философия*" входит в состав блокового словосочетания "*марксистско-ленинская философия*" (в более специальных текстах возможна "*марксистская философия*"), потенциально и всегда оппозиционного к тоже блоковому словосочетанию "*буржуазная философия*".

В лексике Горбачева слово "*философия*" неожиданно освобождается от своих рутинных коннотаций и приобретает тот смысл свободно избираемой интеллектуальной позиции (или концепции), который сопровождает его нормативное словоупотребление во всех европейских языках: "... значительная часть ее (книги — М. К.) посвящена *новому политическому мышлению, философии внешней политики...*" (стр. 3).

"...Ленин умел видеть дальше, выходить за... классовые пределы. И не раз высказывал мысли о приоритете общечеловеческих интересов

над классовыми. Всю глубину и значимость этих мыслей мы поняли лишь теперь. Они и питают *нашу философию международных отношений, новое мышление*" (стр. 149).

"Таковы, в общих чертах, основные вехи нашего пути к *новой философии мира*, к уяснению новой диалектики общечеловеческого и классового начал в современную эпоху" (стр. 152).

"*Философская и нравственная* основа Декларации {Делийской 1986 года — М. К.) — приоритет общечеловеческих ценностей в ядерно-космический век" (стр. 193).

Как видно из приведенных цитат, "философия" и "новое мышление" возникают у Горбачева преимущественно в связи с международными отношениями, конкретнее — проблемой войны и мира. На поверхностно-содержательном уровне этой связи соответствует горбачевский призыв к "деидеологизации межгосударственных отношений" и "приоритету общечеловеческих ценностей". Соответствует, но — не покрывает...

Отнюдь не считая лозунг "деидеологизации" тактической уловкой или риторикой "на экспорт", мы полагаем, что "новая философия мира" (причем "мир" дан здесь не только как антоним "войны", но и в широком значении "человечества", "вселенной" и т. п.) — предназначена, главным образом, для советского общества, призвана ответить на вопросы и запросы не мирового, но именно русско-советского общественного сознания.

В самом деле, как ни впечатляющ горбачевский призыв "подняться выше идеологических разногласий" и "деидеологизировать" мировую политику, — объективно рассуждая, адресатом таких воззваний должен быть главным образом, а может быть, и только Советский Союз.

Из всех государств, решающих судьбу мира или влияющих на нее, только Советский Союз располагает тотальной идеологией мессианского толка, то есть цельной телеологической концепцией исторического процесса, предписывающей истории изначальный смысл и конечную цель.

Что касается современных западных демократий, то они — *по определению* — не могут — все вместе и каждая в отдельности — провозгласить какую-либо тотальную доктрину, охватывающую все условия человеческого существования — от смысла истории до смысла жизни, — которая руководила бы их внешней политикой или служила бы метафизическим "аккомпанементом".

В крайнем случае речь может идти — о единстве западной ци-

визации или так называемых “западных ценностях”, которые время от времени тот или иной политический деятель Запада (де Голль, к примеру) выдвигает в качестве “сверхценностной” мотивации конкретной политической программы. При таком неравномерном идеологическом распределении, опять же логически рассуждая, от Запада следовало бы ожидать, требовать или желать только одного: чтобы он вел себя трезво, прагматически, применительно к “реальности” (излюбленное слово Горбачева) там, где оппонент (противник) действует, исходя из убеждения, что существует одна для всех абсолютная истина в последней инстанции, и что именно он ею обладает.

Сохранись такая раскладка, — Горбачеву было бы затруднительно представить внутрисоветские проблемы как универсальные, то есть “общечеловеческие”. Облегчил ему решение этой нелегкой задачи президент Рейган. Он, первый из западных лидеров второй половины столетия, ввел в лексику международных отношений метафизические абсолюты, проповеднический тон и мессианские заботы.

Горбачев, следует признать, блестяще воспользовался эксцентрическими чертами нынешнего президента США. Не называя Рейгана по имени, Горбачев создает видимость того, что речь идет не о конкретной политической фигуре, ограниченной и во времени, и в возможностях (что вытекает из самого статуса американского президента), но надличностной, постоянно действующей мессианской доктрине, определяющей все аспекты внешней политики США, особенно в отношениях с Советским Союзом:

“Почти миссионерская страсть к проповедям о правах и свободах человека и небрежение к обеспечению этих самых элементарных прав в собственном доме — тоже повод для раздумий. Бесконечные разговоры о свободе человека и навязывание своего образа жизни другим, массивная пропаганда культа силы и насилия. Как это понять?.. *Во имя чего? Что движет США?..* (Подчеркнуто мною — М. К.).

Скажу откровенно, из того, что мы знаем, у нас не складывается представление о Соединенных Штатах Америки как о “сияющем граде на вершине холма”. Столь же определенно могу сказать, что не считаем и США “империей зла” (...)

Когда одна страна воспринимает другую как “абсолютное зло”, а себя объявляет “абсолютным добром”, это заводит отношения в тупик” (стр. 225–226, 233).

Как только постулирована идея тотально идеологизированного

человечества, всего лишь частным случаем которого оказываются советское общество и советская идеология, — Горбачев переносит на мир призыв, обращенный первоначально только к советским людям, — “Перестройку надо начинать с себя!”, — и подает пример “идеологического разоружения” “в одностороннем порядке”: он решительно пересматривает “марксистско-ленинскую” доктрину войны, революции, классовой борьбы, вообще — истории (“Ядром нового мышления является признание приоритета общечеловеческих ценностей и еще точнее — выживание человечества”, — стр. 149).

В этой “перестройке” явственно присутствуют два плана, абсолютно разных и по содержанию, и по адресату: выживание человечества как цель и пересмотр внешнеполитических аспектов советской идеологии как одно из средств ее достижения.

На самом же деле два эти плана связаны отнюдь не как причина и следствие, но как внешний предлог (спасение человечества) и внутренняя необходимость — пересмотр марксизма-ленинизма.

**Борьба миров.** Провозглашенная Лениным возможность построения социализма в одной стране превратилась у Сталина и его преемников в доктрину классово поляризованного мира, где Советскому Союзу отводилась роль символического “пролетариата”, победоносно противостоящего “эксплуататорским классам” в лице капиталистического Запада. Это противостояние выдвигалось на авансцену мировой истории в качестве центрального сюжета, развитие и исход которого почитались судьбоносными для всего человечества. Остальные народы и государства располагались на аксиологической оси в зависимости от своего отношения к главным действующим лицам. История и даже география четко распались на зоны “абсолютного добра” и “абсолютного зла”, между которыми ни диалог, ни сотрудничество, ни компромисс априорно невозможны. Такую схему принято называть манихейской; мы же полагаем, что даже в качестве вспомогательной метафоры манихейская модель здесь не срабатывает. Манихейский дуализм рассматривает Добро и Зло как равномогущие и равнообязательные начала, гарантирующие существование и природного и человеческого космоса. Проще говоря, Зло так же необходимо для поддержания мирового порядка, как Добро, вследствие чего

отношения между ними скорее диалектически подвижные, чем метафизически непроницаемые.

В отличие от манихейского, марксистско-ленинский дуализм унаследовал христианскую эсхатологическую динамику, в соответствии с которой Зло есть результат грехопадения, следовательно, оно — “исторично”, то есть имеет начало и должно иметь конец. (Вообще, если искать генезис некоторых основных положений марксизма-ленинизма в пространстве религиозно-метафизических архетипов, легко убедиться, что появление частной собственности и эксплуатации расценивается — на глубинном уровне — как социальный аспект все того же грехопадения, а их ликвидация — как уничтожение социальной ипостаси мирового Зла.)

Таким образом, конечная победа Добра (= социализма, коммунизма, бесклассового общества) оказывается целью исторического процесса, классовая борьба — его телеологическим содержанием, а революция — средством достижения цели. С самого начала на всю советскую концепцию внешней политики — классовая борьба “в мировом масштабе” — была наложена схема, теоретически и практически отработанная в ходе русской революции и укрепления советской власти в 20-е—30-е годы. Так, народы Третьего мира играли роль “беднейшего крестьянства”, в союзе с которым Советский Союз (“пролетариат”) должен сокрушить мировое “царство капитала”. Буржуазно-националистическим движениям в этих регионах отводилась роль “средняков” — временного политического “попутчика”. Что касается западного пролетариата и его авангарда — западных компартий, — они рассматривались как части (“передовые отряды”) временно находящиеся во власти противника, и, “силою исторических обстоятельств”, разлученные со своими “братьями по классу”. Отсюда ритуальное словосочетание “братская помощь”, игравшее семантически центральную роль при вторжениях в Венгрию и Чехословакию. Примечательно, однако, что при вторжении в Афганистан “братская помощь” тонко подменяется “интернациональным долгом”: ведь речь в данном случае идет не о европейской, то есть “пролетарской”, “своей” стране, но о стране Третьего мира, слаборазвитой, в отношении к которой руководствуются моралью (“долг” — это, прежде всего, моральная категория). В Афганистане не “брат”, а просто старший и сильный (“пролетариат”) защищает младшего и слабого — “беднейшее крестьянство”.

**Какое веруешь?** Может показаться, что "перестройке" Горбачев подвергает именно и только мистику "классовой борьбы в мировом масштабе", оставляя в неприкосновенности марксистско-ленинскую догматику. Возьмем, к примеру, высказывание, которое легко счесть ключевым для разбираемой темы:

"Теперь, с появлением оружия массового — всеобщего! — истребления, появился объективный предел для классовой конфронтации на международной арене: это угроза всеуничтожения... В духе нового мышления были внесены изменения в новую редакцию Программы КПСС, принятую XXVII съездом партии, в частности, мы сочли далее невозможным оставить в ней определение мирного сосуществования государств с различным общественным строем как "специфической формы классовой борьбы" (стр. 150).

"Объективный предел", который выступает у Горбачева в качестве "argumentum crucis", в сущности, не затрагивает основ классовой доктрины: ведь, если и впрямь будут достигнуты соглашения об уничтожении "оружия... всеобщего! — истребления", если оно действительно будет уничтожено, и человечество (хотя бы в военном плане) вернется в доатомную эру, — вернется, в соответствии с марксистско-ленинским учением, и та классовая конфронтация, которая была только отодвинута на второй план угрозой "всеобщего истребления", но отнюдь не отменена ею.

Поэтому вторая часть высказывания информирует, в сущности, о том, что *пока* над миром нависает угроза всеобщего уничтожения, поведение Советского Союза на международной арене будет диктоваться стремлением ликвидировать эту угрозу, а не интересами "мировой революции", "классовой солидарности", "братской помощи" и "интернационального долга", как, видимо, было до сих пор.

Перед нами, таким образом, концепция новой субисторической тактики при сохранении метаисторической стратегии. А из этого следует, что правы те, кто видит в Горбачеве традиционного советско-имперского лидера послесталинского образца, — ведь все они, начиная с Хрущева, говорили о необходимости "мирного сосуществования" в рамках "мирного соревнования". Эмоционально-практический вывод из такого подхода — недоверие и опасение.

В этом случае, правы, видимо, и те, кто с надеждой видит в Горбачеве истинного и искреннего марксиста-ленинца, способного реабилитировать советский социализм, придав ему "человеческое лицо".

Ошибаются и те, и другие. В идейном составе всей книги при-

веденный выше фрагмент не только не ключевой и центральный, но, напротив, наименее репрезентативный и наиболее рутинный (не случайно преобладание в нем шаблонной лексики и цитата из официального партийного документа).

Первое, что бросается в глаза при попытке охарактеризовать подлинную горбачевскую стратегию, — это стремление вообще выйти за пределы исторических детерминаций, пробиться к каким-то иным реальностям и соответствующему им языку:

*“Основывая свою политику на новом мышлении, мы вовсе не хотим замкнуться в круге привычных нам идей и свойственного нам политического языка (подчеркнуто мною — М. К.). Отнюдь не имеем в виду перекрестить всех в марксистскую веру. Новое политическое мышление может и должно впитать опыт всех народов, обеспечить взаимное обогащение и слияние разных культурных традиций”* (с. 162).

Итак, Горбачев сам ставит проблему нового языка, на котором возможно понимание и общение вне “круга привычных нам идей”. Но тут возникает важнейший вопрос: что это за “привычные нам идеи”?.. Имеются ли в виду только традиционные для советского руководителя взгляды на внешнюю политику как “специфическую форму классовую борьбу”, или же подразумевается общая доктрина, частным и конкретным приложением которой является “классовая борьба”? То, что за “привычными нам идеями” скрывается именно *вся* идеология, со всей очевидностью доказывается текстом — уже следующая фраза напрямую говорит о марксизме:

*“Отнюдь не имеем в виду всех перекрестить в марксистскую веру”.*

На первый взгляд перед нами не более, чем еще одно заверение в отказе от “экспорта революции” и (или) от стремления убедить западный мир в правоте марксистской идеологии. Но истинный и радикальный смысл фразы в ее удивительном, небывалом лексическом составе и орфографическом облике: ни слово “перекрестить”, ни сочетание “марксистская вера” не взяты в кавычки, хотя, приложенные к марксизму советским руководителем, они заведомо должны быть даны в переносном смысле. Если даже элиминировать слово “перекрестить” в роли не совсем удачного (а то и просто комичного) синонима слова “обратить” (в идиоматическом выражении “обратить в веру”), — спорное сочетание — “марксистская вера” — остается\*.

---

\* Само по себе слово “перекрестить”, в значении “переменить веру”, двоякого происхождения и зафиксировано в словаре Деля: 1. “окре-

И здесь следует сказать, что выражение "марксистская вера", независимо от того, употреблено ли оно Генсеком в прямом или метафорическом смысле, действительно поражает своей смелостью и неожиданностью, но только в его устах. Взгляд на марксизм как на разновидность религиозной, а не научной, философской или политической доктрины, существует столько, сколько сам марксизм в качестве официальной идеологии советского общества и государства, то есть со времени победы Октябрьской революции.

Этот взгляд впервые возник и был сформулирован русскими религиозными философами, главным образом, в трудах Бердяева (последний, как известно, настаивал на сугубо "юдаистическом" типе мышления Маркса, определившем его экономические, философские и политические построения), а также в работах о. С. Булгакова, С. Франка, Г. Федотова и др. Сегодня такая (или сходная) точка зрения, независимо от ее эмоционально-оценочной коннотации, принята и многими западными исследователями\*.

Примечателен также и тот факт, что Горбачев говорит именно о марксизме ("марксистской вере"), а не о марксизме-ленинизме. Именно она, эта "марксистская вера", объявляется недостаточной или устаревшей. Объявляется, разумеется, в подтексте, поднять который не представляет труда. Как известно, в рамках господствующей идеологии, "незыблемое", потому что "верное" учение Маркса трактуется как венец всей человеческой культуры, итог

---

*стить снова, в иную веру. — Перекрестить католика, лютеранина в православие; 2. — Перекрестить татарина, еврея. В сем значены: поменять веру" (III, с. 60). Но необходимо подчеркнуть, что современному носителю русского языка слово "перекрестить" хотя и понятно (поскольку составлено из знакомых частей: "пере-" и "крестить"), но практически неизвестно, поскольку в живом употреблении не находится. Этому есть свои причины: православие уже 70 лет не является государственной религией, в силу чего католики и лютеране в православие не "перекрещиваются"; что же касается нередкого в последние два десятилетия обращения в православие евреев, то для этого язык знает только слово "креститься" и его уничижительный вариант "выкреститься".*

*\* Так, марксизм (-ленинизм) рассматривается либо в рамках типологии, описывающей любую тотальную идеологию нового времени как секулярный вариант религии (Р. Арон); либо в ретроспекции одной из религиозно-мифологических систем (А. Безансон); либо как продукт мифотворческого сознания (Л. Коляковский).*

многовековых усилий лучших умов человечества, его тысячелетних чаяний и т. п.

Горбачев же, по должности полномочный выразитель официальной идеологии, утверждает, что "новое политическое мышление может и должно впитать опыт всех народов, обеспечить взаимное обогащение и слияние различных культур".

Чтобы оценить весь взрывной смысл этой риторической, на поверхностный взгляд, заявki, напомним, что она следует сразу же за "марксистской верой", в которую "отнюдь не имеем в виду всех перекрестить". Иными словами, "новому политическому мышлению" еще только предстоит совершить то, что считалось уже выполненной культурно-исторической миссией марксизма. А из этого с логической неизбежностью следует, что, во-первых, "новое политическое мышление" — это, как минимум, *не марксизм*; во-вторых, при таком замахе ("опыт всех народов... слияние разных культур") речь идет не только о "новом политическом мышлении", но о "новом мышлении" вообще (как, собственно, и обещает заглавие книги), а значит — новом мировоззрении или — в горбачевских терминах — новой "вере".

**Образ врага.** Чтобы развернуть полемику с марксизмом, тем более напряженную, что она, в силу объективных причин, не может быть сформулирована в открытую, Горбачеву необходимо, прежде всего, снять претензии марксизма (и советской идеологии) на монопольное владение законами исторического развития.

Это владение истиной в последней инстанции, идеологическими "ключевыми позициями" в судьбах мира выражается — на пропагандистском уровне — в таких идиоматических формулах советского языка, как "всемирно-историческое значение..." (очередного съезда партии, пятилетнего плана развития, международного договора и т. д.), "открыл новую эпоху..." (съезд, план, договор и т. д.), "вся мировая общественность с неослабевающим вниманием следит за..." (съездом, планом, договором и т. д.).

Поскольку приведенные выше рассуждения Горбачева сосредоточены вокруг нового внешнеполитического курса, естественно, что именно в этих, наиболее безопасных для него "международных водах" он и решается атаковать историческую мегаломанию "марксистской веры". И здесь он опять может опереться на новейший "американский опыт".

...Как отметил один советский диссидентский автор, "когда

данная (советская — М. К.) идеология демонизирует своих противников, то ее язык представляет собой не что иное, как вывернутое наизнанку ее самописание”\*

Оставаясь и сегодня остроумным, это наблюдение перестало с недавнего времени быть полностью справедливым. Президент Рейган перенял у советских лидеров вместе с мессианскими претензиями и соответствующую историософскую стилистику, чем и воспользовался Горбачев:

“Надо признать, что в наш век массовой информации и массового интереса к международной проблематике все внешнеполитические предложения выступают так или иначе в пропагандистском сопровождении. Они должны “производить впечатление”. Американские руководители, например, начинают пропагандировать свои возможные шаги на международной арене задолго до их официальных представлений, причем всегда изображают их как “крупные”, “исторические”, “поворотные” и т. д. (подчеркнуто мною — М. К.). Но все дело в том, каков истинный характер, какова цель...” (с. 167).

Подчеркнем еще раз: малопривлекательная особенность американской политической культуры, на которую язвительно указывает Горбачев, действительно характерна для рейгановской администрации, но — одновременно! — и, в первую очередь, она воспринимается советским читателем как “самописание” советской идеологии и ее критика”.

Что же представляет Горбачев в качестве альтернативы этой “советско-американской” идеологической агрессии?

“Мы хотим в международном общении вернуть словам их подлинный изначальный смысл. Провозглашая свою приверженность к честной и открытой политике, мы имеем в виду *честность, порядочность, искренность* и следуем этим принципам практически” (с. 163). (Подчеркнуто мною — М. К.)

Итак, “подлинным” смыслом обладают не “всемирно-исторические” “повороты” и прочие “крупные” “вехи”, не “соревнование двух систем” со “стартом” в виде “классовой борьбы” и “финишем” в облике единственно возможного победителя — идеального бесклассового общества, короче — не изматывающая “гонка”, но неподвижные (“изначальные”) абсолюты: “честность”, “порядочность”, “искренность”.

*На смену истории должна прийти этика.* Любопытно при этом, что всему человечеству Горбачев предлагает те же средства спасе-

---

\* Нелидов Д., Медвецкий Д., Александров С. *Идеология и реальность*. — “Континент” (Париж), № 54, 1987, с. 269.

ния, что и своему собственному (советскому) обществу — "...в международном общении (...) мы имеем в виду *честность, порядочность*"; ср.: "Научимся работать лучше, *честнее* жить, *порядочнее* себя вести" (с. 26). Это, разумеется, не совпадение, но цельная концепция, которую можно обрисовать следующим образом: как все человечество оказывается принадлежащим к одному "классу", противостоящему не другому классу, но "бесклассовой" возможности "всеуничтожения" (термин Горбачева). — так Советский Союз из "маяка", освещающего путь "прогрессивному человечеству", — в одной версии, или "империи зла" — в другой, иными словами, из исторически экстраординарного явления становится интегральной частью терпящего бедствие мира. Невозможно спасти часть, оставляя на погибель целое, что и находит свое выражение в ключевой формуле Горбачева: "...*весь мир нуждается в перестройке*" (с. 160).

Тайная свобода. Почему из трех лозунгов — Гласность, Ускорение, Перестройка — именно "перестройку" выносит Генсек на международную арену и придает ей тот расширительный, глобальный и метафизический характер, с которым мы обязаны считаться?

Это тем более любопытно, что, вообще говоря, для такого преобразования у слова "перестройка" было, как будто, не больше шансов, чем у двух других девизов — "гласности" и "ускорения". Правда, можно возразить, что русское понятие "гласность" не выдерживает конкуренции со своим западным соперником — "свободой слова". В самом деле, "гласность" глубоко укоренена в истории России и связана с ее наиболее либеральным периодом — эпохой "Великих Реформ" Александра II — Освободителя: отмена крепостного права, судебная реформа ("гласные суды" с присяжными заседателями), смягчение цензуры, относительная свобода печати и т. д. Сравнение горбачевских реформ с реформами Царя-Освободителя напрашивается само собой; можно указать, в частности, на сходство внешних обстоятельств, вынудивших правительство приступить к давно назревшим преобразованиям: поражение России в Крымской войне сопоставимо с проигранным Советским Союзом технологическим соревнованием с Западом (плюс неудача Афганской кампании); аналогичен и политический аспект — в обоих случаях это "революция сверху". Такая революция не ликвидирует наличный общественно-политический строй, не модифицирует его. И тогда, в рамках прежнего

политического режима возникает (или должно возникнуть) не новое, но "обновленное" (термин Горбачева) общество, более динамичное и свободное.

Словарь В. Даля дает следующее определение "гласности" и ее производных: *"Гласность* ж., известность, общеизвестность чего, оглашение, огласка. *Гласный* прил., всем известный или явный, нескрытый, всюду оглашаемый" (I, с. 355).

Нетрудно видеть, насколько эти, более, чем столетней давности определения, релевантны происходящему в Советском Союзе: "известные", "общеизвестные" и давно обсуждаемые в обществе факты, явления, проблемы (сталинизм, террор, революция, религия, технологическая отсталость, организованная преступность, наркомания и т. д.) предаются "оглашению", "огласке" на страницах печати и в "неформальных" (то есть не властью созданных), но непреследуемых объединениях.

Отличие — и радикальное! — от свободы слова заключается в том, что официальной социализации ("огласке") подвергается уже известное, наличное, данное; новое же — ранее незамечавшиеся факты, темы, проблемы, концепции — практически не поступает в общественный оборот.

Так во времена "Великих Реформ" 1860-х годов стало дозволено писать о крепостном праве, определявшем весь социальный облик России, но ранее не допускавшемся не только к обсуждению, но даже к называнию.

В онтологическом пределе отличие свободы слова от "гласности" в том, что основанием первой служит свобода мысли, а второй — высказывания, первой — интеллект как принципиально неотчуждаемая "личная собственность", второй — язык как социальное установление; субъект свободы слова — личность, субъект "гласности" — "коллективная личность" — носитель языка, общество. На уровне политических гарантий эти отличия еще очевидней: свобода слова невозможна без других свободных, независимых от власти и государства институций — суд, парламент, собственность и т. д. "Гласность" же есть дар, полученный из рук власти; только власти она обязана своим существованием и может быть забрана так же неожиданно, как получена. Но и почвенная "гласность", учитывая волю Горбачева к экспансии слов, могла бы претендовать на значение не только "для нашей страны", но и "всего мира". И не просто могла бы, но и впрямь претендует:

“Мы практически исключили всякие расхождения между тем, что говорим нашим зарубежным собеседникам за *закрытыми дверями*, и тем, что заявляем и делаем публично... Больше света, *больше гласности* во внешне-политических делах...” (с. 163; подчеркнуто мною – М. К.).

Перед нами – типичный случай “самоописания системы” в горбачевской фазе ее движения: именно для советской действительности, а не “внешнеполитических дел”, характерны сегодня публичные обсуждения всего того, что раньше говорилось “за закрытыми дверями”. Более того, Горбачев сам недвусмысленно (но и не осознанно) раскрывает здесь подлинную природу гласности: вынесение на “свет”, вовне, наружу происходящего внутри, “в тени”, короче – “за закрытыми дверями” власти.

А это значит, что на глубинном уровне понятие “гласность” определяется оппозицией “Тайное” – “Явное”.

В силу своей фундаментальной универсальности данная оппозиция относится к классу не исторических, но антропологических объектов. Она встречается во всех человеческих обществах в виде разделения на “Сакральное” и “Профаническое”. Первому соответствует “тайное знание” (магия, обряды инициации, гносеологические мифы и т. п.), держателем которого является особая социальная группа – посвященные. Сакрум табуирован, охраняется законами (ритуалами), нарушение которых чревато опасностью и наказанием нарушителей.

Хотя в наиболее чистом виде оппозиция “тайное – явное” (= “сакральное – профаническое”) наблюдается в так называемых “примитивных” обществах, – в диахроническом аспекте она организует и пронизывает историю всех религиозных общин и установлений, просматривается – в тех или иных модификациях – в современных общественных структурах, особенно ярко – в тоталитарных.

В русской истории дихотомия “тайного” и “явного” традиционно играла большую, чем на Западе, роль, ибо распространялась не только на учреждения, сам статус которых совпадал со структурой этой оппозиции (церковь, политическая полиция), – но и на области всецело относящиеся к сфере секулярного знания, или – в современных терминах – информации.

Еще (или уже) в царствование Алексея Михайловича (отца Петра Великого) поступавшие с Запада публикации (первые европейские газеты, политические и богословские трактаты, ис-

торические труды и т. д.) были строго засекречены и находились в ведении Тайного приказа.

Но совершенно фантастическое расширение зоны "тайного" произошло в советский период русской истории. Вопреки известному афоризму, в советском обществе все больше "явного" становилось "тайным". Важно подчеркнуть при этом, что речь ни в коем случае не идет о явлениях культурного, идеологического, политического порядка, выведенных за пределы советского общества. Таким явлениям (политические партии, свободные профсоюзы, религиозные движения и общества, абстрактная живопись, додекафонная музыка, литература эмигрантская и модернистская и т. д., и т. п.) советское общество противостояло в целом, и только их "агенты" могут оказаться внутри советского космоса. *Иными словами, речь идет не о запретах на "чужое", но о специфическом устройении "своего".*

**Приращение.** В советском языке этот процесс четко зафиксирован глобальным распространением синонимичной "тайному — явному" оппозиции "открытый — закрытый":

Закрытое партсоборание — открытое партсоборание; закрытое письмо (съезда, ЦК партии) — открытое письмо (съезда, ЦК партии); закрытое заседание (выступление, доклад) — открытое заседание (выступление, доклад); закрытый просмотр (кинофильма, спектакля) — открытый просмотр (кинофильма, спектакля); закрытая тема (дозволенная к исследованию, но запрещенная к широкой публикации и общественной огласке). — открытая тема и т. д., и т. п. Прибавим к этому такие феномены "закрытости", как: система допусков (в библиотеках — к литературе, не выдаваемой на общих основаниях и даже не внесенной в общедоступные каталоги; на промышленных предприятиях военного назначения — к целому ряду должностей); закрытые распределители и т. д., и т. п.

Только зная правила этой социальной комбинаторики, можно правильно понять вышеприведенное высказывание Горбачева: "...исключили... расхождения между тем, что говорим ...за закрытыми дверями, и тем, что заявляем публично". Хотя фраза должна информировать о радикальных изменениях в советском стиле международного общения, \* понятия, которыми оперирует Горбачев, на самом деле характеризуют внутрисоветскую, давно сложившуюся структуру отношений, единственную, которую генсек

знает, воспринимает как естественную и потому пользуется ее языком в разговоре со "всемирным". *Говорим за закрытыми дверями* — *"заявляем публично"* — это и есть пронизывающие всю советскую систему отношения "закрытого" и "открытого" ("публичного"). Возникшие задолго до эпохи гласности, они-то и являются ее исходной моделью, опробованной и оправдавшей себя в течение десятилетий.

Их сложная социальная композиция покрывается отнюдь не таким современным понятием, как *секретность*, но куда более архаичным и психологически-напряженным — *сакральность*.

В самом деле, сказанное на закрытом партсобрании, закрытом заседании партсъезда или пленума вовсе не предполагается скрывать от неучаствующей в этих мероприятиях партийной и даже беспартийной массы. Пересказ или распространение книг, изданных под грифами: "Для научных библиотек", "Для специального пользования", — не квалифицировались как преступление и не преследовались советскими законами (под такими грифами издавались, в частности, русские переводы "Майн кампф" Гитлера, "Вторая мировая война" У. Черчилля, "Феномен человека" Т. де Шардена и т. п.). Пример еще более разительный: именно изложение (пересказ с комментарием) недопущенных в советский культурный оборот и невозможных в нем западных философских, психологических, эстетических учений и концепций, составило имя и славу такого, ныне официально признанного советского филолога и философа, как С. С. Аверинцев.

Не более (или не менее) безнадежно обстоит дело и с так называемыми "закрытыми просмотрами". Многие из этих тайных событий художественной жизни сразу или спустя какое-то время становились "явными", то есть допускались в массовый прокат и показ.

Суть происходящего заключается здесь не столько в сокрытии информации (в широком смысле этого слова), сколько в установленной очередности доступа к ней. Иными словами, между властью как таковой и обществом в целом возникает — по желанию и выбору власти — определенная группа, с которой власть как бы "делится" своей монополией на "тайное знание".

Власть отчуждает от себя часть своего сакрума в пользу данной группы с тем, чтобы, пройдя через фильтры этого привилегированного слоя, опасная информация утратила часть своей смысловой

энергии и уже в таком процеженном, "обезвреженном" виде поступила в общественное пользование.

С этой точки зрения нет принципиальной разницы между функционированием в обществе выступления Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС и, скажем, учением К.-Г. Юнга об архетипах в изложении С. С. Аверинцева. Замечательно, что закрытый доклад Хрущева зачитывался на некоторых *открытых* партийных собраниях, причем присутствующих предупреждали, что записывать по ходу чтения им запрещено. Не только приведенные в выступлении факты, мысли, но даже чувства Хрущева в кратчайшие сроки стали известны всей стране, однако — в пересказах, то есть пропущенные через субъективное восприятие и внутреннюю цензуру, особенно сильную именно у "посвященных". Точно так же можно с уверенностью сказать, что даже в блестящем и увлекательном изложении С. С. Аверинцева заинтересованный читатель получит не только не всего Юнга, но и не совсем того Юнга.

Таким образом, не просто доступ к дефицитным материальным и духовным ценностям обеспечивает данной группе чувство социального престижа, но, прежде всего, приобщенность к сакралу власти.

Если и можно говорить о сознательном и намеренном подкупе властью части общества с целью расширения и укрепления своей социальной базы, то это, в первую очередь, подкуп сакральным. Прагматическая заинтересованность "подкупленных" хотя и имеет место, но носит внеэкономический характер. Когда профессиональная, политическая и просто культурная информированность оказывается социальной привилегией, — это коренным образом меняет структуру, иерархию и содержание социальных ролей. (Так, специалист, пересказывающий и комментирующий французских или немецких экзистенциалистов, приобретает в глазах общества статус оригинального философа — творца философской системы.) Иными словами, распространение и распределение информации в советском обществе представляет собой социальную проблему, и потому изменения в этой области влияют (и даже изменяют) облик и психологию социума.

Провозглашенная и реализуемая Горбачевым гласность — это такое расширение сферы "тайного", "закрытого", чтобы — в идеале и пределе — все общество приобщилось к "сакральному", стало причастным ему ("причастность святых тайн"). Подобное разви-

тие не ущемляет существенно прерогатив власти и обеспечивает ей максимально широкую поддержку.

И здесь сразу следует указать на отличие горбачевской "гласности" от ее "предка" эпохи "великих реформ": тогда гласность была поддержана реформой судопроизводства, новыми общественными институциями, основанными на принципе самоуправления ("земство"), не говоря уже о такой коренной социально-экономической "перестройке", как освобождение крестьян. Власть не только пошла на самоограничение, но и закрепила соответствующими законодательными актами и установлениями права личности и общества перед лицом политически неограниченной (самодержавной!) власти. Иными словами, реформы 60-х годов прошлого века означали европеизацию России, приближали ее социальную структуру, — насколько это было возможно при сохранении абсолютной монархии, — к принципам западного общественного устройства.

Этого-то и не сделал (пока?) Горбачев.

Что несомненно остается за гласностью, — это ее психологический и метафизический аспект, своеобразный настолько, что ставит предел поискам аналогий в привычном пространстве социальной истории.

Единственное, пожалуй, с чем сопоставима "гласность" с ее включением всего общества в сакрум власти, — это религиозные движения типа протестантизма: *превращение общества в религиозную общину*. Только здесь находят естественное объяснение неистовые и непрерывные призывы Горбачева к нравственному очищению, духовному возрождению, возведению Храма, правде, истине, короче — к тому, что в русской религиозно-философской традиции именуется словом "с о б о р н о с т ь".

Возникает, однако, вопрос: насколько сам Горбачев отдает себе (и читателям) отчет в том, что его гласность принципиально отлична от свободы слова (и печати) в западном смысле, а считающиеся темы, обсуждаемые в рамках гласности, не совпадают с таким фундаментальным понятием европейской цивилизации, как информация? (Стоит вспомнить при этом, что свобода получения и распространения информации — это требование Запада, предъявленное России в Хельсинкских соглашениях, под которыми стоит подпись советских представителей.)

Нижеследующие высказывания Горбачева с предельной ясностью показывают, что он не только понимает всю "самобыт-

ность" гласности, ее, так сказать, сугубо "местный колорит", но и настаивает на отличиях, которые, в сущности, оказываются ограничениями:

"Особо хотел бы подчеркнуть следующее. Пресса (в эпоху гласности — М. К.) должна объединять и мобилизовать людей, а не разъединять их, не порождать чувства обиды, неуверенности в себе. Обновление общества — это и борьба за достоинство человека, за его возвышение, его честь. Критика может быть исключительно эффективным инструментом перестройки только тогда, когда в ее основе будет полнейшая правда и скрупулезная забота о справедливости... Я так считаю: честному, открытому, прямому разговору, пусть несущему сомнения, — добро пожаловать! Если же ты примеряешь на нас кафтан с чужого плеча, тогда извини. Гласность призвана укреплять наше общество" (с. 76).

В этом примечательном рассуждении мы хотели бы особо подчеркнуть следующие моменты: речь у Горбачева идет о *прессе*, то есть области преимущественного господства информации как таковой. Информация же — как таковая — не может и не должна ни объединять людей, ни разъединять их, в ее задачу не входит борьба за достоинство и честь, она не унижает и не возвышает... Цель информации — информация: свидетельство действительности о себе самой. Подобно суждению в формальной логике, информация может быть только истинной или ложной. Она поддается количественным измерениям, но не содержит в себе качественных оценок, то есть того именно, что предписывает прессе Горбачев. Любопытно при этом, что он вводит в свои размышления такую обязательную единицу информации, как факт: "Любой факт (...) может быть предметом анализа прессы". Но: "но при этом чрезвычайно важно, какие позиции ты занимаешь, волнует ли тебя судьба народа, его будущее, — вот что главное" (с. 76).

Итак, опять и точно так же, как во все догорбачевские эпохи, информация ("факт") оказывается функцией "позиции" (понятно, идеологической). Эту ненарушаемую преемственность несет на себе, к примеру, такой классический советизм, как "мобилизовать людей". И все же "позиция" изменилась.

Раньше, до Горбачева, истина, с позиций которой факт либо проходил через идеологический фильтр и становился "информацией", либо исчезал как ненужный (вредный) "для судьбы народа и его будущего", — была истиной абстрактной, догматической и квазинаучной, короче — "марксистско-ленинским учением".

Теперь мы видим радикальное изменение идеологического дискурса: вместо "объективных законов" (истории, общества) — морализаторский гуманизм (честность, откровенность, "достоинство человека,... его возвышение, его честь"), противостоящий негативным психологическим состояниям: "чувства обиды, неуверенности в себе".

Эти безличные состояния и категории оформляются и скрепляются высшим надличностным единством — советским обществом. В энергичной декретивной фразе: "Гласность призвана укреплять наше общество", — смысловое ударение падает на слово "наше", что подтверждается наличием его антонима "чужое" в предыдущей фразе ("...кафтан с чужого плеча"). Под "примеркой", очевидно, нужно понимать попытки интерпретировать гласность в духе свободы слова.

Таким образом, дихотомия "наше"-"чужое" сохраняется, но с существенной поправкой; "наше" из общесоветского становится все более русским, что и призваны подчеркнуть: русская народная поговорка ("кафтан с чужого плеча"); разговорное "добро пожаловать" и вовсе просторечное "тогда извини" (последнее относится к сфере городского просторечия и является усеченной формой хамски-доверительного выражения "извини-подвинься").

Перестройка № 2. В отличие от "истинно русской" гласности, "перестройка" как идеологический термин обладает только советской коннотацией, закрепленной за наиболее трагическим периодом советской истории — 30-ми годами (они же — одна из самых модных и популярных тем гласности). В эти годы понятие "перестройка", будучи нормальным словом русского языка, прочно входит в советский язык и обиход в значении семантического двойника другого лозунга тех лет — "реконструкция". Существенная разница в словоупотреблении двух этих родственных понятий ("перестройка" — это и есть буквальный перевод слова "реконструкция") заключалась в том, что второе предусматривало техническое преобразование страны ("курс на индустриализацию", "превращение страны аграрной в страну индустриальную"), — в то время как объектом "перестройки" была социальная психология, то есть такое качественное изменение общественного и индивидуального сознания, в процессе и результате которого должен явиться новый человек: — атеист, коллективист, "беззаветно преданный коммунистическим идеалам".

Важно помнить при этом, что “перестройка сознания” требовалась исключительно от граждан, не принадлежавших по рождению, образованию, образу жизни к победившим классам — пролетариату и беднейшему крестьянству. Последние мыслились (и провозглашались) носителями нового (передового, прогрессивного) сознания, так сказать, *in adiecto*. Их нужно было поэтому не перевоспитывать (“перестраивать”), а обучать, чтобы перевести присущий им классовый инстинкт (“классовое чутье”) на уровень классового сознания. Таким образом, умственной и психологической перестройке подлежали весьма многочисленные и разнородные (в социальном и культурном отношении) группы населения — от писателей, художников и ученых до так называемых “нетрудовых элементов” города и деревни, бывших городских и просто уголовников. Для разных групп предусматривались соответственно разные пути и методы перестройки: “буржуазная интеллигенция” должна была в порядке волевого усилия и духовного прозрения овладеть материалистической философией, принять советскую власть и диктатуру пролетариата и доказать “переход на новые рельсы” своей профессиональной деятельностью. Что касается паразитических, нетрудовых и прочих антисоциальных элементов, — их путь перестройки пролегал через “приобщение к общественно-полезному труду” в исправительно-трудовых лагерях и воспитательных колониях. Речь, понятно, идет об идеальном проекте. В действительности, как известно, большая часть “буржуазной интеллигенции” тоже “перестраивалась” в лагерях. Примечательно, однако, что на первых порах такие места “перевоспитания” не только принадлежали сфере “открытого”, но даже рекламировались как высшее достижение социальной педагогики и проявление подлинного (“пролетарского”) гуманизма новой власти.

Употребление слова “перестройка” в том значении и контексте, в каком оно понималось и применялось в 30-е годы, наглядно иллюстрируется примерами из документальной повести Мих. Зощенко “История одной жизни” (1933), посвященной строительству Беломоро-Балтийского канала:

“Я на самом деле увидел *перестройку сознания*, гордость строителей и горячее желание жить иначе, чем прежде”. “Я долго разговаривал с одним профессионалом — карманным вором. Он, наговорив мне кучу пышных фраз о своей *подлинной перестройке*, под конец, жалко улыбнувшись, сказал, что по выходе на волю за ним, конечно, следует присмотреть, чтоб

он не свихнулся снова"; "Это были речи о *перестройке всей своей жизни* и о желании жить и работать по-новому"; "В них, мне думается, не было фальши, или выдумки, или желания ослепить начальство *силой своей перестройки*".

Представляется несомненным, что, выбирая девизом "качественно нового этапа в жизни советского общества" столь маркированное понятие, как "перестройка", Горбачев сознательно и намеренно ориентировался на весь этот исторический и травматический контекст. Но какую цель он преследовал, дважды вступая в одно и то же слово? Прежде всего — полемическую: перестройка 80-х задумана и осуществляется как полная и прямая противоположность перестройке 30-х. Есть только одна черта, которую Горбачев готов унаследовать от прошлого — это революционность, "необратимость" самого процесса "перестройки". В 30-е годы результатом перестройки явилось общество, радикально отличное не только от дореволюционного, но и пореволюционного 20-х годов. Именно это, в 30-е годы возникшее общество, сохранившее, в основном, свои типологические и структурные черты до сегодняшнего дня, называется "советским". И именно это, советское общество, должно, в результате горбачевской перестройки, смениться другим, новым, "обновленным", по терминологии Горбачева.

Подчеркивая везде, где только можно, революционный характер Второй Перестройки, генсек, в сущности, не грешит против истины, хотя внешне это выглядит стремлением убедить "весь мир" в том, что нынешние преобразования суть прямое продолжение духа и дела Октябрьской социалистической революции:

" (...) по глубинной сути, по большевистской дерзости, по гуманистической социальной направленности нынешний курс является прямым продолжением великих свершений, начатых ленинской партией в Октябрьские дни 1917 года. И не просто продолжением, но и развитием, углублением основных идей революции" (с. 47, глава "Перестройка: истоки, суть, революционный характер").

Данная цитата с легкостью заменяется десятками других, неотличимых от нее по смыслу и риторике, извлеченных из книги и выступлений Горбачева. Более того, со времен Хрущева не было ни одного советского руководителя, который бы — в пику предыдущему — не провозглашал своей верности именно ленинским, а не чьим-нибудь (сталинским, брежневским, андроповским) заветам и в тех же, примерно, выражениях: "прямое продолжение", "великие свершения", "развитие и углубление" и т. п.

Но Горбачев — первый, у кого “за закрытыми дверями” рутинной фразеологии обнаруживаются идеологические интенции, куда более принципиальные и всеохватывающие, чем критика предыдущего руководства.

Чтобы оценить масштабы горбачевского наступления на теорию и практику перестройки 30-х годов, необходимо подчеркнуть следующее обстоятельство: определение социальных преобразований как “революции сверху” закреплено в русской истории не только за реформами 1860-х годов, но и за коллективизацией, причем не кем иным, как самим Сталиным\*.

Мы полагаем, что это определение, как и “перестройка”, заново пущенные в оборот Горбачевым (“перестройка — это революция сверху”), преследует две цели: указать на радикальный (революционный) и — в идеале — “необратимый” (поскольку “сверху”) характер перемен; вторая цель (но по важности тоже “первая”) — полемическая: именно на фоне и с учетом происшедшей более полувека назад сталинской “революции сверху” нынешняя должна выявить свои сущностно иные, противоположные цели и средства.

Проще говоря, Горбачев ставит перед собой две задачи: объяснить, почему перестройка № 1 сопровождалась (или обернулась) террором, и почему его ни в коем случае не будет в процессе перестройки № 2.

*Майя Каганская — литературовед и эссеист, постоянный автор “22”; ее статьи и эссе публиковались также во многих зарубежных русскоязычных изданиях; автор книг о Чехове, Мандельштаме и (совместно с З. Бар-Селлой) “Мастер Гамбс и Маргарита”; работает в Иерусалимском университете, где подготавливает к печати исследование “Миф XXI века”, посвященное анализу неонацистской идеологии в СССР.*

---

\* “В конце 1929 года (...) Советская власть (...) перешла к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества, как класса (...)

Это был глубочайший революционный переворот, скачок из старого качественного состояния общества в новое качественное состояние, равнозначный по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 года.

Своеобразие этой революции состояло в том, что она была произведена сверху, по инициативе государственной власти (...)” (курсив оригинала) “История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс”. М., Госполитиздат, 1938, с. 291.

# КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
ИОСИФУ  
БРОДСКОМУ

Сегодня, когда из письма Натана Эйдельмана и ответа Астафьева русские евреи и их зарубежные коллеги узнали о существовании антисемитизма в России, как-то по особенному хочется отвлечься на созерцании предметов прекрасных, возвышенных и несовременных. На чем-нибудь историческом, из древней жизни. На том, что ставит вечные вопросы. Какая-нибудь нежитейская мудрость... И чтоб была воспитанность. Очень уж хамство надоело. Чтобы один культурный человек разговаривал с другим, не менее культурным. И чтобы благородному. В стихах. Катулл, Тибулл, Проперций. На худой конец — Марциал... Скажем,

Письма римскому другу

*Из Марциала*

\* \* \*

Нынче ветрено и волны с перехлестом  
Скоро осень, все изменится  
в округе  
Смена красок этих трогательней,  
Постум,  
чем наряда перемена у подруги.

Дева тешит до известного предела —  
дальше локтя не пойдешь или  
колена.  
Сколь же радостней прекрасное вне  
тела:  
ни объятье невозможно, ни  
измена!

*Зеве Бар-Селла*

## ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

(Неопубликованная глава из книги "Иосиф Бродский. Опыт чтения".)

\* \* \*

Посылаю тебе, Постум, эти книги.  
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?  
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?  
Все интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.  
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.  
Вместо слабых мира этого и сильных —  
лишь согласное гуденье насекомых.

\* \* \*

Здесь лежит купец из Азии. Толковым  
был купцом он — деловит, но незаметен.  
Умер быстро: лихорадка. По торговым  
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.  
Он в сражениях Империю прославил.  
Столько раз могли убить! а умер старцем.  
Даже здесь не существует, Постум, правил.

\* \* \*

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,  
Но с куриными мозгамихватишь горя.  
Если выпало в Империи родиться,  
лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.  
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.  
Говоришь, что все наместники — ворюги?  
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

\* \* \*

Этот ливень переждать с тобой, гетера,  
я согласен, но давай-ка без торговли:  
брать сестерций с покрывающего тела  
все равно, что drankу требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?  
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.  
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,  
Он и будет протекать на покрывало.

\* \* \*

Вот и прожили мы больше половины.  
Как сказал мне старый раб перед таверной:  
"Мы, оглядываясь, видим лишь руины".  
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.  
Разыщу большой кувшин, воды налью им ...  
Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?  
Неужели до сих пор еще воюем?

\* \* \*

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?  
Худошавая, но с полными ногами.  
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.  
Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.  
Или сливами. Расскажешь мне извесья.  
Постелю тебе в саду под чистым небом  
и скажу, как называются созвездья.

\* \* \*

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,  
долг свой давний вычитанию заплатит.  
Забери из-под подушки сбереженья,  
там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле  
в дом гетер под городскую нашу стену.  
Дай им цену, за которую любили,  
чтоб за ту же и оплакивали цену.

\* \* \*

Зелень лавра, доходящая до дрожи.  
Дверь распахнутая, пыльное оконце.  
Стул покинутый, оставленное ложе.  
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за черной изгородью пиний.  
Чье-то судно с ветром борется у мыса.  
На разошедшей скамейке — Старший Плиний.  
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

*март 1972*

Сколько пищи для ума!

"Курица не птица" — Верно!

"но с куриными мозгамихватишь горя" — Сколько раз!

"если выпало в Империи родиться" — М-да, выпало...

"лучше жить в глухой провинции у моря"...

С другой стороны, в провинции тоже не сахар. Хотя, с третьей стороны, толкотни нет, суеты этой. И ведь надо же! Рим, дикая древность. А все понимали. Как М. Крепс!

"В стихотворении "Письма римскому другу" герой предпочитает отойти от общественной деятельности и жить подальше от столицы, где главными занятиями приближенных Цезаря являются интриги да обжорство"\*.

Замечательно, что двадцать веков назад ту же мысль можно было выразить теми же словами:

Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?

Все интриги, вероятно, да обжорство.

Выходит, что наши нынешние беспокойства — не так, чтобы очень нынешние, а значит — и не слишком уж наши. Потому что сразу приходит на ум Екклезиаст ("Все уже было в веках, бывших до нас"), а из более знакомого Пушкин — "Догадал меня черт — родиться в России с умом и талантом". И вообще — в жизни оснований для скорби не больше, чем для лучезарного оптимизма. А главное — основания эти — одни и те же. Ведь, в конце-то концов, "мы, оглядываясь, видим лишь руины". (Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.)

Последние две фразы (особенно последняя) и послужили причиной нашего специального внимания к стихотворению Иосифа Бродского. Однако, начнем мы свои размышления не с этих фраз, а с ряда более общих вводных рассуждений.

Во-первых, жанр этого стихотворения — эпистолярный — весьма характерен для Бродского: "Открытка из города К", "Письма династии Минь", "Одной поэтессе", вплоть до целого сборника — "Новые стансы к Августе". Можно сказать, что вообще, одна из

---

\* Крепс М. "О поэзии Иосифа Бродского". *Ann Arbor "Ardis"*, (1984). р. 243. Ни на этой, ни на других страницах книги М. Крепс не подкрепляет своих выводов ссылками на мои работы, за что я приношу ему свою искреннюю благодарность.

главных поэтических позиций Бродского — это состояние в переписке. Второе: Рим, точнее два Рима — древний и Третий. Здесь даже скушно приводить примеры. Третье: Марциал. А вот этого здесь нет. В предпоследней строке автор писем назван — Старший Плиний; значит ему (в крайнем случае Плинию Младшему) они и принадлежат. А никакому не Марциалу, хотя такой поэт (и даже римский) был. Смысл этого наблюдения раскроется позже, а пока отметим, что перед нами яркий пример заметания следов.

Перейдем теперь к самим стихам — их девять. Каждое — из двух строф, в каждой по 4 шестистопных хореических строки. Особенностью русских шестистопных размеров является то, что трехстопные полустишия в них обнаруживают тенденцию к самостоятельности и второе полустишие строится часто, как начало стиха (см. здесь: “Протекаю, говоришь? // Но где же лужа?”; “Пусть и вправду, Постум, // Курица не птица” и т. п.). Выбор 6-стопного хорea детерминирован семантической композицией стиха: она симметрична, и, как шестистопная строка на два полустишия, строфы разбиваются на тезис и антитезис.

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?  
*Худоцавая*, но с *полными* ногами.  
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.  
Жрица, Постум, и общается с богами.

Смысловое противостояние здесь в том, что по римскому обычаю, хорошо известному Постуму, Бродскому и обоим Плиниям, жрицами становились девственницы (помнится, именно изнасилование весталки считалось самым вопиющим проступком Нерона).

Если выпало в *Империи* родиться,  
лучше жить в глухой *провинции* у моря.

Или так:

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,  
долг свой вычитанию заплатит.

“Сложенье” — это, конечно, не из арифметики, а из анатомии: “телосложение” (есть чья-то старинная шутка, чуть ли не Светлова: “Тела уже нет, осталось одно теловычитание”).

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.  
Или сливами. Расскажешь мне известья.  
Постелю тебе в саду под чистым небом  
и скажу, как называются созвездья.

То есть, ты мне — о земном (римские новости), а я тебе — о небесном.

Иногда, узнается в этих размышлениях и что-то знакомое:

Дева тешит до известного предела —  
дальше локтя не пойдешь или колена.  
Сколь же радостней прекрасное вне тела:  
ни объятье невозможно, ни измена!

Ср. у Николая Гумилева:

Прекрасно в нас влюбленное вино  
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,  
И женщина, которою дано,  
Сперва измучившись, нам насладиться.  
Но что нам делать с розовой зарей...  
Что делать нам с бессмертными стихами?  
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать...

У Бродского та же мысль изложена короче. И так далее.

Поэтика такого рода достаточно распространена (из наиболее стойких ее приверженцев можно назвать Евтушенко), но избыток приема не всегда означает отсутствие достоинств. Тем более, что здесь черно-белая семантическая гамма подчинена идее второго порядка: противопоставлению жизни и смерти, которое описывается серией отказов от плотского (дева, обжорство) в пользу духовного (прекрасное вне тела, книги, букеты, неизысканная сакральная трапеза из хлеба и вина). Показательно, быть может, и само имя адресата письма — Постум, на первый и второй взгляд обычное римское, но в переводе означающее: "то, что после", в данном случае "Посмертное".

Теперь самое время перейти к главному, к тому, ради чего и затеян весь этот анализ — к двум фразам:

Вот и прожили мы больше половины.  
Как сказал мне старый раб перед таверной:  
"Мы, оглядываясь, видим лишь руины".  
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

С первой строкой проблем нет — это Данте (“Земную жизнь пройдя до середины...”).

Прочтем последнюю, радостно кивнем и... задумаемся. Взгляд-то верный, но почему варварский? Подобную фразу мог сказать римлянин (хотя он ее, как мы скоро увидим, не говорил). Сходных взглядов держались в позднем Вавилоне (“Взойди на холмы разрушенных городов...” — “Разговор разочарованного со своим духом”). Но ни Рим, ни Вавилон ни в коем случае не были детством человечества. Они, в какой-то мере, ближе к старости, когда от жизни остается меньше половины. А тут варвар?!

Варвар молод! Он назад не оглядывается, сзади его ничего не ждет. Он весь порыв, устремленный вперед — “Мы еще увидим небо в алмазах!”

Не знаю, станет ли проблема яснее, если выяснится, что фраза эта (или афоризм) не принадлежит и Иосифу Бродскому. Фраза, и вправду, не его:

*“В общем, жизнь, если оглянуться назад, — всего лишь одни руины: обрушившаяся колонна там, где некогда высился массивный портал, сломанный переплет окна, у которого в былые дни сидела владелица замка; осыпающаяся груда почерневших камней на том месте, где когда-то пылал веселый огонь, и пятна лишая и зеленый плющ, покрывающие эти развалины”.*

Кто сей варвар? Джером Клапка Джером, “О памяти”, из книги “Праздные мысли лентяя”, Лондон, 1886 — Москва, 1957.

Сразу возникают два соображения. Первое: а если это шутка, и бритт Джером К. Джером назван “варваром” вслед другому шутнику, Уинстону С. Черчиллю (“Никогда более на Британских островах культура уже не поднималась так высоко, как в дни владычества Римской империи”)?

Второе: возражение — вправе ли мы так хвататься за одну фразу? Ведь можно допустить, что Джером Джером и Иосиф Бродский друг друга не читали, а вдохновлялись из какого-то иного, третьего источника.

Вопрос этот не простой, он теоретический. Как вообще доказывается связь текстов? Все люди пользуются языком, и существуют даже целые сообщества, которые пользуются одним языком (их называют народами); язык, в свою очередь, тоже не свободен в своих возможностях, нам приходится брать готовыми не только выговариваемые нами слова, но, зачастую, и сочетания слов; а что такое фраза, как не сочетание слов? Можем ли мы

всякий раз, наедине с собой, утверждать, что мы первыми поставили некоторые слова в данном определенном порядке? и что этого, хотя бы раз, уже не сделал кто-то в веках, бывших до нас? Сколь же невероятны трудности, когда нужно доказать, что повторяет чужое кто-то иной. Можно ли вообще что-то доказывать в таких условиях?

Для ответа на такие вопросы выработано одно эмпирическое правило, впервые сформулированное Майей Каганской на примере поэзии О. Мандельштама. Правило это гласит: "За любой цитатой стоит полный текст, из которого она взята". Иными словами, художественная свобода автора ограничена тем, что, прибегнув к цитированию, он уже не может ограничиться одной лишь цитатой. Так и в нашем случае: близость Бродского к Дж. Джерому доказывается не строчкой, а целым клубком схождений.

Зелень лавра, доходящая до дрожи.  
Дверь распахнутая, пыльное оконце.  
Стол покинутый, оставленное ложе.  
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Сравни с праздной мыслью лентяя:

"Да, свет, а не мрак видим мы, когда оглядываемся на прожитую жизнь. *Солнечные лучи не оставляют теней на прошлом*".

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?  
Худошавая, но с полными ногами.  
Ты с ней спал еще...

Недалеко ушел от грубой римской простоты и сдержанный сын Альбиона:

"*Мы никогда не вспоминаем о сердечной тоске, или о бессонных ночах, или о внезапно пересохшем горле, когда она сказала, что никогда не может быть для нас никем кроме сестры, — будто кому-нибудь нужна лишняя сестра!*".

Даже римская тема обнаруживает корни более глубокие, чем это могло показаться на первый взгляд — корни языка:

"Дни детства представляются нам сплошным веселым праздником: одно лишь щелканье орехов, катанье обруча да имбирные пряники. А выговоры, зубная боль и *латинские глаголы* — все теперь забыто, особенно *латинские глаголы*".

И последнее — последняя строфа "Писем римскому другу":

Понт шумит за черной изгородью пиний.  
Чье-то судно с ветром борется у мыса.  
На разошедшей скамейке — Старший Плиний.  
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

Всем хорошая строфа, кабы не портило ее:

“Помню, помню, помню я,  
В день холодный ноября  
Черный дрозд...”

Остальное я забыл. Это начало первого стихотворения, которое я когда-то учил”.

Мало того, что это первое стихотворение, это и начало джеромовского фельетона. И значит, Бродский держал в памяти этот жалкий огрызок все время, пока писал “Письма”. Впрочем, запоминать слишком много ему не пришлось: все подмеченные нами совпадения уместаются на первых двух страницах фельетона “О памяти” (остальные 13 поэт то ли не дочитал, то ли забыл). Итак, влияние Джерома К. Джерома на Иосифа А. Бродского неоспоримо. Какие же выводы можно сделать из этого открытия?

Джером, конечно, не гений. Совсем не гений. Но любой мой оппонент (да и я сам) немедленно вспомнит знаменитое:

Когда б вы знали из какого сора  
Растут стихи, не ведая стыда...

Ахматовские строчки относятся к разряду лапидарных истин. Их повторяют часто и с охотой. Из других примеров: “Рукописи не горят!”, “Всех не перевешаешь!” или “Мы, оглядываясь, видим лишь руины”...

Но рукописи все-таки горят, и хорошо горят; то, что многих еще не повесили, не гарантирует наших собственных шей; о варварах же сказано было достаточно. Точно так же, не все, что всходит на отбросах, суть цветы или стихи. Но даже если мусор рождает стих, сам стих может быть двоякого рода — плохим и хорошим. И здесь следует сказать неприятную правду: “Письма римскому другу” — плохие стихи.

Их поэтика элементарна, она в пределах пяти пальцев; метафизики в них столько же, сколько физики.

Купец помер от лихорадки — воин от старости. Такие дела!  
Лучше жить и не бояться, чем бояться и не жить. Нечем крыть!  
Блядь ни любить, ни плакать не умеет. Тонкая мысль!

Что это все?!

Это не пересказ — это действительное содержание стихов. А когда мы доходим до корней, то упираемся вообще черт знает во что — в третьестепенного писателя, в литературный забор!

Можно, конечно, допустить, что истинная развязка стиха вынесена за пределы текста, и это — исторически засвидетельствованная гибель Плиния Старшего при извержении Везувия. Но нет — вулканическое пламя не отбрасывает отблеска ни на одну строчку стихотворения.

Есть определенное достоинство в провалах поэта — они очерчивают границы его возможностей. Зная границы, мы можем оценить и сами возможности.

Возможности Бродского велики, но не беспредельны. И где-то им приходит конец. Джером К. Джером и есть такой пограничный столб. На одной стороне столба написано “Запад”, на другой — “Россия”.

К чему Бродскому торсы, варвары и Плиний? Для чего на любой площадке он разыгрывает один и тот же римский карнавал? Что это — тоска по утраченной Империи (русской) и поиски замены (США)? Но ведь о Риме он писал и в русском своем зоне... Перед нами не загадка, а безукоризненное культурное чутье, потому, что во времени европейской культуры Рим и Империя — это не античность. Это классицизм и XVII век.

В России XVII века не было. Правду сказать, и русский XVIII-й похож на своего европейского сверстника лишь номером. Понятно это стало теперь и благодаря Бродскому. Именно он, освободив русскую поэзию от ее традиционных атрибутов (проповедь, гражданственность, шовинизм), обнаружил на месте фундамента зияющую дыру.

Вершиной достижений Бродского-археолога являются, конечно, стихи “На смерть Жукова”. Но именно эта удача и должна настораживать. То, что они положены на державинского “Снигиря” не литературный прием, а необходимость. Гавриле Державину позволительно было в Петербурге мая месяца 1800 года обольщаться на предмет российско-римского подобию. 174 года спустя Бродский испытал уже абсолютную неподатливость материала. Из состояния безысходности стих вывела ирония:

Маршал! поглотит алчная Лета  
эти слова и твои прахоря...\*

А дальше?.. Что оставалось, кроме выворачивания пародии наизнанку?

Но вывернутая пародия не превращается в трагедию. Пародия это тупик. Последняя возможность — это утратить чувство юмора и меры.

Пример:

К богам земным сблизаться  
Ничуть я не ищущу,  
И больше возвышаться  
Никак я не хошущу

Души моей покою  
Желаю только я:  
Лишь будь всегда со мною  
Ты, Дашенька моя!

и еще:

Стану ныне с ним (Эротом) водиться,  
Сладко есть и пить и спать;  
Лучше, лучше мне лениться,  
Чем злодеев наживать.  
Полно быть в делах горячим,  
Буду лишь у правды гость...

Это снова Державин, "Желание" и "К самому себе". Здесь создан образ "поэта-ленивца", леность которого есть оппозиция обществу и тирану. Иными словами, "лень" — это уход поэта от общества и, следовательно, независимость от общества. Но когда Новый Поэт всерьез читает "Праздные мысли *лентяя*", путая русскую попытку классицизма с викторианской юмористикой...

За этот культурный дальтонизм Бродский не несет полной ответственности. Виновата русская судьба.

Россия окружена не железным занавесом, она обведена рвом столетий, пустым временем опоздания. И непрожитый XVII век мстит за себя в XX-ом. За провалы истории страна расплачивается культурой, за провалы культуры — историей. Гений платит по обоим счетам и не может расплатиться.

---

\* Ирония, впрочем, и здесь не окончательна, поскольку запись арготического "прохоря" ("ботинки") в виде полуфонетического "прахоря" сразу возвращает стих к траурной оде ("прах").

*Михаил Гробман*

Откроется дверь —  
Войдет их говенный Санта Клаус  
И скажет —  
— Гробман, с этого дня ты распределяешь нобелевские премии —  
Я стяну с себя засаленный лапсердак —  
Одену рубашку, галстук, черную пару —  
Пойду, сяду в кресло из черного дерева, инкрустированное  
шведской слоновой костью —  
И начну быстро, по алфавиту, пока не прогнали...  
О, Хуннади Айги!  
На щите русской поэзии ты сидишь в окружении Крученыха —  
Ты вернул свою Золотую Орду  
К стенам Москвы —  
Получи 340 тысяч долларов!  
Стась Красовицкий!  
Сними на секунду свою поповскую ризу —  
Ты наш любимый Гоголь шестидесятых —  
Стихотворец-расстрига —  
Смиренно протяни руку —  
Я вкладываю в нее 340 тысяч долларов!  
Сева Некрасов!  
Неутомимый велосипедист в будущее —  
Слава твоя достигла ушей Иерусалима —  
Гриди, окруженный учениками —  
Эти 340 тысяч долларов — для тебя, мой друг!  
Генрих Сапгир!  
Оставь бутылку, голой ногой оттолкни девушку, найденную  
у Курского вокзала —  
Ты слышишь — поют трубы в твою честь —  
Ангелы бормочут твоё имя —  
Зефиры шепчут твои стихи —  
Возьми 340 тысяч долларов!  
Игорь Холин!  
Лучший из лучших —  
Тень Евгения Кропивницкого осеняет тебя лавровым венком —

Неутомимый пловец —  
Волны забвения никогда не сомкнутся над твоей головой —  
Положи эти 340 тысяч долларов в свой внутренний карман!  
Я закрываю свое первое заседание.  
С сознанием исполненного долга развязываю галстук —  
Одеваю лапсердак —  
Тихо иду в районную синагогу по зимним улицам Тель-Авива —  
Субтропические цветы овевают меня нежными ароматами —  
Райская птица садится на мое плечо.

*Зеев Бар-Селла — лингвист по образованию, литературовед, автор многочисленных статей о русской литературе (в том числе о поэзии Бродского), опубликованных в "22"; а также — совместно с М. Каганской — книги "Мастер Гамбс и Маргарита". Живет и работает в Иерусалиме.*

*Михил Гробман — поэт и художник, организатор художественного направления "Левиафан", коллекционер, знаток и пропагандист русской неофициальной поэзии и живописи; его иронические стихи публиковались в ряде русскоязычных зарубежных изданий, в том числе "22"; живет в Тель-Авиве.*

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" (повести и рассказы)

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

*... Я жил тогда в Одессе...*

*П.*

*Встречающий в дороге  
    полнолуние,  
Я был, как неожиданностью,  
    встречен  
Звездой, избравшей то  
    шалунью,  
То диссидентку, то объект  
    для сплетен...*

Однажды, когда я отмахал по городу километр-другой, а впереди было, самое меньшее, столько же, вдобавок, голова работала весело и рассеянно, мне, — право, забавно, — вот что пришло в голову. Идет он по городу, останавливается перед перекрестком. Я краснею и говорю: "Иосиф Александрович, скажите пожалуйста, только нисколько не размышляя, к чему это я напоминаю вам такие

*...И для чего признание,  
Когда бесповоротно  
Мое существованье  
Тобю решено? —*

строчки?" Честное слово, не знаю, что он ответит, особенно если его голова заработает весело и рассеянно. "Раз так, — скажу я или подумаю, еще не решил, — вот что, — не совсем на пустом месте появилось следующее вот:

*Как жаль, что то, чем стало  
    для меня*

*Давид Юст*

**СОНЕТ**

твое существование, не стало  
мое существование для тебя.

В который раз на старом пустыре  
я опускаю в проволочный космос  
свой медный грош, увенчанный гербом,  
в бессмысленной попытке возвеличить  
момент соединения. Увы,  
тому, кто не умеет заменить  
собой весь мир, обычно остается  
крутить щербатый телефонный диск  
как стол на спиритическом сеансе,  
покуда призрак не ответит эхом  
последним воплям зуммера в ночи.

О чем спорить? Вольно или невольно, но сим осажён замечательный юношеский опус Мандельштама. Витиеватое введение, разумеется, чтобы скрыть смущение. А суть в том, что если бы меня попросили указать самое важное стихотворение, ну, за последние двадцать пять лет, я сюда бы и указал. И не смейтесь — вот какую роль — только в чем? — в моей жизни, не меньше, оно сыграло. Как иначе это назвать?

Году в 1975-м, а может, и в 1976-м — грустная эта неопределенность давно мешает мне существовать, — когда я доучивался в институте, пописывал себе, слегка диссидентствовал, о, только слегка, а главное, моя незабвенная возлюбленная во второй раз меня оставила, а сочинял я, от огорчения, почти исключительно стихи, — как сейчас помню, пасмурным осенним утром, прогуливаясь по аудитории, я обнаружил на соседнем столе обыкновенный тетрадный листок, а на нем крупными буквами, сверху — “Сонет”, И. Бродский, — и далее означенные четырнадцать строчек. Я подошел, взял листок в руки. Вздохнул, прочитал, закружилась голова. Я сообразил их переписать, в процессе выучил, да так, что и теперь воспроизвожу по памяти. Оттого-то и не могу поручиться за строгое соответствие оригиналу — кто знает, откуда сей сонет был переписан и сколько раз. Сомнений в авторстве точно не возникло. Такое перепутать невозможно. Настоящая драгоценность, да нет, чистый кислород!

Знаете, тот, кто полагает, что вываривает нечто серьезное в котелке и в сердечной сумке, согласится — никак не меньше, чем утешительный настой, обезболивающее средство, более, чем совет, слава Богу, не рецепт, хлеще — признание соучастника, да какого... Про него просто так и не подумаешь, — и разве он

вообще человек — да он какой-нибудь Аристофан или Пушкин, поскольку имя от него давно уже отделилось и гуляет само по себе. “Тому, кто не умеет заменить...” — и откуда ему это знать, если не из личного опыта, — “обычно остается...”

Кто перенес грустную травму, как мы все в те времена, у кого фатально ничего не вышло из особенной, ужасно непохожей на правду романтической истории, которой потом судьба полжизни вдохновлять, кто и не собирается заблуждаться на этот счет, да и вообще по доброй воле, кто некоторым образом лишенец, полный планов, веры и обманутых надежд, и знает, что некоторые виды сердечной деятельности отныне в его исполнении ущербны, — и вообще, когда все кончилось после двух туров трудного романа и потом только и осталось, что завоевывать мир — полагаю, с благодарностью, как слепой — Бройлеву азбуку, воспримет изобретения и усовершенствования Бродского, как то следует — со слезами на глазах. Я вот тоже прослезился — ну, и хватит о первом знакомстве.

Господа! Я жил тогда в Чертанове! Знаете ли вы, что такое Чертаново? Много в этом слове, но надо еще уметь объяснить. Тому, кто не умеет заменить собой весь мир, в Чертанове очень трудно существовать, только и остается — причем, заметим, выдерживаются натуралистические подробности, — щербатый телефонный диск на пустыре. Как ни странно! — хотя в некоторых иных контекстах выбирают пулю, водку или монастырь, но это боюсь, в отсталых обществах и странах. Где поэзия уже лет семьдесят как отмерла. Советская Россия, произросшая между двух огней, — материальной убогостью и лучшей в мире системой образования и щедрейшим отношением к культуре, — поднялась на недостижимую высоту, с которой представляются значительными порядок слов в редакционном фельетоне и плавное движение руки, что уж говорить о телефонном звонке! Он может заменить собой всю традиционную достоевщину. Да, я жил в Чертанове, а он в Ленинграде, и как тут не сказать, что у меня тоже не было телефона. Почему тоже? Да вот кажется мне, что и у него не было, и хотя вообще-то я представления не имею, каковы были его ленинградские обстоятельства, тем более, этак, году в шестьдесят четвертом, но боюсь, что сходны, иначе не докатился бы он до столь пленительного натурализма. Сей сонет был предназначен для моих ушей. К сожалению, оценить его может только тот, кто чуть не все свои молодые годы делил штук пять телефонов-

автоматов (ТА), из которых два обыкновенно неисправны, а один, наоборот ж, если пользоваться им с умом, в конце беседы возвращает подателю двухкопеечные монеты — мы-то знаем, что плата за разговор не менялась ~~д~~ тридцать лет, стало быть, не было надобности изобретать специальные жетоны — с примерно десятью тысячами столь же обездоленных обитателей соседних домов, так что в вечерние, самые необходимые, к несчастью, самые располагающие часы, к телефону можно подбраться, только отстояв часовую очередь и выкурив из кабинки непосредственного предшественника, — ну, а следующий будет торопить тебя самого. В те времена было принято хаживать, когда потихоньку, а когда рысью, смотря по погоде, от одного телефона к другому. Как правило, они отстояли друг от друга на полкилометра — да, два, в среднем, на километр, обуви не напасешься, ходить приходилось по пустырям, хлюпая снегом или мокрой желтой глиной, беседуя с попутчиком, — он, как правило, находился — стоило только намекнуть, что “там”, в километре у тебя очередь подходит — пока она и в самом деле не подойдет. Тогда с дрожью в коленках совершаешь еще одну попытку, но номер обыкновенно занят, может, всего только подстанция занята, а на другом конце провода сидят и изо всех сил ждут — но какая разница? — опять уступаешь место и бредешь дальше, долго, пока где-то за полночь не освобождаются все ТА сразу, и можно наговориться всласть. Всего-ничего две копейки, время не ограничено даже теоретически. Кажется, все лирические и иные истории моей молодости произросли из телефонных будок или хотя бы на их фоне — ибо домашним телефоном я обзавелся лишь после женитьбы, — а в былые времена, если в соседней будке звучали нежные речи, я немедленно начинал сгорать от ревности — поди знай, кто с той стороны! Однако ж, в 1975-м и даже в 1976 году я был холост, переживал из-за пустяков и жил в чертановском захолустье, откуда путешествие в Центр представлялось подвигом, а телефон — как раз тем, чем ни в коем случае не являлся — роскошью или, по желанию, птичьим молоком.

Все это так — но мне отчасти не по себе, ибо столь беглая зарисовка суть лишь блик, отрывка фонарика, позволяющая, быть может, опознать знакомый предмет на полужнакомом фоне, и хорошо мне будить воспоминания, которые при мне и останутся, но я никому не советую смотреться вместо зеркала в блик,

не познав предварительно самого себя, — и потом, что поймет, вернее, что усмотрит читатель, никогда не живший а) в протараканенном доме, б) без автомобиля, телефона и ливрейного лакея? — Или все это только эпизоды из древней истории, — тем более, что к 2000-му году каждая советская семья, наверное, будет иметь отдельную квартиру. Романтическое бытописание? Да нет, было дело. Просто идет время. В моей бывшей квартире уже четыре года стоит телефон, всего двенадцать лет спустя, из которых на мою долю пришлось шесть. В те времена в Чертанове жило вдвое меньше народу, но район меньше не был, и его ближайшая к Центру точка представлялась мне почти прикасающейся к Кремлевской стене. Только когда за нашим домом выросли жилые корпуса, и мы перестали быть последними в городе, и кто-то устроился дальше нас и хуже нас, я понял, до чего ядовит жилищный вопрос.

С него, как тонко отметил Булгаков, все и началось. Вернее, с его необычайно поэтичного социалистического варианта. Даже если бы поэту пришлось ночевать под мостом в самой отсталой и скученной империалистической столице, такого рода сонет не был бы написан. Увы. Россия — единственная в мире страна, где можно жить в конуре, не роняя собственного достоинства. К тому же, литераторы и прочие бедняги чересчур высоко поднялись там по социальной лестнице. Поэт в России больше, чем поэт. К тому же, даже в самые худшие годы, как всем нам известно, жилье в Москве вовсе не было дорого. Оно было даже, напротив, дешево, при этом, разумеется, совершенно недоступно, но это дела не меняет — его настолько не было, что практически искателям его не помогали ни накопления, ни злоупотребления.

В таких и сходных делах почти везде опираются на логику, право и опыт — суррогат настоящего знания, — а не на соображения о социальной справедливости. Это и хорошо, и плохо. Прежде всего, это душит поэзию на корню. Затем, это превосходно — с точки зрения тех, к кому судьба социально справедлива. Остальные полагают иначе, — и небезосновательно. В Амстердаме никто не живет в коммунальных квартирах. В Москве никто не живет на улице. Может, просто боятся милиции, но какая разница? В Москве пренебрегают логикой и свободой выбора, зато справедливость обязательно торжествует. Правда, запаздывает. От этого хорошо только тем, кто пишет диссертацию на факультете всеобщего счастья МГПИ имени Ленина. Плохо, одинаково

плохо, — хотя, как известно, все несчастные несчастны по-своему, — врет классик — от этого тем, на кого социальная справедливость распространилась. То есть практически всем, ибо не подпадают под нее только те, кто в ее услугах никак не нуждается. Но у них обязательно есть телефон. А вот обладатели новых квартир почти наверняка оказываются в поэтической прострации, в мире грез и трансцендентных коммуникаций.

Призадумаемся. В Копенгагене есть коммерческое и муниципальное жилье. Последнее предназначено для малосостоятельных датских жителей. По существу, королевство предоставляет им почти дармовую квартиру. Очевидно, что принцу Датскому ее в жизни не получить. Однако же, когда город принимается строить дома, — а это при ихнем бюджете дело нелегкое — ему и в голову не приходит, что их следует возводить в принципиальном отрыве от аптечной или телефонной сети, попросту, что их будущим жильцам не следует и мечтать о троне. В принципе — в потенции — жилец муниципального дома ничем не лучше внучатого племянника королевы, разве что временно беднее. Даже знатность — не основание для ущемления в правах, — но из этого не следует, что он должен быть ему равен в самый момент вселения в квартиру, так что ежели одному никак невозможно поставить телефон, то у другого его следует немедленно отнять и поставить на очередь. Напротив, в датском варианте такое равенство\* немедленно поставило бы под вопрос самое право бедняка на квартиру. Однако же, ничто, кроме злой судьбы не мешает ему завтра же поправить свои дела и, конечно, устроиться соответственно. В Чертанове же, кажется, раз и навсегда решили, что предпочтительнее, чтобы у всех были одни и те же проблемы, а не перспективы, оттого телефон там до поры до времени можно было приобрести только за взятку — или ни за какие деньги. Что телефон!\*\* Даже самый обыкновенный автобус (№ 222) останавливался поначалу примерно километрах в полутора от моего дома — дальше сле-

---

\* *Может быть, "равенство", см. "Египетские ночи" Пушкина:*

*"...хочу равенство*

*Меж мной и вас установить..."*

\*\* *Что телефон! О. Бальзак отметил с горечью, что чтобы спасти человека от гильотины в известные времена, достаточно было преподнести сахарную голову домашней хозяйке Робеспьера. Сам Неподкупный был, как известно, неподкупен — оставшееся после него имущество можно было продать разве что на сувениры.*

довало идти пешком, безразлично, с сумкой или на костяной ноге. Конечно, тут-то и начались поздние, почти ночные прогулки между домами-великанами, иногда с приятелем, обуреваемым желанием дозвониться до своей возлюбленной, ну, и вполне соответствующие разговоры. Откровенно говоря, в моем нынешнем доме тоже нет телефона, но почему-то это обстоятельство меня не смущает и не вдохновляет, к автомату я не бегаю. Ежели очень надо, звоню от соседа — тут, видимо, и зарыта собака, не ходят в Москве к соседям, да и толку чуть — у них телефона тоже нет. Разве что не предупредишь, что опаздываешь к ужину. Тому, кто не умеет заменить собой весь мир — ему и достается неземное удовольствие крутить щербатый телефонный диск, умирая от волнения. А тем, кто научился, скажем откровенно, и телефон не нужен — некому звонить, особенно по вечерам.

К моему персональному сожалению, И. Бродского еще в начале 70-х годов выпроводили туда, где компания "Белл" подняла на недостижимую высоту конвенциональные средства связи. Я был тогда еще слишком юн. Однако же, всего пару-тройку лет спустя, живо войдя в возраст, я осознал, какая это потеря и повсюду начал наткаться на его следы. Их не надо было искать — стихи не властны над отпечатками львиных лап. Я находил их в самых разных местах, и каждый раз мне становилось как-то не по себе, и я начинал проклинать свое невезение. "Покуда призрак не ответит эхом последним воплям зуммера в ночи". Давайте поговорим о призраке.

Скажите, в чем принципиальное отличие советских ТА от зарубежных? Вернее, в чем они их превосходят? Лучше по порядку? Разумеется, они предназначены исключительно для местных разговоров, а не для звонков там в другие города и страны. Ну и что? Зато на одну монетку, и какую — 2 копейки — в России можно разговаривать хоть всю ночь. Не могу я, допустим, позвонить из Москвы в Ленинград, но разве так уж наверняка у меня там дела? И еще. В Петербург я вообще не могу позвонить ни по какому конвенциональному телефону. О, есть и правда достойное отличие, проливающее свет на государственное устройство, социальный порядок, просто напрашивающееся на психоаналитический разбор. Боюсь, если бы Советский Союз адаптировал всего только иностранные ТА, быть бы ему другим государством и, страшно подумать, как много всего могло бы

не состояться! Недаром в былые времена там так осторожничали с импортом. Так вот, — с этого можно было бы начать, но разве ж так делают? И неубедительно бы получилось! — во всем мире ТА являются обыкновенным средством коммуникации, потому двусторонним, почему нет? — а в СССР, увы, нет, по-просту, из советского ТА, ежели он исправен, можно звонить, но в него никоим образом позвонить нельзя! Удивительное, просто гениальное изобретение! Мрачное и завораживающее, ведь, по правде говоря, проще переоборудовать обычный телефон так, чтобы он работал за наличный расчет, чем выдумать это экзотическое чудовище — только для односторонних контактов. Странно — ан нет, если мы вспомним, как воплощается в Чертанове социальная справедливость. По справедливости — что это были бы за звонки — в Чертановскую глушь, в каменные джунгли или на пустырь — кто вообще услышит, если только не явится к автомату заранее, а если и явится, какой смысл звонить, он все равно либо занят, либо неисправен. Вот если бы поговорить с Парижем, да за чужой счет — но в местной беседе все равно, кому платить. Две копейки — вот в чем беда! Не то, что у нас: “Алло! Говорю из автомата, запиши номер и перезвони”. Прямая экономия. Я видел в одном французском фильме, как это звонят из частной квартиры в Париже прямо в ТА, стоящий на дорожном перекрестке в пустыне Сахара, и единственная забота у героини — снимет ли трубку. Нам не дано так лихо преодолевать пространство, а все-таки, если ТА стоит у самого окна и тренькает громко, то, в принципе, не надо домашнего телефона, не были бы только потенциальные собеседники слишком нетерпеливы.

Мало того, что советский ТА будит воображение. Реальность вечно издевается над причинно-следственной связью — а тем паче наша фантазия. Дано — великий поэт не имеет домашнего телефона. Где-то между большими домами стоит телефонная будка и, конечно, подход к ней незаасфальтирован, а то какой же это пустырь? Звонить сколько-то комфортабельно — я про уединение, которое и есть настоящий комфорт, а не про перегоревшую лампочку и разбитое стекло в двери, так что ветер дует и снег набивается, — так вот, звонить без помех, чтобы никто не рвал из рук трубку, можно только, когда город угомонится. Спрашивается, — кто у нас призрак?

Знаете, в молодости я и не подозревал, что может быть ина-

че — иные магазины, иные ТА — их свойства — пустота и односторонность — представлялись мне естественными и общечеловеческими. Не думаю, что И. Бродский всерьез конфликтовал с прозаической прозой — тогда его звали бы Ж. Ж. Руссо. А вообще, все это лишнее — цитата сама за себя говорит. "Тому, кто не умеет заменить собой весь мир... остается... крутить... покуда призрак не ответит..." и т. д. Не просто так приходит призрак, а, как статуя командора в пятом акте, чтобы взять нас в руки, и в схватке с ним мы и терпим поражение, не иначе, гибнем от некоммуникабельности — не умеем заменить, втюрились, не успев обзавестись домашним телефоном, да еще не способны досидеть дома до завтрашнего утра — еще посмотрим, что это, наказание или милость, наш призрак, но грех налицо. По слабости душевной, мужской, человеческой, даже если ты великий поэт и уже вошел в историю, раз не обуздал — ничто не поможет, крутишь, все равно личные дела нейдут, всю ночь напролет, пока вот призрак... Неужели?

Если уж гений без него не может, куда нам, да и в этом деле все равны и одинаковы. Не в том особенность, беда или особенное счастье чертановского жителя, что он не может куда хочет позвонить — а положи руку на сердце, кто из нас может? Собственной жене? А если птичка сядет на телефонный провод? — А если нет дома? Или разговаривать не хочет? В этом плане его положение лишенца лишь выпячивает нашу общую беду. С медицинской точки зрения это очередная болезнь нашего времени, вроде ЭИДС, естественная и актуальная, и бороться с ней мы умеем только по Бродскому, сочетая профилактику с укрепляющей тело фармакологией — но это все. "Тому, кто не умеет заменить..." — у него проблема, беда — позвонить, — сто лет назад с небольшим хвостиком не было никакого телефона, никакой возможности связаться немедленно, в случае чего писали письмо и потом пару дней спали спокойно, разве что решали вернуть с полдороги. Что такое некоммуникабельность — мог бы быть контакт, а не выходит — не было беды, что беды, — сочиняли даже романы в письмах, самые настоящие, классические, с действием, да так и жили, в рваном ритме переписки, помноженном на скорость почтовой кареты. Никакой ЭИДС не появился бы, ну хоть на горизонте, или не был бы опознан и выделен, а это почти то же самое, пока мы не сообразили, что вирус — это не совсем микроб, а микроб — не всегда продукт сгла-

за, и что кое-какие болезни неплохо передаются по наследству, знаете, через гены. Да и слова такого не было. Тому, кто не умеет заменить... Сажу дома, пью чай, весь на иголках. Жду звонка. Время идет. Наконец, звонит, прорезался. Лениво, чтобы скрыть нетерпение, поднимаю трубку. Сердце так и екает. Оказывается, зря. Ошибка. Извиняюсь, вполне искренне и автоматически, чем изрядно смущаю невидимого собеседника, ворвавшегося, хоть и по ошибке, а неурочный час — но и у него так бывает. Опять. Теперь школьный приятель, от которого не знаешь, как отделаться. Наконец, отделаешься, сидишь, ждешь и жалеешь, что невежливо обошелся — все равно не звонит.

И в чертановскую эпоху все было по-другому. Я как-то раз просидел, правда, не на пустыре, а на Курском вокзале шесть с половиной часов, пытаюсь дозвониться до женщины, на которой собирался жениться, ушлявшейся, разумеется, с нечистыми намерениями, — при этом держа в руках не что иное, как “Опасные связи”. Каждые полчаса — так я решил, но как трудно было выдержать! — я поднимался и с дрожью в коленках, потом с омерзением звонил, всего тринадцать раз, итого двадцать шесть копеек, и каждый раз получал от ее отца вежливое “ее нет дома”, разумеется, он меня узнавал, — пока я не стал сам себе противен. Тогда я сел в метро и поехал домой — с таким-то опытом не зная, чего мне в точности не хватало — ах, если бы мне кто-нибудь позвонил и хоть отчасти утешил... Но нет. “Тому, кто не умеет заменить... остается... крутить... куда призрак...” Призрак, кто же еще, раз смертному не дано, с тобой свяжется по этому ни на что не годному ТА, назовет по имени и утешит — сам, хоть ты не только монетку не опустил, но и к циферблату не прикоснулся. Попросту, предел мечтаний, пока ходишь вокруг или просто ждешь — что позовут к телефону.

Это пришло мне в голову наверняка весной 1977 года. Я доделывал диплом, размышлял о возвышенном и вовсе уже не собирался жениться, а главное, много крутился в районе Белорусского вокзала и около Новослободской, на периферии московского центра. У меня было там все свое. Даже место, где я покупал двадцатидвухкопеечное эскимо, особенно вкусное зимой, когда морозец его утрамбовывал, нет, ранней весной, и оттуда же звонил, когда было куда — ну, и тогда-то и подумал, что если Дон-Жуан приглашает призрак, он же ревнивый покойник, к столу, а княгиня де Кадиньян, если верить, опять-таки, Бальза-

ку, — в постель, да еще с большим успехом, то почему бы мне не пригласить его к телефону? Дело за антуражем, но это, как правило, поправимо. Автоматы на Новослободской, разумеется, не подходили — их, во-первых, было слишком много, плохо, пропадает праздничное настроение, я давно уже решил, что должно быть всего два, один без трубки или с торчащими наружу проводами, но чтобы кабинка была в целости, — а кроме того, я редко бывал там поздно вечером. Родные мои чертановские автоматы тоже не подходили, оттого, наверное, что подходили чересчур, оттого, что с них я и срисовал картинку, слишком уж это было похоже на ад — тысячи грешных душ на одну кабинку, гиганты-дома, жуткая грязь, слякоть, кажется, даже в сухое время года, недаром там когда-то протекала река, ну и какая-то тоскливая, как у Кафки, узаконенная бедность, и что мои чудесные гулянья по ночам — непонятная, неправдоподобная причуда, — до того невозможно было это Чертаново любить. Словом, не годились — не в ад он должен звонить, а в чистилище. Наученный горьким опытом, я полагал, что призрак информирован не хуже, чем секретная полиция в известном анекдоте — знаете, звонит один такой в КГБ, говорит “Ку-ку”, выходит из ТА, а ему руку на плечо — и должен быть в курсе того, откуда я говорю и в каком настроении — а тут уж и дозвониться пара пустяков. И даже если звонок будет и на самом деле оттуда, это не беда, лишь бы меня звали по имени, а сами не назывались. Словом, и от них может быть прок. Для всего этого я облюбывал местечко на улице Юных ленинцев, ужасно достойное название, это вот что такое — выходишь из метро “Волгоградский проспект” на этот самый проспект, где-то на уровне примерно дома № 90, и идешь дальше, спиной к центру, в сторону Кузьминок, этак минут пять-семь, и где-то между номерами 112-м и 114-м ныряешь между домами направо, бредешь по дорожкам, по газонам, по просторным, окаймленным кустами желтым пустырям. Ума не приложу, где там упомянутая улица, никогда ее не видел, но мне-то нужен был один-единственный двенадцатиэтажный дом, № 66, числившийся по ней, и к нему я без фокусов выходил, быстро, в гуще мелкоэтажного квартала, да-да, зову я смерть, мне видеть невтерпеж достоинство, что просит подаяние, № 66, знаменитый дом, там на четвертом этаже жила Ида Нудель, ну, и еще полтора месяца спустя после ареста в окне ее квартиры, выходявшем в палисадник, так что я по сию пору не понимаю,

кому это могло помешать, можно было разглядеть шестиконечную звезду, но только тогда я не знал, кто она такая, а посещал обитавшего на шесть этажей выше ныне покойного деда моего приятеля, и кого только я у него не встречал — интересный был человек, одна только подробность, — этак году в пятнадцатом он эмигрировал в САСШ, обучался там в университете, а в девятнадцатом, разумеется, вернулся, поскольку начались лучшие времена, а в тридцать седьмом сморозил, что, насколько ему помнится, некто Троцкий упоминался, хоть и не к добру, в предпоследнем издании "Истории ВКП(б)", после чего отсидел восемнадцать лет как уличенный троцкист, так и не потеряв бодрости духа — так вот, это место понравилось мне более других. Во-первых, оно было хоть и не Кремль, все не чертановские трущобы, а во-вторых — только не поймите превратно — там у всех были телефоны. У всех, но не у меня, стало быть, из тамошних завсегдатаев я был едва ли не самый обделенный, а все-таки дышал чистым воздухом и не протягивал руки — ну, а прежде всего я проникся топографией. Меня убил Волгоградский проспект. Необычайной ширины, с обоих боков — шестнадцатизэтажные башни, на приличном расстоянии друг от друга, а между ними, как молодая поросль, старые пятиэтажные корпуса — и главное, все это вечно в заборах и строительных лесах, стройплощадки изрядно выпирают на проезжую часть, а тротуар заглатывают вовсе без остатка, но весь проспект занять невозможно, так он широк, и машины сигналият, но едут, — сколько мне помнится, так было всегда, ручаюсь за десять лет подряд, нескончаемая, непреходящая стройка, то ли они не кончали то, что начинали, то ли наоборот. Далее — загадочные кварталчики справа, где я шнырял, без улиц, без переулков, просто дома и чахлые газоны, на приличную глубину, но нешумные и почище чертановских. И наконец, очень подходящий пустырь. Я очень любил осень, особенно октябрь, когда все желто и красно, земля почти суха, а воздух по вечерам начинен мелкотравчатой дробленой влагой, и ступаешь по крошащейся глиняной корке, словом, очень, — и еще ТА в чистенькой красно-желтой кабинке. Повторяю, задумал я все это весной, наступила осень, пришел октябрь, я поступил на работу, времени было хоть завались, жизнь очень уж упорядочилась, самое оно если не завести, то сочинить роман. Заняло это два с половиной месяца, до сих пор приятно и странно вспомнить, получилось "Солнце", "как жаль, что тем, чем стало для

меня..." этакая штука, в которой больше правды, чем неправды, если правда то, чему учит нас М. Каганская, то есть что литература — это о литературе, а я уж рискну добавить, что это еще надо посмотреть, где там об искусстве, а где — о действительности, вот Бродский И. А. — искусство или действительность? Ну, как же не действительность, покуда жив! А главное, в сих загадочных местах и правда изрядно и увлеченно занимаются любовью (а хоть бы и неправда! Раз написал, значит будут! Прочтут...), а со мной два или три раза связывается призрак, и еще поди пойми, кто он такой — но после этого я уже не один на свете.

В те времена я даже не пытался роман издать — кто стал бы связываться с апологией бродскизма. Может, это и ничего, но надо быть страусом, чтобы зарыть такой опыт, и вскоре уже не с Бродским, а со мной самим приключилась телефонная история, еще хлеще, еще чище, и был написан еще один роман, на сей раз это заняло три или четыре года, и там я уже не мог не процитировать и все рассказал, как есть, только это заняло всего-то страниц двадцать в середине дословно. Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, так и не стало мое существование для тебя.

Н. В. Свидетели Небеса и глубокоуважаемый господин редактор, я не только задумал и написал сию статейку примерно за месяц-неделю до того, как шведы присудили И. Бродскому свою премию, но и успел доложить об этом в редакцию. Не помню, чтобы я так радовался чужой премии, — в кои-то веки ее получил гений, а, по ощущениям, мне чуть не родственник — но как ни крути, опус-то не может рассматриваться теперь иначе как грубый подхалимаж, в то время как раньше звучал, допустим, как резкая критика. Что мне теперь остается? Только напомнить, что все мы по меньшей мере дважды в неделю клянемся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Добавить опущенное по неведомым, нет, ведомым, серьезным причинам — всю правду? I do.

*Дэвид Юст — псевдоним писателя и публициста, активного участника еврейского движения в СССР; его рассказы и статьи публиковались в "22"; в Израиле с 1986 года, живет в Иерусалиме.*

Михаил Вартбург

### МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИЯХ, ВЕКА В ХАОСЕ

*Замысел этого очерка родился при чтении рукописи профессора Ионы Дегена, посвященной тому же герою. Эта объемистая (свыше 400 страниц) рукопись подробно рассказывает о его удивительной жизни, поразительных идеях и трагических преследованиях. К сожалению, объем и цельность работы профессора Дегена не позволяли выбрать из нее хотя бы отдельные главы для журнальной публикации. Тогда-то мое давнее увлечение тем же героем, подстегнутое размышлениями, навеянными рукописью, кристаллизовалось в решении написать о нем этот скромный журнальный очерк. Он ни в коем случае не конкурирует с работой профессора Дегена, не дополняет, но и не повторяет ее: мы по-разному смотрим на нашего героя и его идеи. Я надеюсь, что когда книга профессора Дегена будет опубликована, эти различия (в отсюда и независимость) наших работ станут очевидными.*

М. В.

#### Постановка задачи. Дано:

"...Иошуа воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне ...и сказал перед израильтянами:

Стой, солнце, над Гаваоном,  
и луна, над долиной Айялонскою!  
И остано вилось солнце, и луна  
стояла,  
доколе народ мстил врагам своим.

Не это ли написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день"?..

И не было такого дня ни после, ни прежде, в который Господь (так) слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля". (Иисус Навин 10:1–15.)

Требуется: дать естественно-научное объяснение этому библейскому рассказу об остановке Солнца и показать, что такое объяснение не совместимо с известными законами природы.

**Захватывающее вступление.** Речь пойдет о грандиозной попытке заново перечитать Библию. Попытке, которая привела к построению теории, переворачивающей все наши привычные представления об эволюции Солнечной системы и истории человечества. Эта те-

ория утверждает, что уже на памяти людей происходили космического масштаба катастрофы и столкновения планетарных миров. Земля, Венера, Марс не вращались по знакомым нам орбитам спокон веков, и облик их пережил многократные изменения в результате чудовищных соприкосновений. Человечество переживало катаклизмы, которые приводили его на край гибели. Его история прерывалась гигантскими катастрофами, завершавшими один период и начинавшими другой. Менялись календари и даты, хронология и названия. Вся принятая датировка и последовательность исторических событий основана на ошибочных представлениях. Многие знаменитые битвы древности в действительности никогда не происходили, прославленные правители не всходили на трон, великие империи были призраками. Знаменитые люди, которых мы считали современниками, жили в разные века, а другие, разделенные столетиями, на самом деле были современниками. Ошибались древние историки, и правы были древние священные книги: моря действительно расступались перед людьми и Солнце действительно стояло над долиной Аяялона — только не по велению Моисея и Иошуа, а в соответствии с законами физики и других естественных наук.

Кто в это поверит? Естественно, вокруг этой грандиозной по замаху теории до сих пор кипят споры и страсти. Одни превозносят ее автора как гениального энциклопедиста наших времен, в одиночку предпринявшего титанический труд пересмотра всей прежней научной картины мира; другие считают его всего лишь одним из многих в длинной череде знаменитых "псевдоученых" — создателей вечного двигателя, теории "полной Земли" и "космического льда". Одни с восторгом говорят о революционере, бросившем вызов окостеневшему научному истеблишменту; другие с горечью говорят о зловещей роли этого человека в разжигании ненависти невежественного мракобесия к науке и разуму. Ученые избегают говорить о поразительных совпадениях его предсказаний с открытиями, совершенными десятки лет спустя; поклонники видят в этих открытиях подтверждение его изначальной правоты. Споры не затихают и сегодня, через много лет после его смерти. Между тем написанные им книги продолжают выходить миллионами экземпляров, количество их переизданий на всех языках мира исчисляется сотнями тиражей, а имя их автора остается на устах сотен тысяч людей, увлеченных созданной им

грандиозной и поражающей воображение эпопеей "миров в столкновениях, веков в хаосе"...

**"Железная маска", или историческая несправедливость.** Нет, не напрягайте память — вы не знаете этого человека. Вы никогда не слышали его имени. Вы не читали ни одной из его книг. О нем ничего не писали в России и почти ничего — в Израиле. Я сознательно выделяю именно Россию и Израиль, потому что он принадлежал, прежде всего, именно этим странам — первой по рождению, второму — по выбору. Его старшие братья остались в России, племянница погибла в обороне Москвы, отец и мать похоронены в Израиле, а дочь и сейчас живет здесь. Его разговорными языками до самой смерти оставались русский и иврит. И при всем том он меньше всего известен именно тем, кто читает на этих языках. Он из тех пророков (ибо многие считают его пророком), которых нет в своем отечестве. Поэтому простая справедливость требует прежде всего воскресить в этом отечестве хотя бы его имя. Познакомьтесь — Иммануил Великовский.

**Несуществующая энциклопедическая справка.** Великовский, Иммануил; родился в 1895 году, в Витебске, в богатой еврейской купеческой семье; в начале века отец, Шимон Великовский, переехал в Москву, где вскоре выбился в купцы первой гильдии и стал одним из ведущих русских сионистов. В. унаследовал от отца деловые способности и сионистские увлечения; на последнем курсе Московского университета, готовясь стать врачом, написал брошюру, призывавшую русских евреев вернуться на историческую родину, чтобы строить там "новую цивилизацию". Прерванное революцией и гражданской войной образование В. завершил в 1921 году, когда семья уже находилась в Палестине. В том же году, оставив в России старших братьев, "выбравших революцию", выехал в Европу, в Берлин, где в течение двух последующих лет занимался изданием международного научного журнала "Скрипта", предназначенного помочь созданию Еврейского университета в Иерусалиме; сумел привлечь к участию в журнале Эйнштейна, Бора, Адамара, Леви-Чивиту, Ландау, Френкеля. С 1923 года В. вместе с женой Элишевой — в Палестине: практикующий врач-психоаналитик в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве; автор нескольких теоретических работ по психоанализу, опубликованных в европейских научных журналах. С 1939 по 1979 год

В. живет в США (Нью-Йорк, Принстон); обозреватель ближневосточных и израильских проблем в американской печати, университетский лектор; с 1950 года — автор ряда книг, в которых изложена разработанная им оригинальная историко-космическая теория, и многочисленных полемических статей в ее защиту; приобрел всемирную известность после подтверждения ряда высказанных в этих книгах предсказаний новейшими астрономическими исследованиями; подвергся сначала замалчиванию, а затем уничтожающей критике со стороны американской и международной научной общественности. Умер в 1979 году в Принстоне. “Блестящий ученый” (свидетельство президента Венского психоаналитического общества доктора Федерна); “человек энциклопедической эрудиции” (отзыв многолетнего знакомого и соседа по Принстону Альберта Эйнштейна); “поразительный по увлекательности литературный талант” (мнение принципиального недруга, крупнейшего американского писателя-фантаста Айзека Азимова); “удивительно приятная личность” (высказывание многолетнего и заклятого врага, крупнейшего американского астронома профессора Харлоу Шелли); “невежественный дилетант” (заключение известного американского астронома и популяризатора Карла Сагана); “сознательный шарлатан” (из письма крупнейшего современного геолога Гарольда Юри). Основные труды: “Миры в столкновениях” (1950); “Земля в конвульсиях” (1955); “Века в хаосе” (1952); “Человечество в амнезии” (1982); “Рамзес Второй и его время” (1978); “Эдип и Эхнатон” (1960); “Люди моря” (1977); о нем — см. “Ученые против Великовского” (материалы конференции Американской научной ассоциации, 1977).

Человек и его судьба. Биография Великовского — из тех которые ничего не объясняют. Каким образом преуспевающий врач-психоаналитик пришел к занятиям космогонией и древней историей? Что толкнуло профессионального ученого увлечься Библией и поверить каждому ее слову? Как, наконец, он пришел к своей “безумной” идее? Ибо основная идея Великовского, независимо от ее научной состоятельности, несомненно относится к разряду тех, которые Нильс Бор некогда окрестил “безумными” — в высшем смысле этого слова. Не случайно тот же Азимов честно признавал, что Великовский “ближе всех других “еретиков” подошел к тому, чтобы поколебать основы всей нашей науки...”

Слово "еретик" настораживает. В воображении возникает устойчивое клише: фанатичный упрямец с безумным блеском в глазах. Вы ищете его в толпе — и находите: вот он, желчный, нервный, нетерпеливый, худой, разговаривает возле лестницы с каким-то очаровательным пожилым джентльменом, очень похожим на мистера Пикквика. Познакомьтесь: доктор Великовский. Нет-нет, вы перепутали: не тот худой и желчный безумец, а именно этот милый седовласый джентльмен и есть доктор Великовский из Тель-Авива. Если существует зримая противоположность стереотипу "фанатика", то это он.

Личное обаяние Великовского признавали даже враги. Его энциклопедические познания в истории, филологии, физике, астрономии нашли отражение в многочисленных книгах и статьях. Его яркий литературный талант засвидетельствован — еще прежде этих книг — публицистическими статьями в защиту Израиля, регулярно публиковавшимися в конце сороковых годов в газете "Нью-Йорк пост". Блеск и полемическое остроумие его речи подтверждены необычайной популярностью его университетских лекций в студенческих кругах. Широта интересов, простиравшихся от западной музыки и русской поэзии до судеб еврейства и человечества, выдавала в нем подлинного европейского интеллектуала. В целом, он принадлежал к числу тех счастливо гармоничных и глубоких людей, которых так и хочется назвать "незаурядными". Как человек, он принадлежал к числу тех, кого называют "необыкновенно приятными". У него был всего один изъян: он нерушимо верил в правоту своей безумной идеи.

Эйнштейн назвал становление новой научной теории "драмой идей". Первый акт этой драмы обычно происходит в безмолвной глубине сознания, где новая идея возникает, зреет и приобретает свою будущую форму. Мы не знаем, как это происходит. И лишь задним числом мы можем высказать некоторые объясняющие предположения. Детство; Витебск: воспитание в еврейской семье с ее рассказами о Палестине и чтением Библии; юность, Москва: сионистская среда, мечты о возвращении в Сион, к библейским истокам; зрелость, Палестина: Библия, ставшая осязаемой явью и ощутимой исторической реальностью. Таков фон, на котором вполне может сложиться повышенно серьезное отношение к библейскому слову и запечатленному в нем прошлому своего народа. Наложим на этот фон профессиональные навыки ученого, уже опубликовавшего ряд серьезных научных работ по электри-

ческой деятельности головного мозга. Эти навыки вкупе с рационализмом убежденного последователя Фрейда несовместимы с нерассуждающей религиозной верой; поэтому серьезное отношение к библейскому слову требует — для цельности мировоззрения — найти ему естественно-научное объяснение. Ярчайший пример такой рационалистической попытки, продиктованной внутренней мировоззренческой потребностью, дал сам Фрейд — в своей последней книге “Моисей и монотеизм”. Великовский прочел эту книгу еще в отрывках, публиковавшихся в 30-е годы в главном психоаналитическом журнале “Имаго”, который приходил также и в Палестину. Именно эта книга сыграла в его жизни судьбоносную роль. Усмотрев в ней невольное саморазоблачение Фрейдом своих внутренних подсознательных комплексов, он воспылал желанием написать собственную книгу: “Фрейд и его герои”. Она должна была стать литературно-психоаналитическим исследованием личности создателя психоанализа. Цепь последующих событий кажется почти предустановленной: для осуществления замысла в Палестине не оказалось нужных материалов; будучи человеком состоятельным, Великовский решил отправиться на поиски материала за границу; конечным итогом этого творчески-биографического зигзага было прибытие семьи Великовских в Америку. Самое интересное во всем этом, — что книгу о Фрейде Великовский так и не написал. Предпринятое для нее детальное знакомство с эпохой Моисея привело его к проблеме Исхода; размышления над проблемой Исхода поставили перед ним “загадку лишних столетий”; в поисках ответа на нее он сформулировал гипотезу библейских катастроф; пытаясь найти их естественно-научное объяснение, он пришел к своей идее космических столкновений. Не правда ли, как гладко и просто делаются великие открытия?

**Драма идей.** На самом деле мы можем только догадываться о том, как они делаются. В каждом подлинном открытии есть что-то от “выхода в четвертое измерение”; наши последующие догадки — не более, чем попытка рассказать о четырехмерном озарении трехмерными словами. Тем не менее нужно попытаться.

Говорят, что первым толчком послужило давнее, совершенное с женой еще в 1929 году, путешествие по берегам Мертвого моря. Сейчас проезд вдоль этих берегов в комфортабельном, кон-

диционированном автобусе израильской пассажирской компании "Эгед" занимает от силы два часа. В 1929 году это означало тяжелый многодневный поход по дикой, пустынной местности. Вдобавок, стоял 1929 год — времена арабских антиеврейских волнений в Палестине. В каком-то смысле путешествие было задумано Великовским как символическое: продемонстрировать, что никакие арабские волнения не помешают ему путешествовать где угодно в своей еврейской земле.

Судя по воспоминаниям, сохранившимся на долгие годы, увиденное потрясло Великовского. Оно воспламенило его профессиональную пытливость ученого и пылкое воображение природного литератора. Угрюмые, словно вздыбленные ударом гигантского кулака, горы Иудеи и Моава; следы чудовищных геологических катаклизмов, изуродовавшие лицо пустыни; остатки застывшей лавы и асфальта под ногами; свинцовые тяжелые воды загадочного моря, вдавленного на сотни метров в глубь земли... Литератор, наверно, пробормотал: какой невероятный, фантастический пейзаж... Ученый, вероятно, откликнулся: как после космической катастрофы. Потом оба, судя по всему, задумались над одним и тем же: когда она произошла? И почему?

Геология относит образование Мертвого моря к незапамятным временам раскалывания и подвижки континентов. Но Библия — та, что не могла не вспомниться в этих местах, рядом с развалинами древнего Сдома, — знакомая Великовскому наизусть Библия ничего не упоминала об этом море в самых древнейших своих частях! Ни в рассказе о приходе Авраама в Ханаан, ни в рассказе о наших праотцах Исааке и Якове, ни даже — самое удивительное — в самом рассказе о гибели Содома и Гоморры...

Можно думать, что драма идей в сознании Великовского началась именно с этого противоречия. Оно стало первым звеном в той логической цепочке, вдоль которой несколько лет спустя двинулась его мысль. Второе звено было того же рода. Он наткнулся на него в ходе работы над книгой о Фрейде. Это была проблема Исхода.

Фрейд относил Исход к временам фараона Эхнатона. Он считал Моисея египтянином, приближенным Эхнатона, который заимствовал у фараона-еретика идею монотеизма и принес ее "усыновленному" племени евреев. Судя по тому, что писал впоследствии Великовский в книге "Эдип и Эхнатон", он не разделял эту гипотезу. Он видел во всей конструкции Фрейда всего лишь

сублимацию его скрытого "еврейского комплекса". Но это следовало еще доказать. Опровержение фрейдовской датировки Исхода могло бы подкрепить такое доказательство. Как датируется Исход в стандартной научной литературе?

С того мгновения, как мы всерьез задаем этот вопрос, мы немедленно попадаем в ловушку. Потому что наука вообще не датирует Исход. Потому что наука его не признает. Потому что ей неизвестны археологические свидетельства пребывания древних евреев в Египте и их ухода оттуда. Египетские источники хранят по этому поводу полное молчание. Исход зафиксирован только в еврейской Библии, а здесь он отнесен ко временам "фараона, который не знал Иосифа". Поскольку Иосифа не знает ни одна хроника египетских фараонов, этим фараоном мог быть какой угодно. Исход мог происходить — если происходил вообще — во времена любой из тридцати (!) египетских фараонских династий...

Это и есть то, что я выше назвал "проблемой Исхода". Это серьезная проблема, поскольку на карту поставлена достоверность Библии, как исторического документа, в одном из ее самых важных пунктов. В сущности, с этого пункта начинается отсчет еврейской истории. Без его датировки повисает в воздухе вся ее хронология.

Большинство историков, признавая, что у них нет точных доказательств реальности Исхода, все же согласны во мнении, что Исход — событие подлинное. Спасибо и на том. Однако дальше их согласие не идет. В отношении датировки этого предполагаемого события царит разнобой размером в несколько столетий! Одна из существующих теорий отождествляет евреев-кочевников, пришедших в Египет во времена Иосифа, с кочевниками-гиксосами (по-египетски "аму"), вторгшимися в Египет в конце так называемого "Среднего Царства", а Исход евреев — с изгнанием гиксосов, которое произошло в 1580 году до н. э. (датировка здесь — по египетским источникам). Гиксосы правили Египтом 400—500 лет; но и евреи, напоминает эта теория, находились в Египте, согласно Библии, "много поколений". Эту теорию первым предложил египетский жрец Мането, живший в III веке до н. э. и составивший (на греческом языке) перечень всех египетских династий, на который опирается принятая ныне хронология древнеегипетской истории. Запомним это имя. Мането был также одним из первых в истории антисемитов: он утверждал, что гиксосы, изгнанные из Египта, удалились в Сирию

и построили там город Иерусалим. Евреи, потомки гиксосов, беспощадных правителей Египта, — естественные и заклятые исторические враги египтян. Любопытно, что эту версию поддерживал также Иосиф Флавий.

Теория эта трудно согласуется с тем фактом, что евреи в Египте были угнетенными рабами, а гиксосы — всемогущими повелителями. Впрочем, при Иосифе евреи могли считаться и привилегированными. Но все же — повелителями Египта?

Есть и вторая трудность. После изгнания гиксосов в Египте началось так называемое Новое Царство (восемнадцатая-двадцатая династии). Фараоны тех времен — знаменитый Тутмос Первый, царица Хатшепсут, великий завоеватель Тутмос Третий, строитель Луксора и Карнака Аменхотеп Третий и его преемник Эхнатон — были сильными властителями; вряд ли в таких обстоятельствах изгнанные (или ушедшие) из Египта евреи могли беспрепятственно вторгнуться в Ханаан, который находился в сфере египетских интересов.

Вторая теория относит Исход как раз ко временам Нового Царства, примерно на 100 лет позже изгнания гиксосов. При раскопках Тель-эль-Амарны в дельте Нила были найдены глиняные таблички, запечатлевшие переписку Аменхотепа Третьего и Эхнатона с их ханаанскими вассалами; одно из посланий, отправленных из "Урсалима" тревожно извещает фараона (какого именно из этих двух — неясно) о вторжении (с востока) неких "Хабиру". Если отсчитать от даты послания (примерно 1400-й год до н. э.) традиционные сорок-пятьдесят лет "странствий в пустыне", получим для Исхода приблизительно 1450-й год до н. э. (Есть теория, комбинирующая первые две: евреи-гиксосы ушли из Египта в 1580-м году до н. э., а в Ханаан вторглись только в 1400-м; но это предполагает двести лет странствий в пустыне; этого даже для жестоковейных евреев, пожалуй, многовато.) Недостатком "аменхотеповской" датировки Исхода является то же самое: во времена сильного фараона ни уйти из Египта, ни вторгнуться в Ханаан у евреев не было реальной возможности.

Фрейд не случайно выбрал для Исхода период смуты после правления Эхнатона: власть тогда была слабой, в стране царил анархия — самое подходящее время для бегства рабов и их последующего вторжения в Ханаан. Но по такой датировке время Исхода сдвигается еще ближе к нам — на 1358 год до н. э.

Некоторые историки, однако, сдвигают Исход еще решительнее — ко временам фараона Мернепты, на стеле которого впервые упоминаются Палестина и Израиль (“...Я, Мернепта, сделал Палестину вдовой ... и разрушил семя Израиля”). И хотя по смыслу надписи очевидно, что к тому времени евреи уже находились в Ханаане, дата водружения стеллы — 1220 год до н. э. — почему-то принимается за дату Исхода.

Наконец, последняя из теорий, как и предыдущая, тоже исходит из надписи — только не Мернепты, а великого Рамзеса Третьего, который в 1186 году до н. э. завоевал Ханаан. Поскольку в этой надписи (в отличие от стеллы Мернепты) Израиль не упоминается, сторонники этой теории считают, что к этому времени основная масса евреев еще не достигла Ханаана. Исход таким образом, отодвигается ко временам Рамзеса Третьего. Бедный Исход!

Я сознаю, что изрядно утомил читателя этим неожиданным и затянувшимся экскурсом в историю наших древних предков. Кое-кто, наверно, уже забыл, что разговор наш, вообще говоря, не об Исходе, а о теории Великовского. Меня извиняет лишь то, что это все-таки история наших предков. И что к Великовскому она имеет самое прямое отношение. Сейчас это станет совершенно очевидно. Позвольте только свести все эти моменты истории историков в четкую и легко обозримую таблицу. Итак, для Исхода предлагаются следующие даты: —1580 год; —1450 год; —1358 год; —1220 год; и —1186 год (знак “—” здесь означает “до нашей эры”). Или, еще проще: между —1600-м и —1100-м годами. Как раз в те времена, когда Ханаан был египетским владением. Когда евреи никак не могли вторгнуться в страну и завоевать ее.

Мы сейчас стоим за плечом Великовского в нью-йоркской публичной библиотеке и заглядываем в разложенные перед ним тома, которые завалили весь стол. Тот, у кого слух потоньше, наверняка слышит, как он яростно бормочет себе под нос: “Что это все означает?”

“Это” относится не просто к разнобою в датировках Исхода. Если бы мы еще и заглянули в те тома, которые лежат перед Великовским, то увидели бы, что за этим разнобоем скрывается куда более существенная трудность. Она-то и порождает сам разнобой. Дело в том, что пресловутые “столетия между —1600-м и —1100-м годами” — это как раз те века, когда в египетских хрониках ничего не упоминается о евреях, а в еврейских — о египет-

ском присутствии в Ханаане. Возникает странное ощущение, что два этих народа, будучи ближайшими соседями в пространстве, в смысле времени существовали как бы в разных эпохах, — иначе почему они так “в упор не видели друг друга”?

Поскольку мысль Великовского упорно вращается вокруг Исхода, неудивительно, что рано или поздно он приходит к вопросу об этих исчезнувших из хроник столетиях. И видимо, в процессе размышлений над ними, находит и свой ответ на загадку. Ответ этот целиком в духе Великовского: Библия не с с м н е н н о п р а в а — Исход действительно происходил. Тому свидетельством — живость и убедительность описания событий, сопровождавших Исход. Всех этих “египетских казней”, раступившегося моря, “огненного столба”, Синайского откровения в реве грома и блеске молний. Все это — не что иное как описание некой г и г а н т с к о й к а т а с т р о ф ы, причем описание реалистическое, какое может дать только н е п о с р е д с т в е н н ы й о ч е в и д е ц. То, что он видел и описал, не было просто локальным землетрясением или обычным извержением вулкана в пустыне. То был катаклизм, сравнимый с тем, что сопровождал образование Мертвого моря. Т а к у ю катастрофу не могли не заметить и не запомнить египтяне, да и не только они. Она д о л ж н а быть отражена в хрониках, летописях и легендах м н о г и х народов. Если историки этого отражения не нашли, значит — не там искали. Н е в т о й э п о х е. Не в тех временах. Значит, поиск нужно продолжать.

**Кто ищет, тот всегда найдет.** Читатель, конечно, уже понимает, что Великовский нашел то, что искал. Прежде чем рассказать об этой находке, которая легла в основу всех его дальнейших построений, я бы хотел обратить внимание на одно, оставшееся, боюсь, незамеченным обстоятельство.

Говоря о “катастрофе, сопровождавшей Исход”, Великовский не случайно ссылается именно на катаклизм, породивший Мертвое море. Он видит определенное сходство не только в характере обеих катастроф, но и в их, так сказать, “научном статусе”. Геологическая н а у к а относит образование Мертвого моря к доисторическим временам, но Библия об этом море еще не упоминает; стало быть, е с л и п р а в а Библия, “катастрофа, породившая Мертвое море”, должна была происходить

во времена более поздние, исторические; "катастрофу, сопровождавшую Исход", историческая наука не признает вообще, поскольку о ней не упоминается в египетских хрониках; но о ней рассказывает Библия; стало быть, если права Библия, эта катастрофа тоже имела место — и тоже в исторические времена. Великовский принимает сторону Библии — и науки. Он примиряет их в парадоксальной гипотезе: Библия — в обоих случаях — свидетельствует о том, что на Земле в исторические времена происходили гигантские катастрофы почти космического масштаба; и именно эти катастрофы являются естественно-научным объяснением ряда библейских рассказов, которые прежде рассматривались как "фантастические", "ненаучные" или придуманные для вящего прославления еврейской "избранности" Богом.

Итак, мысль Великовского выловила из всей совокупности фактов два звена, две точки: Мертвое море и Исход — и провела через них прямую оригинального, но вполне логичного силлогизма. Продолжая эту прямую, он неминуемо должен был наткнуться на третью точку: рассказ об остановке Солнца. Тот знаменитый отрывок из книги Иошуа бин-Нуна (Иисуса Навина), который мы процитировали в самом начале. Тот, который мы вызывающе предложили объяснить, полагая, что уж на нем-то споткнется даже самый рьяный защитник библейской достоверности.

Но в "системе координат" Великовского именно этот отрывок прекрасно ложится на "теоретическую прямую". Из "главного факта обвинения" он с непринужденной парадоксальностью превращается в едва ли не самый впечатляющий "аргумент защиты". Объяснение, по Великовскому, состоит в одном-единственном, ключевом слове его гипотезы — "катастрофа".

Как и положено настоящему ученому, Великовский ищет закономерности в совокупности разрозненных, но сходных явлений. Как всякий ученый, он ищет их общую причину. Оставим на время Мертвое море — мы не знаем ("даже" из Библии), когда оно образовалось. Но зато о двух других событиях (Исход и "остановка Солнца") Библия сообщает вполне точно, что они были разделены пятидесятилетним промежутком (время "странствий в пустыне" плюс время вторжения войск Иошуа бин-Нуна в Ханаан). Трудно предположить, что две разные, но одинаково чудовищные катастрофы случились на такой короткий исторический срок. Куда вероятнее

предположить, что это была одна и та же катастрофа, точнее — два ее последовательных этапа: на первом произошел Исход, второй сопровождался остановкой Солнца.

Теперь мурашки начинают бегать по спине на вполне законных основаниях. Нам предлагают поверить, что Земля остановилась в своем вековечном вращении, а потом раскрутилась снова. Катастрофу, сопровождавшую Исход, еще можно было как-то представить. И даже во вполне "обозримых", так сказать, терминах. Были же — почти на нашей памяти — Лиссабонское землетрясение, извержение Кракатау и еще пара-другая такого же гигантского масштаба стихийных катаклизмов. Более того, скажу в скобках: некоторые ученые еще до Великовского высказывали предположение, что события, описанные в Книге Исхода, могли быть следствием одного из подобных катаклизмов. И даже называли его: извержение "— 1500-го года", разрушившее средиземноморский остров Санторин (и давшее начало легендам о гибели Атлантиды). Но этим ученым не было нужды объяснять еще и остановку Солнца — они в нее не верили. А Великовский верил. И связывал ее с "катастрофой Исхода" в одну и ту же растянувшуюся катастрофу. Но видимое движение Солнца чисто земными силами не остановить. Чтобы замедлить или совсем прекратить вращение Земли вокруг собственной оси, требуются внешние силы, то есть факторы космического порядка! А там, где действуют такие факторы, неминуема катастрофа таких масштабов, которая должна была сотрясти всю планету, поставить на грань исчезновения все человечество и запечатлеться в памяти буквально всех народов. Где ее следы? Неужели они запечатлены только в Библии. Почему? Дело слишком важное, чтобы полагаться на одно-единственное свидетельство, даже если это свидетельство Книги Книг.

"Скажите нам, что вам нужно, — у нас это есть". Создатели экстравагантных псевдонаучных теорий, как правило, не утруждают себя поиском доказательств. Гитлеровского любимца профессора Хербигера, создателя "теории космического льда", согласно которой Солнечная система находится в центре гигантской ледяной сферы, а планеты образованы оторвавшимися от ее внутренней поверхности глыбами льда, нисколько не тревожило, что его фантазии находятся в полном противоречии со все-

ми известными астрономическими фактами — тем более, что эти факты все равно были установлены “еврейской наукой”. Поклонников учения о “полой Земле”, внутри которой якобы живут укрывшиеся там от людского взгляда расы гигантов, ничуть не беспокоило отсутствие геологических подтверждений этой увлекательной сказки. Великовский, однако, шел путем всякого серьезного ученого. Он сознавал, что должен представить фактически доказательства своей гипотезы “библейских катастроф”. Более того — он хотел их представить.

Собственно говоря, эти факты существовали всегда. Но никто никогда не рассматривал их под т а к и м углом зрения, а потому не усматривал в этих разрозненных данных того о б щ е г о смысла, который усмотрел Великовский.

В преданиях древних этрусков содержатся легенды о “семи прошедших веках Земли”. Аналогичные легенды были в ходу у древних греков. Гесиод писал о “четыре периодах” и “четыре поколениях людей”, уничтоженных разгневанными богами. Сходные рассказы существуют у народов Бенгальского залива и Тибета. Священная индийская книга “Бхагавата пурана” повествует о “четыре периода существования”, каждый из которых кончался катаклизмами, почти полностью уничтожившими человечество. Такие же сведения содержатся в священной книге древних персов “Авеста” и в древней энциклопедии китайцев. Смутные предания о глобальных катастрофах, приведших к почти полному исчезновению живого на Земле, найдены у ацтеков, инков и майя. В хрониках Мексиканского царства говорится о том, что человек и жизнь уже существовали до того, как сформировались “нынешние небо и земля”. На островах Тихого океана, на Гавайях и в Полинезии, а также в Исландии считают, что Земля пережила “девять времен”, и каждый раз над ней было “иное небо”. Еврейская религиозная концепция, сформировавшаяся уже после Исхода, утверждает, что прежде чем создать существующий мир, Бог семь раз создавал и разрушал небо и землю, пока не сотворил нечто, удовлетворявшее Его.

Неизвестно, к каким временам относятся все эти упоминания; неизвестно, относятся они к одним и тем же событиям или к разным; неизвестно даже, относятся ли они вообще к реально происходившим событиям. Однако настойчивость этих древних упоминаний о катастрофах и катаклизмах поразительна. В них, несомненно, есть какое-то общее зерно. Считать его следами кол-

лективной памяти человечества о действительно происходивших катаклизмах или видеть в нем просто общую особенность всякого примитивного мифологического сознания — дело выбора. Великовский выбрал первое толкование. Более того — он принял, что события, описанные всеми этими легендами, не только происходили, но происходили в одно и то же время: это была одна и та же Катастрофа — конечно, та, что описана в библейском рассказе об Исходе и “остановке Солнца”.

Действительно, объединив все эти рассказы в один рассказ об одной и той же катастрофе, можно “понять”, почему совпадают описания ее подробностей. В книге Иошуа, двумя фразами раньше описания остановившегося Солнца, говорится о чудовищном камнепаде, обрушившемся на хананеян. О таком же “граде камней” упоминают буддистские тексты и мексиканские источники. Мир, погружившийся в кровавый цвет, описывают легенды древних греков, вавилонян и финнская “Калевала”. Во многих древних источниках повествуется, что в момент “обрушения неба” горные вершины в разных местах планеты начали одновременно извергать лаву и камни, — как гора Синай в Библии. “Расступившемуся морю” библейского рассказа соответствуют предания китайцев, индейцев Перу, лапландцев и древних жителей Юкатана, повествующие о временах, когда моря были “разорваны” и их воды, поднявшиеся на огромную высоту, обрушились на сушу. В тех же источниках рассказывается, что во времена “великой катастрофы” свет был едва виден “во мраке”, а светильники задувались ураганным ветром. Мексиканские “Анналы Куаухтитлан” утверждают, что ночь в те времена продолжалась длительное время. Египетский папирус “Агастази IV” говорит: “Зима наступила вместо лета, месяцы повернулись вспять и часы нарушились”. Из китайской летописи известно, что император Ягоу вынужден был провести реформу календаря, потому что прежние месяцы, сезоны и даже продолжительность дня перестали соответствовать новым.

Выстроенные вдоль такой “ариадниной нити” все древние источники действительно образуют единый связный рассказ, рисующий одну и ту же (или очень сходную) картину: ураганные ветры; чудовищные камнепады; побагровевший мир; вулканические извержения; вздыбившиеся воды морей; длительная “остановка Солнца” (“мрак и тьма”, продолжавшиеся необычно

долгое время); изменение видимого расположения звезд на небосклоне ("иное небо") и привычного облика земной поверхности ("иная земля") — все то, что могла произвести обрушившаяся на Землю космическая катастрофа, сопровождавшаяся временной остановкой вращения планеты вокруг своей оси. Более того — эти источники сходятся и в упоминании даже таких причудливо-невероятных деталей библейского рассказа, как, например, "манна небесная", которой на протяжении сорока лет питались скитавшиеся по пустыне евреи. Древние исландские легенды рассказывают, что во времена, когда "горела земля", одна человеческая пара уцелела, питаясь "утренней росой"; маорийцы Новой Зеландии утверждают, что "во времена ураганных ветров", когда "волны достигали небес", из сплошного тумана выпадал иней, которым питались уцелевшие люди; в буддистских источниках сообщается, что когда "кончается цикл вселенной" и "нет различия между днем и ночью", пищей людям служит "небесная амброзия"; египетская "Книга мертвых" пишет о "священных облаках и великом инее, который рождает земля" во время контакта с небесами; греки описывали амброзию почти в тех же выражениях, что евреи — манну небесную, и аналогичные описания можно найти в преданиях финнов. Единственное, в чем Библия сохранила оригинальность, — это в своем рассказе о строгом рационаровании спасительной пищи: только в Библии говорится, что манна не выпадала по субботам (зато в пятницу, разумеется, появлялась в удвоенном количестве).

На фоне всех этих совпадающих друг с другом многочисленных показаний библейский рассказ обо всех чудесных событиях, сопровождавших Исход, и о не менее чудесной "остановке Солнца" уже не кажется столь уж противоречащим здравому смыслу. Здравый смысл большинства людей, как правило, вполне удовлетворяется, как только кажущиеся невероятными "чудеса" получают "научное" объяснение. В данном случае все чудеса замечательно и сполна объясняются одной-единственной, простой и доступной уму — а притом еще вполне естественно-научной — причиной: Космическая Катастрофа. Слово "космическая" в наши времена действует почти завораживающе: космос (как и наука) "может все"; в космосе живут пришельцы, почему-то оставившие на Земле свои рисунки и постройки; там летают "тарелки", зачем-то наблюдающие за земной жизнью; там происходят катастрофические столкновения звезд, одно из которых, говорят,

привело к рождению нашей Солнечной системы; там чудеса, там леший бродит...

Тем не менее после первой минуты полного детского доверия здравый смысл все же берет свое и начинает допытываться: что это за Катастрофа? как она привела к остановке Земли? почему при такой остановке что-то все-таки уцелело? каким образом Земля начала вращаться снова? что вызвало именно такие, а не иные явления — ту же “манну небесную”, питавшую евреев, или “огненный столп”, который вел их в пустыне? Из зала начинают кричать: давай подробности! И Великовский-ученый понимает необходимость “объяснить” все эти детали, иными словами — построить связную, убедительную и в то же время не противоречащую научным представлениям теорию своей “космической катастрофы”. Но Великовский — еврей, убежденный (теперь уже окончательно и нерушимо) в полной достоверности каждого библейского слова, испытывает потребность — вполне естественную после первого ошеломительного успеха на “библейском пути” — объяснить и все другие загадки Библии. Ведь главная загадка еще не решена. И вдобавок, она еще напрямую связана и с его “космической теорией”, она составляет и в ней едва ли не центральную загадку: **к о г д а** произошла эта пресловутая Катастрофа?

**Сенсационный папирус.** Где-то в этот момент ищущая мысль Великовского начинает все более заметно раздваиваться. Не то, что совладать с нею, — даже просто следовать за ней становится так же трудно, как жокею — управлять своей коляской, когда каждая из лошадей его пары начинает на полном скаку забираться в свою сторону. Можно даже точно датировать, когда начинается это раздвоение. Оно начинается с папируса Ипувера.

Ссылку на этот папирус Великовский обнаружил в подстрочном примечании одной из египтологических книг. Там говорилось, что некий египетский мудрец в каком-то своем сочинении оплакивал превращение вод Нила “в кровь”. А это — одна из тех “казней египетских”, которые Библия связывает с Исходом. Если совпадение не случайно, то папирус должен представлять собой подлинную сенсацию: первое в египетских (да и вообще в любых) источниках независимое от Библии упоминание об Исходе!

Выяснилось, что мудреца звали Ипувер. Папирус с его сочинением с 1828 года находится в Лейденском музее, неоднократно

обсуждался историками и признан ими то ли сборником притч, то ли туманным пророчеством какого-то древнеегипетского пессимиста, то ли отрывочной хроникой каких-то действительных происшествий. Великовский принял последнюю из этих гипотез. Понятно, почему: внимательное чтение папируса не могло не вызвать — разумеется, у него, напряженно ищущего подтверждения библейского рассказа (у других не вызвало) — аналогий с Книгой Исхода.

Папирус: Река в крови... ..

Исход 7:20; И вся вода в реке превратилась в кровь.

Папирус: Казни по всей земле. Кровь повсюду...

Исход 7:21; И была кровь по всей земле Египетской.

Папирус: Ворота, колонны и стены поглощены огнем...

Исход 9:23–24; И огонь разливался по всей земле... весьма сильный.

Папирус: Деревья сметены... Ни плодов, ни растений...

Исход 5–25; И побил град во всей земле Египетской все, что было в поле ... и все деревья поломал.

Папирус: Земля во мраке...

Исход 10:25; И была густая тьма во всей земле Египетской.

Самым трудным оказалось опознание в тексте папируса чего-либо похожего на десятую — загадочно, почти невероятно (с точки зрения гипотезы космической катастрофы) и з б и р а т е л ь н у ю казнь: "избиение первенцев египетских". В конце концов Великовский изящно преодолел эту трудность ссылкой на библейский стих: "Израиль есть сын Мой, первенец Мой". Вместо обычного "и з б р а н н ы й" (Богом) Израиль здесь стоит "сын, п е р в е н е ц" (Бога). Если верно и обратное, то "первенцы", в свою очередь, могут означать "избранных"; в египетской терминологии — "знать". Тогда в словах папируса: "Д в о р е ц опрокинут в одно мгновение" можно (при желании) увидеть намек на уничтожение катастрофой египетской знати — "избранных Египта".

Гипотеза космических катастроф не очень нуждалась еще в одном дополнительном подтверждении: описаний катастрофы, подобных описанию Ипувера, на ее счет уже было достаточно. Важность папируса (или, говоря точнее, — его прочтения Великовским) состояла в другом. Он становился в таком прочтении первым из всех древних упоминаний о катастрофах, найденных Великовским, которое совпадало с библейским рассказом об Исходе в о в с е х д е т а л я х (а не просто в общих чертах);

тем самым он становился связующим звеном между этой катастрофой — и самим Исходом: вслед за Библией он “неопровержимо” подтверждал их **о д н о в р е м е н н о с т ь**. В нем содержался даже намек на то, что в эти самые времена приключилась неслыханная беда с египетским фараоном: он погиб в “небывалых доселе обстоятельствах”. Но разве гибель фараона в расступившемся перед евреями море не заслуживает названия “небывалых обстоятельств”?

Но и это не исчерпывало всего значения находки Великовского. Папирус Ипувера был не только первым, “с египетской стороны”, свидетельством реальности Исхода; как и большинство египетских текстов он был еще **д а т и р о в а н**!! Воистину, “недостающее звено” — только не между обезьяной и человеком, а между историей египетской и историей еврейской. Обнаружился документ, позволявший установить **д а т у** Исхода. Сколько копий было сломано историками вокруг этой загадки, мы уже знаем.

Те историки, которые считали папирус Ипувера хроникой подлинных событий, давно обратили внимание на такие его строки: “Пустыня вторглась в страну... Провинции опустошены... Чужое племя пришло в Египет... Азиаты узнали о бедственном положении... Страшись... более миллиона людей ... враги ... входят в храмы... плачь...” Это недвусмысленное описание чужеземного нашествия, притом — очевидно из Азии. Поскольку по некоторым иным признакам папирус был отнесен историками к временам так называемого Древнего царства в Египте, разрушенного вторгшимися в страну гиксосами-аму, эти историки справедливо предположили, что в этих строках речь идет именно о нашествии гиксосов из Азии. Нашествие гиксосов датируется египтологами 2100—2000-м годами до нашей эры.

**Альтернативная хронология.** Думается, в этом месте на лице Великовского появилась озабоченность. До сих пор все шло даже слишком гладко. Факты навязывали гипотезу, гипотеза влекла за собой новые факты, они выстраивались в стройную теорию, теория подтверждалась сенсационной находкой — и вдруг такая незадача! Если папирус Ипувера действительно говорит об исходе евреев и нашествии гиксосов **о д н о в р е м е н н о** (если его “бедствия” — это библейские “казни”, а его “азиаты” — гиксосы), значит Исход происходил во времена **в т о р ж е н и я**, а не

и з г н а н и я гиксосов. Иными словами, на 500 — 600 лет р а н ь ш е , чем предполагали самые смелые историки! Но этого мало. Такая древняя датировка немедленно влечет за собой серьезнейшие, в сущности — непреодолимые, трудности. Между египетской историей, как она описана, например, у Мането (я ведь предупреждал, что нужно запомнить это имя!), и еврейской, как она описана в Библии, возникает р а з р ы в . В самом деле, если прибавить к новой дате Исхода пятьдесят лет скитаний в пустыне и завоевания Ханаана плюс еще четыре столетия эпохи Судей, то следующая библейская дата — царствование Соломона — придется, примерно, на 1500-й год до н. э. Соломон окажется с о в р е м е н н и к о м ц а р и ц ы Х а т ш е п с у т (подчеркнутое запомнить!), — а не ее отдаленных (на пятьсот-шестьсот лет) потомков, как это до сих пор всеми считалось. А Моисей, возглавивший Исход, окажется — вопреки Фрейду — не современником Эхнатона, недалекого предшественника Хатшепсут, а человеком куда более древней эпохи — вторжения гиксосов.

Одно из двух: либо напутал (или — для вящей славы и древности Египта — соврал) Мането в своей хронологии фараонов, либо что-то не так в библейской хронологии. Впрочем, есть еще третья возможность: Великовский неправильно соотнес папирус с библейским рассказом об Исходе.

Хотел бы я взглянуть на человека, который осмелился бы высказать такую возможность в присутствии Великовского!

Но если не отказываться от "библейского" прочтения папируса, то как быть с хронологией? Какая из них неверна: египетская или библейская? Зная Великовского, можно уже предугадать его решение. Неверна, "конечно", принятая до сих пор хронология Египта. Соломон "действительно" жил в те времена, в которые его помещает Библия, то есть, примерно, в 1000-м году до н. э. Установив эту опорную точку, мы можем дальше полагаться на арифметику — и данные папируса Ипувера. "Согласно папирусу", Исход происходил во времена вторжения гиксосов; согласно библейской традиции Исход происходил за 400—500 лет до царствования Соломона; вычитая из "минус тысячи" еще четыреста-пятьсот, мы получаем для Исхода и вторжения гиксосов, примерно, "минус тысячу пятьсот". Иными словами: если принять, что Великовский правильно прочел папирус Ипувера, то Исход происходил, примерно, в 1500-м году до н. э. Тут ничего не из-

менилось по сравнению с наиболее распространенной гипотезой ортодоксальных историков. Изменения — и притом радикальные — происходят при таком прочтении в е г и п е т с к о й истории. Ибо вторжение гиксосов считалось до сих пор в египетской истории произошедшим в “минус 2100-м году”! Иными словами, египетскую хронологию следует сместить на шестьсот лет ближе к нашим временам. То, что в ней раньше считалось происходившим в “минус 2100-м году” в действительности (в действительности Великовского!) происходило в “минус 1500-м”; то, что считалось относящимся к “минус 1600-му”, в этой действительности должно быть отнесено к “минус 1000-му году” и так далее.

“Так далее” приводит к следующему парадоксу: то, что считалось происходившим за 600 лет до нашей эры, следует, очевидно, отнести ко временам Иисуса Христа? Согласно списку Мането за 600 лет до нашей эры в Египте еще правили фараоны “поздних египетских династий”, от Двадцать Пятой, примерно, до Тридцатой. Но согласно новой хронологии Великовского на дворе стояло уже иное тысячелетие и в Египте уже т р и с т а с л и ш н и м л е т п р а в и л и п р е е м н и к и А л е к с а н д р а М а к е д о н с к о г о , Птоломеи. Возникает гамлетовская ситуация: для нескольких десятков фараонов из списка Мането стоит вопрос “быть или не быть”. По Великовскому, для них просто нет места в истории! Поскольку Александр Македонский завоевал Египет в 332 году до нашей эры, а на “египетских часах” Великовского в этот момент тикал мнимый “минус 932-й год” (который “на самом деле” был “минус 332-м”), все, что писал Мането о п о с л е д у ю щ и х столетиях египетской истории, было попросту высосанной из пальца выдумкой. Добывая Мането, Великовский наносит ненавистному антисемиту последний удар: недаром ученым давно уже казалось подозрительным, что Мането именно о последних фараонах (деяния которых, казалось бы, должны быть б о л е е известны) сообщает так м а л о конкретных данных; а то, что сообщает, сплошь и рядом п о - в т о р я е т его же рассказы о фараонах более древних династий! Мането “уличен”: он попросту приумножал славу родной страны, приумножая череду ее фараонов — и тем самым удлиняя ее историю; там же, где ему не хватало данных, решительно заимствовал их из прежних биографий. Может быть, он писал пародию на “Параллельные жизнеописания” Плутарха?

В этом месте, однако, наш здравый смысл решительно отказывается следовать за Великовским. Катастрофа, космос — это еще куда ни шло. Тем более, что впереди обещано подробное разъяснение. Но — древняя история? Та, что уже произошла? Незыблемая хронология Египта, на которой держится, насколько мы помним, хронология чуть не всей ближневосточной и средиземноморской истории? Это слишком. Этого не может быть, потому что этого никогда не было.

Все построения Великовского начинают угрожающе шататься. Не только его исторические построения: они, в свою очередь, выросли из его рассуждений о катастрофе — вот-вот рухнет и "гипотеза катастроф". Все так завязано друг с другом, что Великовский просто вынужден стоять на своем, как ни трудно доказывать сразу две невероятные гипотезы вместо одной. Войдем в его положение: либо катастрофа Исхода была (а основанием для этого утверждения, кроме Библии, стал теперь папирус Ипувера) — и тогда она была во времена вторжения гиксосов, со всеми вытекающими отсюда следствиями, включая "исчезнувшие столетия"; либо папирус, надпись и, что самое главное, — Библия! — эту катастрофу выдумали. Либо признать недостоверность Библии, либо настаивать на недостоверности хронологии. В такой ситуации выбор Великовского очевиден.

И, по чести скажем, — титаничен. Не оценивая, достоверны или фантастичны его гипотезы (любая из них), нельзя не признать, что задача, взваленная им на себя для их доказательства, — чудовищных масштабов. Обосновать "гипотезу катастрофы" означает — не больше, не меньше — создать новую теорию астрономической эволюции Земли, а то и всей Солнечной системы. Обосновать "гипотезу лишних столетий" в египетской истории означает — не больше, не меньше — пересмотреть всю историю древнего мира. Ибо нужно доказать, что Тутмос Первый, к примеру, был современником Давида, а не давно умершим к давидовым временам человеком; и царица Хатшепсут могла знать царя Соломона, а не давным-давно покоиться в земле ко времени его восшествия на трон. Но ведь ни Тутмос Первый, ни Хатшепсут почему-то не упоминаются в той самой Библии, которая является для Великовского единственным достоверным историческим источником; вместо них в хрониках Давида и Соломона упоминаются совсем иные египетские имена! Где выход из этого противоречия?!

Если бы Великовский остановился на своих гипотезах, они, возможно, и вошли бы в историю науки — на правах интересного курьеза. Хотя и увлекательного, но увы — фантастического. Но он отважился на невероятную по дерзости затею. Он действительно решил — в одиночку! — построить и новую космогонию, и новую древнюю историю. Показать, что такие альтернативные теории можно построить, и они при этом будут непротиворечивы. В них все будет связано, все будет логично вытекать одно из другого, а если какие-то прежние представления придется отбросить, то разве это — не всегдашний путь человеческого познания? Естественно, что с этого момента мысль Великовского не могла не пойти двумя разными путями. Неколебимое намерение (питаемое столь же неколебимой уверенностью в своей правоте) доказать "гипотезу катастроф" увлекало эту мысль в космические дали, где она прозревала невероятное по простоте доказательство этой гипотезы; а столь же неколебимое намерение реконструировать "подлинную" древнюю историю понуждало эту мысль пятиться в глубь веков, где таилось, по ее убеждению, истинное понимание библейского текста. Лебедь рвется в облака, рак пятится назад... А нам предстоит следовать за ними обоими.

*(продолжение следует)*

*Михаил Вартбург — псевдоним очеркиста-популяризатора, постоянного автора "22".*

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"**

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

# МАСТЕРСКАЯ

*Нелли Гутина*

## ВЫСТАВКА ГЕНИ ГЕНДЕЛЬМАН

"...Со всех сторон на меня смотрели вагины и пенисы, пенисы и вагины..." —

Рафи Лави, газета "А-Ир".

Пролог: черная-черная масса, матовая, без единого проблеска. Почти бесформенная, она темной субстанцией повисает в воздухе. Небытие, хаос, энтропия...

Герой: испуганное существо... Человеческое?

Первый акт: приводимый в действие электрическим мотором, начинает вращаться "крест", который образуют две переплетенные фигуры — мужчина и женщина. Начинается увлекательное путешествие жизненной субстанции по таинственным вагинальным путям. Вагина, зовущая влажными раздвигающимися губами... Вагина-пещера, манящая своими расщелинами... Вагина, посещаемая фаллосом... Вагина, распускающаяся пышным цветком...

Зачатие.

Второй акт: вздымающийся живот. Кульминационный момент пренатальной драмы. Нашему герою пора наружу. Вот и он, дрожащий от страха, сморщенный, сгорбленный, изначально травмированный...

Третий акт: преобразование окружающей среды в нечто, пригодное для жизни. Создание надежного укрытия. Надежного ли? Вот оно стоит посреди сцены, его главное произведение — что-то вроде шалаша или берлоги. Агрессивные снопы света пронизывают его изнутри и снаружи. Можно ли здесь укрыться от семи ветров? Некое подобие пещерного уюта изнутри, полная нестабильность снаружи. И сооружено — на песке... Песок — часть экспозиции.

Четвертый акт: могила. Увенчана "надгробием": жизненные пласты наслаиваются один на другой, образуя некое подобие спирали, которую венчает капля — последняя капля жизненной субстанции, устремляющаяся вниз, к могиле. А сверху, над могилой, — две другие субстанции, светло- и темно-коричневые, выползают из выпуклой окружности. Это мед и экскременты — два символа физиологического процесса, "сладость" и разложение, аромат и зловоние...

Эпилог: огромная крылатая масса, которая реет над залом. Она слегка повторяет очертания черной бесформенной субстанции, но более размашисто, одухотворенно. "Пост-мортем"...

"Трагическое путешествие от "пролога" к "эпилогу", от вагины до могилы... Трагедия "human condition" в формах деревянной скульптуры. Впечатляющая зрелищность этой экспозиции выходит за рамки обычной художественной выставки. Это больше, чем "хэппенинг" — это спектакль, открывающий новые возможности изобразительного искусства. Перед нами — жизненный процесс во всем его многообразии. Центральный конфликт драмы — постоянный, продолжающийся всю жизнь поиск надежного укрытия. Идея совершенной экологической ниши воплощена в виде женского лона, идея поиска этой ниши — в виде проникающего фаллоса. Это не "эротическая струя" в творчестве скульптора, как показалось кому-то, а напротив — полное переосмысление традиционных сексуальных символов. Идея "экологической ниши" постоянно расширяется — вагина, живот, дом, могила. Необходимость покинуть эту "нишу" — всякий раз повторяющееся травматическое переживание. Дерево — основной материал экспозиции — избрано в качестве наиболее близкого человеку, наиболее подходящего для постановки этой "драмы" таким нетривиальным образом — через скульптуру. Драма человеческого существования, неразрешимая в своей основе, разрешается в этом спектакле единственным доступным художнику образом — гармонией. Идет жизнь, автоматически переходя из одного состояния в другое, все вращается, возвращаясь на круги своя; но только креативные силы способны преобразовать хаос в гармонию и придать некий смысл бессмысленному вращению колеса..." (Анат Шпрингман, психолог).

"...никакого содержания во всем этом найти нельзя — всего лишь набор вагин и пенисов..."

Раппопорт, газета "Давар".

"Эти огромные деревянные овалы воспринимаются как всплывшие сновидения, как извлеченные из подсознания сексуальные символы. Эти многочисленные работы разбиты на серии, каждая из которых варьирует совершенно иную идею. Я выделил здесь три основные темы: взаимодействие двух органических начал: взаимодействие органического с неорганическим; агрессивное вторжение неорганического элемента в органическую среду, провоцирующее процесс коррозии и распада. Причем в ряде работ передается "абсорбция" неорганического компонента окружающим биокомплексом, в ряде других неорганический элемент стимулирует резкие изменения, приводит к усложнению, а не к распаду.

Взаимодействие двух органических начал — совсем другая история. Присутствие фаллического символа в вагинальном овале трактуется как высшая гармония, заполнение семенем расщелин "вагинальной пещеры", как толчок преобразующей энергии, дающей начало новому жизненному циклу.

Тем не менее есть работы совсем другого плана... Неожиданное появление так называемой "зубастой вагины", которая выглядит как иллюстрация к пресловутому "комплексу страха перед кастрацией"... Если бы эта работа принадлежала мужчине, ее можно было бы интерпретировать как подсознательный страх перед сильным женским началом. То, что работа принадлежит женщине и имеет явно спонтанный характер, говорит об универсальности: этого символа, который в том или ином виде присутствует в подсознании любого человека. Эта "зубастая вагина", в отличие от всех других вагин с их заманчивыми соблазнами реализации возможностей, поджидает свою добычу на "последней станции", чтобы положить конец цикличности жизнетворческих сил... Все эти настенные рельефы, каждый из которых в отдельности — декоративная работа, способная украсить стену любого дома, взятые все вместе представляют из себя декорации спектакля, который происходит "на сцене" и действующие лица которого — монументальные, частью — фигуративные, скульптуры... Пласт чувственного восприятия постепенно уступает место интеллектуальному переосмыслению, когда все эти вагинальные



пещеры и фаллические символы превращаются в аллегории тревоги и постоянного стремления вернуться к исходному состоянию утробной защищенности..." (Профессор Рафаэль Шпрингман, психоаналитик.)

Помимо профессора Шпрингмана, в коллекции которого шестнадцать работ скульптора Гени Гендельман, и его жены, психолога Анат Шпрингман, еще два психолога предложили мне быть гидами по этой необыкновенной экспозиции — необыкновенной тем более, что сама Гендельман не только отказывается себя интерпретировать, но и этот свой отказ доводит до крайности, отказываясь даже давать названия своим работам. Говорит, что скульптура неоднозначна и нельзя мешать тем самостоятельным отношениям, которые складываются у ее работ со зрителем. Приходит в ужас от того, что некоторые скульпторы пишут на табличках пояснения к своим работам. "Никогда бы не стала этого делать, — продолжает она. — Скульптура должна говорить сама за себя. Изобразительное искусство — это не литература. Идея должна быть выражена через форму, а не посредством словесных интерпретаций".

Легко сказать... На самом деле, когда речь идет о концептуальном (да и не только концептуальном) искусстве, мы чаще всего получаем воткнутый в песок стержень, на который накручено столько литературных и философских интерпретаций, а подчас и политических деклараций, что, кажется, без самого "стержня" уже можно было бы вполне обойтись.

В данном случае — я имею в виду эту экспозицию — не только без "стержня" нельзя обойтись, но все интерпретации звезд местного психоанализа не дотягивают до самого произведения, которое подобно Кабале, отражает жизненный процесс на самых разных его уровнях — физиологическом, глубинно-психологическом, духовно-мистическом. Поэтому я со своей стороны отказываюсь от еще одной попытки интерпретировать увиденное. Все, что я могу себе позволить, — это отнести как Автор к произведению другого Автора, к оригинальному замыслу и блестящему исполнению.

Хотя скульптура — это не литература и тем более не театр, композиционное совершенство этой выставки не может оставить литератора равнодушным. Даже я — при том, что композиция мое *today*, — почувствовала что-то вроде творческой зависти.

Экспозиция Гендельман — это плотный текст, из которого нельзя выбросить ни одного фрагмента.

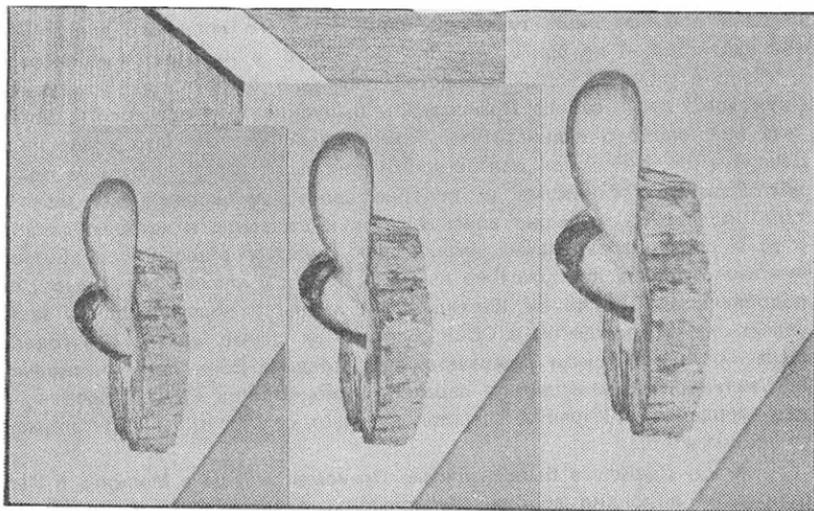
Помимо “драмы жизни” я увидела в этой экспозиции драму искусства с ее главным героем — Автором, постоянное стремление которого к гармонии и совершенству вступает в конфликт с неизбежностью расчленения. Казалось бы естественной тяге художника к созданию “высших ценностей” противостоят разрушительные силы нашей цивилизации, которые обрекают произведение искусства на короткую жизнь. “Мгновенный” эффект, хэппенинг вместо полноценной жизни во времени — как бывало, как должно быть... Далеко не все мутации, которые претерпевает современное искусство для того, чтобы выжить в условиях нашей цивилизации, способны к такому выживанию в долгосрочной перспективе. Боюсь, что сам Энди Уорхолл прекрасно знал истинную цену создаваемым им артефактам с картонками из-под супов — недаром всю свою жизнь основоположник поп-арта потихоньку коллекционировал картины старых мастеров, старинную посуду и мебель, ценные часы и все прочее, что так не вяжется с его “имеджем”. Может, эти его коллекции (оцененные, кстати, в 40 миллионов долларов) и есть самое ценное, что он после себя оставил? Если не считать, конечно, идей, способствовавших появлению многочисленных “мак-дональдов” от искусства.

Кажется, изобразительное искусство, которое, как никакое другое, подверглось трансформациям в результате урбанистического стресса, абсорбируя все его продукты, включая и продукты распада, исчерпало связанные с этим возможности и, вконец пресытившись, вступило в “анти-шестидесятые” годы, с их ожившим интересом к фигуративному и долей здорового скептицизма по отношению к так называемому “авангарду”.

“Зеленые” идеи открыли новые перспективы и перед скульптурой. Открытые ландшафты, естественные материалы, археологические реминесценции и мифы оказались не менее сильными стимулами, чем необходимость противостоять промышленным комплексам и конкурировать с рекламными щитами в какофонии агрессивных цветовых и световых эффектов мегаполиса.

Мне показалось уже само по себе символическим, что выставка Гендельман, материал которой — гигантские срубы деревьев, привезенные из далекой Африки — Габона и берега Слоновой

Кости, из этого царства дикой природы, — находится в самом центре города и в двух шагах от источающей углекислый газ колоссальной агамовской шарманки. Идея возвращения к основам основ нашла свое идеальное воплощение во взаимодействии формы и материала. Вагинальный овал, выполненный из гигантского деревянного сруба, великолепно воплощает идею совершенной экологической среды. Несмотря на то, что перед нами разворачивается, как ни крути, "трагедия", и этот путь "от вагины до могилы" — это Via Dolorosa с ее необходимостью тащить бесконечно вращающийся "крест" соития, этот перпетуум-мобиле жизненного процесса, — если что и примиряет этот мир с миром иным, так это перспектива экологического тыла, в самом широком понимании этого выражения. В конце концов, и наша разрушительная и саморазрушающаяся цивилизация будет поглощена бессмертным и вечным, природой и космосом, как еще одна незначительная экологическая помеха, как раздражающий синтетический "agent-provocateur", который исчезнет в лоне вечной вагинальной пещеры...



*Нелли Гупина — писатель и публицист, постоянный автор "22"; ее перу принадлежат книги "Двойное дно" и "Журнал"; живет в поселении Ораним вблизи Тель-Авива.*

## ЛЮДИ И КНИГИ

*Иван Мартынов*

### НАБАТ СОВЕСТИ

*(Леонид Прайсман. "Дело Дрейфуса". Изд-во "Кахоль-Лаван", Иерусалим, 1987)*

Если попросить современного советского читателя-еврея перечислить имена тех, кто оставил, по его мнению, наиболее заметный след в истории Франции XIX века, он наверняка вспомнит Наполеона, Виктора Гюго и еще с десяток прославленных политических деятелей, писателей и художников, — но никак не капитана французской армии Альфреда Дрейфуса, хотя в трагической судьбе этого заурядного человека, как в капле воды, отразились самые грозные катаклизмы предстоящего столетия, начиная с Катастрофы европейского еврейства в годы второй мировой войны и кончая нынешним "исходом" евреев из Советского Союза. Увы, капитан Дрейфус вместе со своими мужественными защитниками—"дрейфусарами" и сегодня остается лишь туманной тенью забытого прошлого для многих, чье еврейство — не более, чем "пятый пункт" в их советском паспорте.

Трудно сказать, когда еврейство перестало быть таким формальным "пунктом" для Леонида Прайсмана — выпускника исторического факультета Московского пединститута. Талантливый историк (это видно из рецензируемой книги), он долгое время довольствовался скромным местом преподавателя техникума и, подобно своим учителям-евреям типа Натана Эйдельмана, успешно вписывал новые страницы в историю декабристов и русско-французских культурных связей прошлого века. Видимо, его национальное пробуждение началось, как и у многих сотен тысяч ему подобных, под влиянием Шестидневной войны и последовавшего за ней еврейского возрождения в СССР. Во всяком случае, уже в 70-е годы он выступил в еврейском Самиздате, а в середине 80-х, после нескольких лет активной деятельности в еврейских сионистских кругах Москвы, репатриировался в Израиль, где стал научным сотрудником Иерусалимского университета.

Книга о Дрейфусе была написана Прайсманом еще в Москве; в Иерусалиме он дополнил ее лишь несколькими ранее недоступными источниками. Это существенно подчеркнуть, ибо там, в СССР, подобная работа, вполне понятно, не сулила автору ни научных званий, ни тучных гонораров; напротив — он подвергал себя риску оказаться вместо Израиля в совершенно иных местах. Прайсман рискнул — и вот перед нами его книга: достаточно серьезная и в то же время достаточно увлекательная, чтобы смело назвать ее прекрасным образцом научно-популярной историче-

ской прозы — того жанра, на котором ломали перья многие поэты и бытописатели современности.

Как и следовало ожидать, московский биограф Альфреда Дрейфуса откровенно тенденциозен. Эта тенденциозность завоевана им недешевой ценой многих лет "хождений по мукам" в насильственном "отказе" (на выезд в Израиль) — и в "отказе" добровольно: от тех житейских благ, которые сулило ему в будущем теплое местечко "ручного" советского историка-еврея. Не случайно с первых же страниц своей книги Прайсман заявляет, что он сионист. Эта сионистская позиция дает себя знать и в аранжировке большого массива собранных им фактов, и в их интерпретации. Дело Дрейфуса, по его мнению, послужило "своеобразным рубежом, отделяющим друг от друга два века": век неоправдавшихся надежд на "автоматический" приход царства Божьего на земле (благодаря, так сказать, "неуклонному прогрессу интернационализма") — и век газовых печей Освенцима, "дела врачей" и антисемитизма общества "Память". Как ни горько это звучит для русского либерала, интернационалиста и антиклерикала, каковым я смею себя считать, я вынужден согласиться с утверждением автора, что все эти качества еще не служат надежной гарантией от вируса антисемитизма там, где "арийская коса" находит на "еврейский камень". Трудно идти против своего народа, сословия, своих друзей и близких, даже когда сознаешь, что они неправы; трудно отказаться от популярности среди единомышленников и соратников по борьбе за "светлое будущее" ради кучки иноплеменников, к тому же людей, зачастую не очень приятных.

Дело Дрейфуса — прекрасная аналогия и поле размышлений над этой проблемой, которая сегодня стоит перед многими русскими интеллигентами в СССР. Именно на "еврейском оселке" в этом деле некогда сломались, скатились к шовинизму такие люди, как социалист-утопист Шарль Фурье, социал-реформист Жюль Гед и один из основоположников коммунизма Фридрих Энгельс. Прайсман убедительно это показывает. Так же убедительно он рассказывает о том, как там, где потерпели крах вожди "передового отряда" рабочего класса, знамя борьбы против расизма и ксенофобии подняли бескорыстные поборники справедливости — люди типа французского поэта Шарля Пеги (между прочим, убежденного французского националиста) и офицера французской контрразведки Пикара, честного человека, который, несмотря на свои консервативные взгляды и антисемитские предрассудки, не пожелал пойти на сделку с совестью ценой жизни невинного еврея.

Сложнее обстоит дело с признанным вождем "дрейфусаров", великим французским писателем-реалистом Эмилем Золя. Известно, что Золя — как одновременно с ним Бальзак и Франс, а до них Вольтер — резко выступал против еврейских финансистов, что давало повод кое-каким умеренным защитникам "всего еврейского" зачислить его чуть ли не в антисемиты. К части Прайсмана нужно отметить, что он проявил удивительный такт и объективность, рассказывая о своих соплеменниках, будь то довольно характерный для еврейской истории выкрест-антисемит Илья Фадеевич Цион или даже главный герой книги Альфред Дрейфус, так и не понявший никогда, несмотря на все пережитые страдания, высокого смысла

своего еврейства. Так что упрекать автора в пристрастии к одним лишь еврейским персонажам нет никаких оснований. В чем его, однако, можно упрекнуть — в связи с образом Золя, — это в нечеткости позиции. Вопрос о том, где отрицательное отношение к отдельным евреям или отдельным сторонам еврейской жизни (а такое отношение у Золя, несомненно, было) переходит в ксенофобию и антисемитизм, так и повис у Прайсмана в воздухе, открывая опасный путь зачисления в антисемиты любого, кто не готов безоговорочно принять “все еврейское” целиком. Насколько соблазнительно опасен этот легкий путь, я знаю по опыту собственной жизни. В юности она свела меня с замечательным, ныне уже покойным писателем-диссидентом Юрием Домбровским, который был известен своей антипатией к евреям. И мне не раз приходилось слышать от него, что при всей этой антипатии он готов защищать евреев до последней капли крови — хотя бы потому, что, как историк, помнит, что все еврейские погромы на Руси всегда перерастали в кровавые стычки между беззащитными студентами и вооруженными до зубов “охотнорядцами”. Это не было пустыми словами. Домбровский и в самом деле не раз, с риском для себя, защищал евреев в самые мрачные для них времена. Стоило ли после этого ставить ему в укор врожденное злоязычие (которое, между прочим, не щадило и горячо любимых им поляков)? Не лучше ли такой сложный в своем отношении к евреям, но их несомненный в минуту опасности защитник, как Юрий Домбровский, чем какой-нибудь пылкий — но на словах, а не на деле — филосемит или, того хуже, трусливый еврей-конформист?

Эти размышления над “проблемой Золя” в книге Прайсмана подводят меня напрямую к заключительному выводу: поставив перед собой чисто прагматическую, казалось бы, задачу рассказать читателям о трагической судьбе французского офицера-еврея, жестоко пострадавшего от высокопоставленных антисемитов, автор по сути “запустил” цепную реакцию проблем; и теперь мы вправе ждать, что вслед за книгой о Дрейфусе он напишет книгу о Золя, которая еще более расширит и углубит наше понимание религиозных, психологических, социальных и политических корней антисемитизма. Такие книги особенно нужны сегодня советскому читателю, поскольку современная советская историческая литература либо стыдливо обходит еврейские проблемы, либо грубо искажает любые факты в угоду “антисионистским” доктринам советского руководства. Чего стоит хотя бы недавнее выступление в журнале “Молодая гвардия” некоего В. Демина, который, поведав читателям о “борьбе израильских фашистов за чистоту еврейской расы”, тут же связал эту свою фальшивку с покупкой бездетными израильскими семьями “бразильских детей”, объявив, что эти закупки делаются, якобы, “для генетических экспериментов” или других “грязных целей”!.. Тут уже пахнет пересмотром даже не дела Дрейфуса, а еще более мрачного по навету и еще более печально знаменитого дела Бейлиса...

Поэтому, переворачивая последнюю страницу книги Леонида Прайсмана, мы, к сожалению, не можем пока еще вместе с ней закрыть и последнюю страницу истории антисемитизма — истории, пропитанной гарью костров инквизиции и дымом крематориев Освенцима.

## ОЧЕРКИ- ВОСПОМИНАНИЯ

*Об авторе. Жил, был и умер. Оставил после себя книги. Ничего о себе не написал.*

*Он и мертвый был красив. Лицо стало вдруг очень молодым. И глядя на это худое, сильно помолодевшее и красивое лицо, казалось, что он решает какой-то важный, очень важный для себя вопрос.*

*Всю свою жизнь он посвятил сионизму. Никогда не интересовался модной одеждой, вкусной едой, деньгами. Придя домой, уставший, кидался к радио, чтобы успеть услышать последние известия из Сиона.*

*Его страстью был Израиль. Он приехал в Израиль одним из первых грузинских евреев. Был первым диктором грузинского радиовещания на "Кол Израэл". Был автором первого грузинско-русско-ивритского словаря. Был первым, кто — в книге "Кутаисский процесс" — показал, что задолго до "Дела Бейлиса" было сфальсифицировано точно такое же дело об убийстве грузинской (христианской) девочки Сарры Модебазде грузинскими евреями в ритуальных целях. После "Кутаисского процесса" написал еще уникальную "Я обвиняю" и создал фотоальбом "Треблицкий ад" — по книге Вас. Гроссмана. В эту работу он и его жена, заслуженная учительница музыки Грузинской ССР Тамара Фишбейн вложили буквально последние свои деньги.*

*Гершон Мегрелешвили*

*Гершон Мегрелешвили был человеком ясного, глубокого ума, сильной воли и добрых чувств. Мучительная болезнь и ненужная операция преждевременно свели его в могилу. Он не завершил свою главную книгу — о грузинском сионизме, которую писал последние годы. Это была бы одновременно и его книга о себе — ведь он с юности был секретарем сионистской организации Гру-*

**ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ**

(1917—1920 годы)

зии, а посмертно был награжден грамотой ее почетного члена, номер членского билета которого — второй, после Бавзова.

Однажды он сказал мне: "Жизнь это сон, который нужно досмотреть до конца". Досмотрел ли он до конца свой сон?..

*Т. Мегрелешвили*

...В субботу, во время утренней молитвы, в синагогу вошел Элиягу Бнедиани. Шло чтение Торы, и царил обычная тишина. Но Элиягу не выдержал и сразу, еще у входа, шепнул первому встречному: "Царя свергни!"

Весть моментально облетела всю нашу лайлашскую синагогу. Чтение Торы было нарушено, вокруг Элиягу собралась целая толпа. Все были сильно возбуждены. Оказалось, что он узнал новость от начальника почты, утром, по пути в синагогу.

Возбуждение продолжалось целый день. Вечером, по окончании молитвы, габай объявил, что по случаю свержения царя завтра на базарной площади состоится митинг.

На следующий день на площади собралось множество народа, почти весь уезд. Было много цветистых речей и слов — о свободе, о равенстве, о братстве. Митинг проводил известный во всем уезде социал-демократ Леван Дадешкелиани. Выступил и священник Вано Мусеридзе, тоже социал-демократ. По его предложению избрано было земство. В председатели выбрали Левана, а его заместителем стал мой дядя Элиягу Модзерешвили, местный меньшевик.

Это был, впрочем, первый и единственный митинг, который прошел в общем приподнятом настроении. Все последующие омрачались действиями кучки хулиганов во главе с известным бандитом Индиго Чачхиани. Индиго никак не хотел смириться с тем, что его не избрали в земство, и злился на то, что там сидит еврей.

Тем временем из центра поступали газеты со все новыми и новыми сообщениями, приезжали агитаторы из разных партий, и все призывали готовиться к выборам в Учредительное собрание и голосовать за их представителя. Тогда я впервые услышал, что кроме социал-демократов существуют еще партии эсеров, федералистов, национал-демократов, а также, к моему удивлению, — Агудат Исраэль и ... сионистов. Большевики из Кутаиси прислали в качестве агитатора Иосифа Елигулашвили, сына известного богача и филантропа. Но меньшевики как раз и не нуждались ни в каких агитаторах — весь уезд и так был на стороне этой партии, во главе которой стояли любимцы народа — Церетели, Чхеидзе, Чхенкели. Иосиф провел митинг все на той же базарной площади и имел огромный успех. В тот же вечер он выступил на специальном собрании в синагоге, призывая евреев голосовать за список номер один, то есть за меньшевиков. Нам, евреям, очень импонировало, что в наше заброшенное, горное местечко явился интеллигентный еврей, да еще из такой известной семьи, да к тому же такой образованный и обаятельный. Мы в местечке даже не знали, что среди грузинских евреев есть люди с высшим образованием. Разумеется, все тут же обещали ему, что отдадут свои голоса за меньшевиков. Потом в честь другого гостя дядя Элиягу устроил большой ужин, который затянулся до

самого утра, а утром гость покатил в Кутаиси на своем фазтоне, и человек пять-шесть евреев во главе с дядей провожали его на конях до Алпан, на Военно-Грузинской дороге.

Не успел наш гость вернуться к себе в Кутаиси, как в Лайлаши, словно ему на смену, приехал другой — на сей раз специально к нам, евреям. То был посланец кутаисского раввина Реувена Эдуашвили, его помощник Шломо. Наш местный раввин опять созвал всех евреев в синагоге. Этот гость из Кутаиси призвал нас голосовать за веру и Тору, то есть — за партию Агудат Исраэль, чтобы провести в Учредительное собрание ее представителя. Евреи, только что давшие торжественное обещание, что будут голосовать за меньшевиков, тут же круто повернули и в подавляющем большинстве поддержали посланца кутаисского раввина. Он уехал весьма довольный, получив слово, что в Лайлашах будут голосовать за "своего", еврейского кандидата, защищающего еврейские интересы, короче — за Агудат Исраэль. Но мой дядя и собравшаяся вокруг него группа сразу после отъезда посланца начали агитировать евреев голосовать все же за список номер один, за меньшевиков, доказывая, что именно меньшевики лучше всех будут отстаивать наши интересы, и приводя в доказательство выступления в Думе таких людей, как Чхеидзе и Церетели.

Прошло еще несколько дней, и в Лайлаши пожаловал третий агитатор — раввин из Они Давид Баазов. Он остановился у моего дяди Элиягу. От него мы впервые узнали, что существует такая организация, которая называется "сионисты", и что она тоже хочет провести своих представителей в Учредительное собрание, а Давид Баазов является лидером грузинских сионистов. В субботу наш раввин собрал в синагоге третье по счету собрание. Высокий, статный, довольно красивый человек и опытный оратор, Баазов сумел сразу увлечь переполненную аудиторию. Он говорил о Герцле, о программе сионизма, о сионистах — членах Думы — настоящих борцах за еврейские интересы, о кишиневском погроме, деле Бейлиса и многом другом. Потом он заговорил об участии евреев в борьбе за освобождение Палестины от турков, о том, как успешно еврейские колонисты в Эрец-Исраэль овладевают навыками труда на земле, — и тут уж зал был попросту назлектризован. Под конец он обещал завтра показать документальный фильм, чтобы мы сами, воочию, увидели, как живут и трудятся наши братья и сестры на Земле Обетованной. Это уже было нечто из ряда вон выходящее. Ведь никто из нас доселе ни разу не видел кинофильмов вообще, а тут этот маг предлагает не просто фильм, а — документальный фильм о Палестине!

На следующий день мы собрались в помещении библиотеки. Короткий фильм произвел на всех глубочайшее впечатление. Немудрено, что я сразу увлекся идеями Баазова. Но самого его уже не было с нами — он отправился в другое местечко, в Бандзу. Баазов тогда объезжал еврейские местечки Грузии после погрома, учиненного в Кутаиси. Во время этого погрома особенно пострадали еврейские магазины — громилы врывались в них и брали, что попало. К счастью, обошлось без человеческих жертв. После этого урока не трудно было объяснить евреям, что как бы нам ни было хорошо, в нашей собственной стране нам всегда будет лучше.

Не нужно думать, однако, что все в нашем местечке сразу пошли за

Баазовым. Да и в других местах он встречал сильное сопротивление — главным образом, в Кутаиси, где раввин Элуашвили даже запретил ему выступать в какой-либо синагоге. Я лучше разобрался в этом сложном положении через несколько месяцев, когда мы переехали в Кутаиси.

Еще до нашего переезда, в ноябре, нас достигла весть о большевистском перевороте в Петрограде. Известные грузинские меньшевики Чхеидзе, Чхенкели, Церетели, Равишвили, Жордания, Хомерики покинули Петроград и устремились в Грузию. До Октябрьского переворота они и слышать не хотели о независимой Грузии, ибо стояли на позициях всероссийской социал-демократии, но теперь, после краха всех своих иллюзий, спешили домой, чтобы спасти хоть свою маленькую страну.

в Грузии, в особенности в горных районах, в эти дни подняли голову большевики. Они устраивали налеты и восстания. Центром их деятельности оказалось наше местечко. Местечковые евреи начали сниматься с места и перебираться в Кутаиси — конечно, не все до единого, но добрая половина. Индиго Чачхиани “правильно” оценил ситуацию и объявил себя “большевиком”. Он создал вооруженную банду, которая совершала грабежи, налеты и в конце концов убила председателя нашего земства Левана Дадешкелиани. Тут уже другие члены земства и активисты-меньшевики, во главе с моим дядей Элиягу, вынуждены были спасаться бегством. Местечко почти опустело. В начале 1918 года переехали в Кутаиси и мои родители.

Кутаиси тогда был вторым городом Грузии. Река Риони разделяла город на две части — правую и левую. Евреи жили только на левом берегу, который считался культурным, торговым и административным центром города. Правый берег занимали грузинские виллы. Еврейское население города, в основном, слепо повиновалось своему раввину Элуашвили. Его слово было законом для всех, талмуд-тора, ешива, две главные городские синагоги и четыре периферийные всецело подчинялись ему. Там не мог появиться ни один сионистский оратор. Раввин Элуашвили был решительным противником сионизма и личным врагом Баазова, раввина из Они.

Тем не менее я нашел в Кутаиси сильную группу еврейской молодежи, сплотившуюся вокруг сионистской организации, которую возглавлял Шмария (Шломо) Цициашвили, бывший студент харьковского университета, до сих пор еще носивший студенческую форму и фуражку. Он собрал вокруг себя всю студенческую и учащуюся молодежь Кутаиси, за исключением незначительного меньшинства и увлек ее сионистскими лозунгами.

бюро нашей организации помещалось на Анционовской, в доме Сарры Какителашвили. Там, по еврейским праздникам, мы устраивали вечера, там же, с 1919 года, помещалась редакция нашей газеты “Голос еврея”. В ней освещались самые злободневные вопросы еврейской жизни в Грузии и публиковались корреспонденции из России, Палестины, Англии и других стран. Из Они часто приезжал Баазов, которого мы встречали, как своего признанного вождя. Для его выступлений мы использовали синагогу Исаака Цициашвили на Католической улице. Синагога была маленькая, всего на сто пятьдесят человек, но во время выступлений Баазова туда набивались все пятьсот. Люди стояли в проходах, на балконе, во дворе. Гремели еврейские песни, каждое выступление начиналось и кончалось “ха-Тиквой”. Тут

же мы раздавали сионистскую литературу на русском языке (увы, среди собравшихся мало было евреев, знавших русский) .

Заседания нашего бюро проходили нерегулярно, протоколы заседаний велись на русском или грузинском языках. Но вот, в начале 1918 года, началась подготовка к выборам в Учредительное собрание — правда, не Всероссийское, как планировалось раньше, а Грузинское. И тут работа нашего бюро заметно оживилась. Возвращения и плакаты группы сионистов стали появляться на стенах домов в еврейской части города. Правда, их часто срывали. У нас было много недругов. Главным из них была Агудат Исраэль, а вторым — еврейские ассимиляторы.

Кутаисский лидер Агудат Исраэль раввин Элушвили внушал верующим такую ненависть к сионистам, что многие попросту избегали всякой связи с нами. Вербовка новых членов шла с огромным трудом. В своей борьбе с сионистами Элушвили шел на любые приемы. Так, однажды, в субботу, выступая в большой синагоге, он заявил, что "сионисты — изменники Торы, они хотят силой завоевать Страну, игнорируя нашу веру в Мессию, все беды, которые постигли евреев в России, — только от сионистов. Избегайте их, не слушайте их, знайте, что они враги наши". В период подготовки к выборам Элушвили стал выступать особенно часто, и его агитация создала очень тяжелую атмосферу, потому что, в основном, еврейская масса была верующая и слепо следовала за каждым его словом.

Другим нашим противником были ассимиляторы. Их численность была ничтожна, но они пользовались поддержкой грузин. Лидер ассимиляторов, студент Михако Хананашвили, часто помещал статьи в местных газетах, где клялся в верности "грузинскому народу", заверял, что мы, евреи, вовсе не евреи, а грузины иудейского вероисповедания, что с евреями у нас нет ничего общего. Между тем момент был такой, что грузины срочно нуждались даже в искусственном, лишь бы увеличении численности собственно грузинского населения, дабы доказать, что оно составляет основную силу в Грузии и превосходит все другие населяющие ее народы. В то время в Грузии проживали около 3 миллионов человек, из них армян было 600 тысяч, русских — 500 тысяч, азербайджанцев — около 300 тысяч, а греки, айсоры, немцы, езиды, лезгинь, осетины, персы, евреи и другие составляли еще не менее 300 тысяч. Таким образом грузин получалось чуть более одного миллиона, причем в столице Грузии, в Тифлисе, их было едва 25 процентов. Поэтому они охотно открывали двери ассимиляторам. 50 тысяч грузинских евреев, которые вступили бы в "лоно грузинского народа", были серьезной добавкой. Вот почему Хананашвили имел с их стороны полную поддержку, а мы, сионисты, оказывались во враждебном окружении и с этой стороны. Так что не трудно догадаться, кто срывал наши предвыборные плакаты.

А как обстояло дело в провинциях, в самом Тифлисе? К тому времени, в 1918 году, сионистская работа развернулась только в Кутаиси. Она вообще была еще в зачаточном состоянии. Не хватало сил, не было более или менее авторитетных людей, которые могли бы поддержать или возглавить движение, и главное — никто не заботился о том, чтобы перебросить его также на провинцию. Давид Баазов ограничивался тем, что разъезжал по еврейским местечкам и произносил речи, в которых популяризировал сионистские идеи. Но стоило ему уехать, как туда являлись посланцы Агудат Исраэль и пере-

убеждали евреев. Поэтому ни в одном месте, кроме Кутаиси да родного местечка Баазова, Они, так и не возникла сионистская организация. Не было настоящей организации и в Тифлисе.

Все эти обстоятельства привели к тому, что на выборах в Учредительное собрание сионистам не удалось провести своего кандидата. Победила Агудат Исраэль, от которой в Собрание прошел Моше Даварашвили, зять кутаисского раввина Элуашвили. В Собрание прошел и другой еврей, Иосиф Элигулашвили, но по списку меньшевиков. За сионистов голосовали в Кутаиси, в местечке Бандза, где проживали около тысячи евреев и раввином — близкий друг Баазова Давид Аджиашвили, а также в Цхинвали — самом большом, после Кулаши и Ахалцихе, еврейском местечке Грузии (около двух тысяч душ), где раввином был Абрам Хволес. Лайлашские евреи наверняка тоже проголосовали бы за сионистов, но к моменту выборов этот район был охвачен беспорядками и надолго, почти на год, отрезан от страны.

Выборы были закончены к 15 мая 1919 года, а 26 мая уже было созвано Учредительное собрание. На первом же заседании оно провозгласило независимость Грузии. Декларацию Независимости подписали все члены Собрания. Среди них были подписи двух евреев: Иосифа Елигулашвили и Моше Даварашвили. Когда мы смотрели на подпись Моше, на эти страшные каракули, мы краснели при мысли, что судьбы грузинских евреев вручены человеку, который даже не умеет подписывать свою фамилию. За все три года существования независимой Грузии он не произнес ни одной речи вообще — и это в то время, как Собрание заседало почти непрерывно и рассматривало множество злободневных вопросов, которые касались и евреев. Особенно показателен был один эпизод. В угаре своей ассимиляторской деятельности Михако Хананашвили добился того, что уговорил руководство своей партии социал-федералистов выступить с декларацией, объявляющей всех грузинских евреев — грузинами иудейского вероисповедания. Для закрепления этого статуса предлагалось впредь проводить все богослужения в синагоге на грузинском языке, а для этого перевести все молитвенные книги, в том числе и Тору, на грузинский, а книги на иврите — изъять. Одновременно был поставлен вопрос о закрытии талмуд-торы и ешив. Все депутаты Собрания охотно поддержали эту декларацию. Меньшевики, национал-демократы, эсеры, социал-федералисты, выступая в ее поддержку, щедро расточали выражения, вроде "грузинские евреи — наши братья", "грузинские евреи не имеют ничего общего с евреями" и так далее.

Когда дело дошло до голосования, кто-то вспомнил, что тут присутствует и делегат самих евреев, Моше Даварашвили. Решили попросить его высказаться. Председатель вызвал его, но оказалось, что он спит крепким сном. Пришлось его разбудить. Очнувшись и узнав, в чем дело, он поднялся и сказал: "Вы как хотите, а я ничего против не имею..." Положение спас Иосиф Елигулашвили. Он заявил, что, как меньшевик, не представляет интересы собственно еврейского населения, но считает, что данный вопрос затрагивает каждого еврея и прежде, чем принимать решение, следовало бы провести опрос всего еврейского населения Грузии. Так и было решено.

Когда отчет о дебатах в Собрании был опубликован в газетах, возмущение евреев поведением "своего" делегата было поголовным. К тому времени

(1920 год) наша кутаисская сионистская организация была уже довольно сильной и многочисленной, и мы наладили ежемесячный выпуск нашей газеты. На ее страницах мы развернули бурную агитацию, показывая, к чему ведет преступная связь Агудат Исраэль с ассимиляторами. Обстановка накалилась. Назревал решающий бой за еврейские души.

Наступил день отчета Даварашвили перед избирателями. Евреи собрались в большой синагоге города — цитадели Агудат Исраэль. Явился и весь актив сионистской организации. Из Они приехал Давид Баазов. Раввин Элулашвили был уже не тот и держался не с тем задором. Наши силы к тому времени так возросли, что он не мог запретить нам появляться в синагоге. Горедепутат поднялся на трибуну. Он стоял, как побитый, и молчал. Тогда один из наших выкрикнул: "Что же ты молчишь?! Мы собрались, чтобы услышать, что ты сделал за два года в Учредительном Собрании, как ты защищал наши интересы..." Даварашвили промямлил: "А что я там должен был делать? Ведь делать было нечего..."

Поднялся другой сионист, доктор Какателашвили и произнес десятиминутную речь, в которой охарактеризовал роль депутата и тех, кто его послал в Учредительное собрание, как "предательскую", и призвал депутата отказаться от своего мандата. За ним выступили другие сионисты. Под конец слово взял Баазов. В яркой речи он говорил не только о положении евреев Грузии, но и о жутких погромах на Украине, и это потрясло зал. В заключение своей речи он напрямую обратился к раввину Элулашвили: "Сейчас в Грузию хлынули тысячи беженцев из России. Другие — в пути. Они едут в Эрец-Исраэль, потому что другого пути у них нет. Они голодают, у них нет даже куска хлеба. Знаете ли вы об этом? Что вы сделали для них? К вам обратились за помощью, а вы грубо им отказали, когда узнали, что они держат путь в Сион. А разве в Торе не написано, что следует помогать ближнему? Какой же вы еврей после этого? Какое вы имеете право сидеть в кресле раввина? Не только ваш зять, незадачливый депутат, но и вы сами должны оставить свои места и уступить более достойным. Не мы, сионисты, а вы — злобные и бездушные самозванцы! Мне больше нечего добавить..."

На мгновение в синагоге воцарилась кладбищенская тишина. Затем шестнадцатилетний сын Баазова, Герцель, вдруг запел "ха-Тикву". Песню подхватили десятки, потом сотни голосов. Мы подхватили Баазова на руки и понесли на улицу, несмотря на его сопротивление. За нами хлынул весь народ. Синагога опустела. "Еврейская улица" была завоевана сионистами...

## КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ

"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"

Книга известного ученого и публициста. Первая часть представляет собой аутентичный самиздатский материал о возрождении еврейского национального сознания в России, вторая часть рассказывает о политической действительностью современного Израиля.

300 стр.

16 долларов

## ПО ПОВОДУ...

...рецензии О. Заславского в "22", № 56.

В № 56 нашего журнала появилась рецензия О. Заславского на книгу Б. Суворова "Аквариум". По-моему, она содержит несколько важных ошибок.

Прежде всего, Б. Суворов не мифическая личность, а вполне реальный человек, которого я сам однажды видел на экране телевидения. Далее, "Аквариум" не первая, а вторая книга его воспоминаний, первая же называлась "Рассказы освободителя", и несколько глав в ней было посвящено вторжению в Чехословакию. Поэтому иронический смысл слов "освобождение" и "освободительный поход" совершенно ясен всякому, кто читал книги этого автора.

Рецензент прав, отмечая "литературщину" в описании жизни "Аквариума" (ГРУ) и частей Спецназа. Он только ошибается, приписывая эту литературщину автору книги. Нет, так вот, сочинительствуя свои жизни, они и живут, эти люди. Не надо их сравнивать с жизнью обычной воинской части (она тоже описана у Суворова в его первой книге). Прочитайте хотя бы интереснейшую статью А. Васильева "Реальная идеология советской элиты" в журнале "Посев", и вы убедитесь: В. Суворов правдиво изобразил совершенно неправдоподобную литературную жизнь.

Наконец, последнее. Я согласен с рецензентом, что автор переоценивает роль и силу ГРУ. Но ведь он не одинок: тот же феномен мы наблюдаем у К. Хенкина, автора "Охотника вверх ногами" и "Русские пришли", у Б. Волкова, автора "Операции твердый знак" и у многих других авторов документальных и художественных произведений. Так что, все они "выполняют задание КГБ"? Тогда, может, сам О. Заславский выполняет задание, пытаясь преуменьшить опасность советской разведки? Вот до какой чуши можно последовательно договориться...

На самом деле, мы видим здесь интереснейший психологический и социальный феномен, когда люди, уже порвавшие с этим спрутом, тем не менее сохраняют какие-то внедренные им — и превосходно внедренные — стереотипы мышления. Анализ этого феномена — предмет специальной работы, которой я предполагаю в будущем заняться. Но во всяком случае, у О. Заславского нет никаких оснований подозревать авторе любой из его книг в дурных намерениях.

Михаил Хейфец (Иерусалим).

Эта короткая реплика предназначена только для тех, кто прочитал или готов прочитать книгу В. Суворова "Аквариум".

О. Заславский (О. З.) строит разбор "Аквариума" на недоверии: к главной посылке автора ("о ГРУ ничего не известно"), к отсутствию подробностей в одних случаях (описание погони по зимней Москве) и избытию подробностей в других ("имеет место масса цифр..."), к подбору "солдатских" кличек и формы обращения посылочного к Суворову. Собственно разбору текста он отводит не более 20 процентов довольно длинной "рецензии". В виде компенсации О. З. прибегает к смешным (?) ассоциациям, кокетливым выражениям ("я громко смеюсь" и т. п.) и догадкам.

Простая мысль О. З. — "не верю ни единому слову автора" — не вызвала бы никакого возражения, если бы он ею ограничился. Но он пытается её обосновать — и тут неизбежно возникают претензии: к самому О. З. и к журналу, напечатавшему (возможно, даже заказавшему?) материал.

Несколько слов о ГРУ. Достаточно ознакомиться с такими широко распространенными справочными материалами, как БСЭ, ВЭС ("Военный энциклопедический словарь", 1983 г.), другими советскими словарями и т. п., и сравнить их с материалами, опубликованными на Западе (где вышли четыре книги В. Суворова — на английском и других языках, в том числе книга "Рассказы освободителя" на русском), чтобы убедиться в серьезности подхода В. Суворова к теме "ГРУ и что о нем известно". Подход и добросовестность О. З. оказываются под вопросом.

Не доказав ничего по главному вопросу, О. З. дает основание усомниться в его добросовестности, когда высказывается по поводу фразы "После освободительного похода в Чехословакию..." Либо он не читал "Рассказы освободителя" (это маловероятно, ибо книжка вышла раньше, чем "Аквариум"), либо делает вид, что не понимает иронии. Такие же сомнения вызывает признание О. З. "я громко смеюсь, когда слышу всевозможные шпионообразные и шпионоподобные истории" в сочетании с обвинением автора в попытке выдать книгу за "свидетельство очевидца". Последнее обвинение также глубоко цинично.

Некогда были сформулированы некоторые требования к материалам, представляемым авторами: "Статьи (...) должны: 1) Находиться на удовлетворяющем составителей уровне компетентности в затрагиваемых вопросах, 2) Не преследовать никаких политических целей, 3) Не содержать заведомой лжи и оскорбительных выпадов". Неважно, что указанные требования предъявлялись в 1974 году и позднее составителями сборника "Евреи в СССР", один из которых, А. Воронель, входит ныне в редколлегию "22". И неважно, что другие авторы тоже пишут, а другие журналы и газеты печатают материалы, подобные рассматриваемой "рецензии". Важно то, что такие требования существовали и продолжают существовать и что о них знают.

Я — не автор и даже не читатель журнала "22". Эта заметка — реакция на материал, который, по моему глубокому убеждению, не должен был появиться в печати.

Е. Майданик (Иерусалим)

*Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН*

*Редакционная коллегия:*

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,  
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР  
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.  
Телефон редакции – 1031-395525*

**Представители журнала за рубежом:**

**США:** L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

**ФРГ:** L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

**Великобритания:** R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 65 шек., для организаций – 75 шек., за рубежом – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 65 долл.), для организаций – 65 долл. (авиапочтой в Европу – 75, в США – 80 долл.).

**Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив**

